

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ – АПРЕЛЬ

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

**АБАЕВ В. И.
БАНЕР В. (ФРГ)
БЕРНШТЕЙН С. Б.
БИРНБАУМ Х. (США)
БОГОЛЮБОВ М. Н.
БУДАГОВ Р. А.
ВАРДУЛЬ И. Ф.
ВАХЕК Й. (ЧСФР)
ВИНТЕР В. (ФРГ)
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)
ДЕСНИЦКАЯ А. В.
ДЖАУКЯН Г. Б.
ДОМАШНЕВ А. И.
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)
ДУРИДАНОВ И. (Болгария)
ЗИНДЕР Л. Р.
ИВИЧ П. (Югославия)
КЕРНЕР К. (Канада)
КОМРИ Б. (США)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)
МАЖЮЛИС В. П.**

**МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
МАРТИНЕ А. (Франция)
МЕЛЬНИЧУК А. С.
НЕРОЗНАК В. П.
ПИЛЬХ Г. (ФРГ)
ПОЛОМЕ Э. (США)
РАСТОРГУЕВА В. С.
РОВИНС Р. (Великобритания)
СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
СЛЮСАРЕВА Н. А.
ТЕНИШЕВ Э. Р.
ТРУБАЧЕВ О. Н.
УТКИНС К. (США)
ФИШЬЯК Я. (Польша)
ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ХЕМИ Э. (США)
ШВЕДОВА Н. Ю.
ШМАЛЬСТИГ В. (США)
ШМЕЛЕВ Д. Н.
ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЯРЦЕВА В. Н.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**АЛПАТОВ В. М.
АПРЕСЯН Ю. Д.
БАСКАКОВ А. Н.
БОНДАРКО А. В.
ВАРБОТ Ж. Ж.
ВИНОГРАДОВ В. А.
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.
ГАЗ В. Г.
ДЫБОВ В. А.
ЖУРАВЛЕВ В. Б.
ЗАЛИЗНЯК А. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.
КАРАУЛОВ Ю. Н.
КНЕРИК А. Е.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)
КОДЗАСОВ С. В.**

**ЛЕОНТЬЕВ А. А.
МАКОВСКИЙ М. М.
НЕДЯЛКОВ В. П.
НИКОЛАЕВА Т. М.
ОТКУШНИКОВ Ю. В.
СОБОЛЕВА И. В. (зам. отв. секретаря)
СОЛНЦЕВ В. М.
СТАРОСТИН С. А.
ТОПОРОВ В. Н.
УСПЕНСКИЙ Б. А.
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ХРАКОВСКИЙ В. С.
ШАРБАТОВ Г. Ш.
ШВЕЙЦЕР А. Д.
ШИРОКОВ О. С.
ЩЕРБАК А. М.**

Адрес редакции: 121019 Москва, Г 19, ул. Волховка, 18/2. Институт русского языка

редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

СОДЕРЖАНИЕ

У л у х а н о в И. С. (Москва). Мотивация и производность (о возможности синхронно-диахронического описания языка)	5
Я н и н В. Л. (Москва). Эпиграфические заметки	21
Х а й н а л И. (Цюрих). Роль данных греческого языка древнейшего периода в реконструкции индоевропейской фонологической системы	37
Б о м х а р д А. Р. (Бостон). Придыхательные смывные в праиндоевропейском	48
А л п а т о в В. М. (Москва). «Грамматика Пор-Рояля» и современная лингвистика (К выходу в свет русских изданий)	57
К р и в о н о с о в А. Т. (Москва). Мышление — без языка?	69
Б а р а н о в А. Н., К р е й д л и н Г. Е. (Москва). Иллокутивное вынуждение в структуре диалога	84
У ш а к о в В. Д. (Москва). Некоторые вопросы внутриязыкового сопоставительного анализа фразеологических речений арабского классического языка	100
Л а л а я н ц И. Э., М и л о в а н о в а Л. С. (Москва). Новейшие исследования механизмов языковой функции мозга	112
Б и ч а к д ж я н Б. Х. (Неймеген). Эволюция языка: развитие в свете теории Дарвина	123

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Ж а к о б Ф. Лингвистическая модель в биологии	135
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

М а к а с о в Э. А. (Москва). Лингвистический энциклопедический словарь	144
Х е л и м с к и й Е. А. (Москва). <i>Steinitz W. Ostjakologische Arbeiten</i>	151
Л е в и ц к и й В. В. (Черновцы). <i>Плотников В. А. О форме и содержании в языке</i>	157

CONTENTS

I l u x a n o v I. S. (Moscow). Motivation and derivation (on the possibility of synchronic-diachronic description of language); Y a n i n V. L. (Moscow). Epigraphic notes; H a j n a l I. (Zürich). The importance of data of the Greek language of the oldest period for the reconstruction of the Indo-European phonological system; B o m h a r d A. R. (Boston). The aspirated stops in Proto-Indo-European; A l p a t o v V. M. (Moscow). «The Grammar of Port-Royal» and contemporary linguistics (in connection with the publication of the Russian editions); K r i v o n o s o v A. T. (Moscow). Thinking - without language?; B a r a n o v A. N., K r e i d l i n G. E. (Moscow). Illocutive «pressure» in the structure of a dialogue; U š a k o v V. D. (Moscow). Some problems of the comparative study of phraseological collocations in classical Arabic; L a l a j a n t z I. E., M i l o v a n o v a L. S. (Moscow). The latest studies on the functioning of language-mechanisms of the brain; B i c h a k j i a n B. H. (Nijmegen). Language evolution: A Darwinian process; From the history of science; J a c o b F. The linguistic model in biology; Reviews: M a k a e v E. A. (Moscow). The linguistic encyclopaedic dictionary; X e l i m s k i j E. A. (Moscow). *Steinitz W.* Ostjakologische Arbeiten; L e v i c k i j V. V. (Chernovtzi) *Plotnikov B. A.* On form and content in language.

© 1992 г. УЛУХАНОВ И. С.

МОТИВАЦИЯ И ПРОИЗВОДНОСТЬ

(О ВОЗМОЖНОСТЯХ СИНХРОННО-ДИАХРОНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЯЗЫКА)

0. Синхронно-диахроническое описание языка — гораздо менее распространенный тип описания по сравнению с чисто синхронным или чисто диахроническим. Синхронно-диахроническим описанием целесообразно считать не механическое соединение в одном описании фактов истории языка и его современного состояния, а выявление их соотношения и взаимодействия и прежде всего того, в какой мере синхронные связи между существующими явлениями отражают процесс развития одного явления из другого. Актуальной задачей такого описания является указание особенностей организации синхронной системы языка, которые «в святом виде» отражают процессы развития языковых единиц или, наоборот, не соответствуют этим процессам.

Возможно такое синхронно-диахроническое описание языка (и в частности, его словообразовательной системы), в котором каждая существующая синхроническая связь получила бы диахроническую интерпретацию. В таком описании были бы представлены диахронические причины ослабления или разрыва связи между явлениями, например, между диахронически однокоренными, но синхронно слабо связанными словами, составляющими большую зону «полумотивированных» слов, промежуточную между мотивированными и немотивированными словами.

Исследования, в которых один и тот же материал (в нашем случае — словообразовательный) рассматривался бы одновременно с синхронной и диахронической точек зрения, весьма немногочисленны (ср. [1—4]). Синхронное и историческое словообразование изучались изолированно друг от друга, и это оставляло в стороне интересные теоретические проблемы соответствия или несоответствия синхронных связей и исторических процессов.

Синхронно-диахроническое описание принципиально отличается от генеративного описания словообразования (ср., например [5—7]) и от словообразовательного синтеза. Эти два направления [при всем их различии (см. [8, с. 18-21]) представляют синхронную структуру языковой единицы как результат преобразований над единицами той же синхронной системы, осуществленных в процессе формирования высказывания [9]. Конструируемые в генеративных описаниях на основе синхронных связей абстрактные структуры иногда, как известно, совпадают либо с реальными структурами прошлого, либо с диахроническими реконструкциями. Такое совпадение лишней раз демонстрирует возможность изоморфизма синхронных связей и диахронических преобразований.

Описание, фиксирующее наличие или отсутствие этого изоморфизма, имеет важное значение: оно способствует более глубокому познанию как синхронных явлений, так и диахронических процессов. Непременным условием такого описания является, с нашей точки зрения, строгое разграничение синхронных фактов языка и фактов языкового прошлого.

Смешению этих фактов способствует, в частности, то обстоятельство, что многие явления диахронии и их «снятые» отражения в синхронии на-

зываются одними и теми же терминами, которые могут быть либо диахроническими по своей внутренней форме («словообразование», «способ словообразования», «усечение», «чередование» и т. п.), либо синхроническими («структура слова», «словообразовательная связь», «соотношение», «тип», «гнездо», «парадигма», «цепочка»). Неопределенно и субъективно используются такие «полутермины», как «прозрачность», «сближение» и т. п.

Важнейшими понятиями синхронного и исторического словообразования являются понятия, до недавнего времени называвшиеся одним диахроническим термином — «производность». В последние 20—25 лет в большинстве работ по словообразованию разграничиваются диахроническая «производность» (и соответствующие термины «производящий», «производный» и т. п.) и ее синхронный аналог — «мотивация» или «мотивированность» (и соответственно — «мотивирующий», «мотивированный»), хотя некоторые лингвисты продолжают использовать только термин «производность»¹.

Остались в прошлом те времена, когда в работах по словообразованию не различались формально-семантические связи слов в современном языке и пути их образования, когда термины «производное», «образовано от...» употреблялись «диффузно», обозначая, как правило, одновременно и синхронную структуру слова и его словообразовательную историю. В настоящее время большинство лингвистов (в том числе и те, которые терминологически не дифференцируют синхронную структуру и путь образования, используя только термины «производное», «производящее», «производность» и т. п.) теоретически четко различает синхронные связи и диахроническую производность.

Правда, в некоторых работах историков языка (специалистов по историческому словообразованию или этимологии) синхронное словообразование либо вовсе отрицается, либо упрекается в недооценке данных по истории образования слов [11; 12, с. 60—64; 13]. В связи с этим необходимо определить роль этих данных и способы их использования для познания и описания синхронной словообразовательной структуры слова. Данные по истории слов могут быть использованы при научном исследовании и практическом изучении синхронной структуры слов.

Как известно, очень многие причины синхронных явлений существовали в прошлом, но не существуют в настоящем. С синхронной точки зрения нельзя объяснить, почему, например, перед одними суффиксами, начинающимися определенной фонемой, имеет место какое-либо чередование фонем, а перед другими суффиксами, начинающимися той же фонемой, такого чередования не происходит (ср., например, различие предсуффиксальных фонем в случаях типа *рука* — *ручной*, *собака* — *собачник* и *толкать* — *толкнуть*, *горький* — *горкнуть*, объясняемое наличием *ь* в суффиксах *-ьн-*, *-ьник-* и его отсутствием в суф. *-ну-*).

В грамматиках современного языка иногда дается исторический комментарий структуры слов, путь образования которых существенно отличается от устанавливаемых в этих грамматиках синхронных мотивационных отношений; ср. в «Русской грамматике»: «Слова с компонентом *-дей* (*злодей*, *чародей*, *лиходей*, устар. *чудодей*), связанные по структуре корня морфа с такими однокоренными словами, как *деяние* (книжн.), *действ-*

¹ Своеобразная точка зрения представлена в одной из работ О. П. Ермаковой [10, с. 88—93]: анализируя с синхронной точки зрения слова типа *германий* (название химического элемента) и *присобачить*, автор различает производность и мотивированность применительно к явлениям современного языка. Об интерпретации указанных слов см. ниже.

вие, деятель, с точки зрения современного языка мотивированы глаголом *делать*, исторически же образованы от глагола *деять*, ныне устарелого» [14, с. 97]. Возможно создание грамматики современного языка, содержащей последовательный исторический комментарий всех или только нерегулярных описываемых единиц (ср. [15, 16]).

Естественно, что факты истории слова должны при этом рассматриваться как таковые, т. е. как факты другой языковой системы по отношению к изучаемой системе. В противном случае создается неадекватное описание современного языка: факты языкового прошлого фигурируют в исследованиях как факты настоящего.

Синхронная структура слова должна выявляться только на основе сопоставления изучаемых единиц с единицами, имеющимися в современном языке, актуальными для его «рядового» носителя. Привлечение же единиц языкового прошлого, неактуальных для носителя, осуществляемое исследователем языка, в рассматриваемом отношении не отличается от привлечения в научных целях единиц других языков или диалектов, что, как известно, также может способствовать более глубокому познанию закономерностей изучаемого языка. Это требование необходимо соблюдать при изучении языка любой эпохи, а не только современного языка. На практике иногда имеет место перенесение в синхронную систему фактов прошлого, хотя предостережения против этого делались достаточно давно (ср. обзор взглядов ученых конца XIX — начала XX в., данный в [17]). Еще относительно недавно в грамматиках современных языков (см. грамматики В. Дорошевского, Т. Маретича; см. также [18]) можно было найти перечни морфем, в которых исчезнувшие морфемы не отделялись от существующих, а некоторые сторонники синхронно-диахронического метода в современном языке признавали лишь те единицы и их отношения, которые соответствуют генетическим единицам и процессам ([12, 19, 20]; ср. также [21]).

В монографии о способах номинации в современном русском языке [22] в качестве иллюстраций «технических возможностей» номинации довольно часто без каких-либо оговорок приводятся факты и процессы, имевшие место в прошлом и для современного русского языка не актуальные: *зонтик — зонт* (с. 79), *артист* («деятель искусства» — «актер», с. 57), *прихожая (комната) — прихожая* (с. 69), *портной (мастер) — портной* (с. 69), *жаркое (блюдо) — жаркое* (с. 69), *леший (хозяин) — леший* (с. 69), *внука — внучка* и *инока — инокия* (в одном ряду с *раба — рабыня*, с. 72) и др.

К сожалению, в двух наиболее крупных словарях русского языка, отражающих морфемную (не словообразовательную) структуру русских слов нередко объединяются в одно гнездо слова, являющиеся однокорневыми лишь этимологически, и выделяются в качестве морфем такие отрезки, которые с синхронной точки зрения не могут быть вычленены. Так, в словаре Д. Ворта, А. Козака и Д. Джонсона [23] в одно гнездо объединены *печь* и *печаль*, *гореть* и *жар*, *образ* и *резать*, *поле* и *полюй* и многие другие синхронно не однокоренные слова (см. [24]), а в словаре А. И. Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой [25] выделены, например, следующие корни: *кол* в *количество*, *кор* в *корыто* и *коряга*, *пещь* в *пещера*, *печ* в *печаль*, *рт* в *артачиться*, *раз* в *образ*, *град* в *наградить*, *пруг* в *супруг* и т. п. В отличие от этих словарей, «Словообразовательный словарь русского языка» А. Н. Тихонова [26] отражает синхронные словообразовательные отношения слов современного русского языка, но остается актуальной задача создания словаря, отражающего реальную морфемную структуру современной русской лексики.

Известно, что синхронные словообразовательные отношения (мотивация) не всегда аналогичны («изоморфны») пути образования слова (произ-

водности). В литературе рассматривались слова, синхронная структура которых не отражает процессы их возникновения².

В данной статье делается попытка представить типологию отношений между производностью и мотивированностью, свойственных словам современного русского литературного языка. Предлагаемая типология отражает как синхронные свойства слов (наличие/отсутствие мотивирующего, т. е. мотивированность/немотивированность³), так и диахронические (наличие/отсутствие производящего, т. е. историческая производность/непроизводность⁴).

А priori ясно, что все слова с точки зрения наличия/отсутствия у них в современном языке производящего и мотивирующего могут быть разделены на следующие четыре группы: 1) слова, имеющие производящее и мотивирующее; 2) слова, не имеющие производящего, но имеющие мотивирующее; 3) слова, имеющие производящее, но не имеющие мотивирующего; 4) слова, не имеющие ни производящего, ни мотивирующего. Ниже будут рассмотрены данные группы слов.

1. Первая группа (см. ниже схему 1) делится на две подгруппы: слова, у которых производящее и мотивирующее совпадают (раздел 1.1.), и слова, образованные от одного слова, но мотивированные другим (раздел 1.2.).

1.1. Первая подгруппа включает в себя, по-видимому, подавляющее большинство мотивированных слов (*стол — столик, белеть — побелеть* и мн. др.).

При совпадении производящего и мотивирующего не всегда имеет место полная аналогия процесса образования и отношения синхронной мотивации (присоединение аффикса ~ наличие в основе лишнего аффикса). Так, синхронные связи слов ничего не говорят о возможном калькировании, сопровождавшем процесс образования слова. При тождестве мотивирующего и производящего могут быть не идентичны синхронная структура и диахронический способ образования, например, наречия типа *зимой* образовались посредством адвербиализации формы тв. падежа мотивирующего *зима*; с синхронной же точки зрения они рассматриваются как суффиксальные слова с суффиксами, омонимичными флексиям мотивирующего слова [14, с. 400].

При наличии у слова нескольких (чаще всего двух) производящих иногда может сохраниться мотивация лишь одним из них. Ср. сохранение у слова *шиворот* мотивации лишь словом *ворот* (если принимать объяснение этого слова из **шия*, ср. *шея, жестокошивый* + *ворот* [30, I, с. 77; 31, IV, с. 436]).

1.2. Среди слов второй подгруппы различаются слова, у которых смена мотивирующего не сопровождалась изменением фонемного состава (раздел 1.2.1), — не считая, естественно, закономерных фонематических изменений, свойственных всей системе языка, и слова, у которых изменение фонемного состава имело место (раздел 1.2.2.).

1.2.1. Смена мотивирующего без изменения фонемного состава может быть обусловлена следующими причинами: а) первоначальное мотивирующее (— производящее) утрачивает значение, в котором оно являлось моти-

² Ср., например, материал, приведенный Н. М. Шанским при рассмотрении изменений в структуре слова [27, с. 174—251]. Там же дан анализ предшествующей литературы

³ Мотивированными считаются слова, имеющие в современном языке мотивирующее слово. Направление мотивации определяется на основе правил, изложенных в [28, 29].

⁴ Производными словами или словами, имевшими в русском языке производящее, называем такие слова, которые либо были образованы в русском языке (в древнерусскую, старорусскую эпоху или в новое время), либо унаследованы из праславянского языка и сохранили в русском языке живые связи со своим производящим (ср. праславянские по происхождению *братья, яблочный* и мн. др.)

вирующим (раздел 1.2.1.1.); б) первоначальное мотивирующее (= производящее) изменяет сферу своего употребления, переходит в пассивный запас и благодаря этому в современном языке воспринимается как мотивированное по отношению к тому слову, для которого оно было мотивирующим (раздел 1.2.1.2.); в) мотивированное изменяет свое значение и начинает семантически соотноситься с другим словом, которое принимает на себя функцию мотивирующего (раздел 1.2.1.3).

1.2.1.1. Первый из названных процессов имел место, например, в цепочках типа *горький — горчить — перегорчить, погорчить; кислый — кислить — окислить, переокислить, подкислить, раскислить*. Приведенные глаголы с префиксами были образованы от глаголов *горчить* и *кислить* в значениях «делать горьким», «делать кислым» (эти значения есть еще у Даля). С утратой этих значений глаголы с префиксами стали мотивироваться прилагательными *горький, кислый*, а глаголы *горчить, кислить*, употребляясь в значении «иметь горький (кислый) вкус», перестали быть мотивирующими для *перегорчить, переокислить* и т. п. Смена мотивирующих привела к изменению способа словообразования: префиксальное слово стало префиксально-суффиксальным (формант *пере- + -и*).

1.2.1.2. Слова второй из групп, названных в п. 1.2.1., входят в словообразовательные пары, в которых имела место взаимозамена мотивирующего и мотивированного: мотивирующее (оно же производящее) стало мотивированным и, наоборот, мотивированное (оно же производное) превратилось в мотивирующее. Причина этого изменения состоит в возникновении стилистического различия между членами пары: бывшее мотивирующее (производящее) становится более маркированным стилистически, чем бывшее мотивированное. Используя стилистический критерий установления отношений мотивации (14, с. 133), в парах данного типа устанавливаются синхронные мотивационные отношения, обратные направлению производности. При этом производящее (бывшее мотивирующее) слово в свою очередь было производным, т. е. имело производящее.

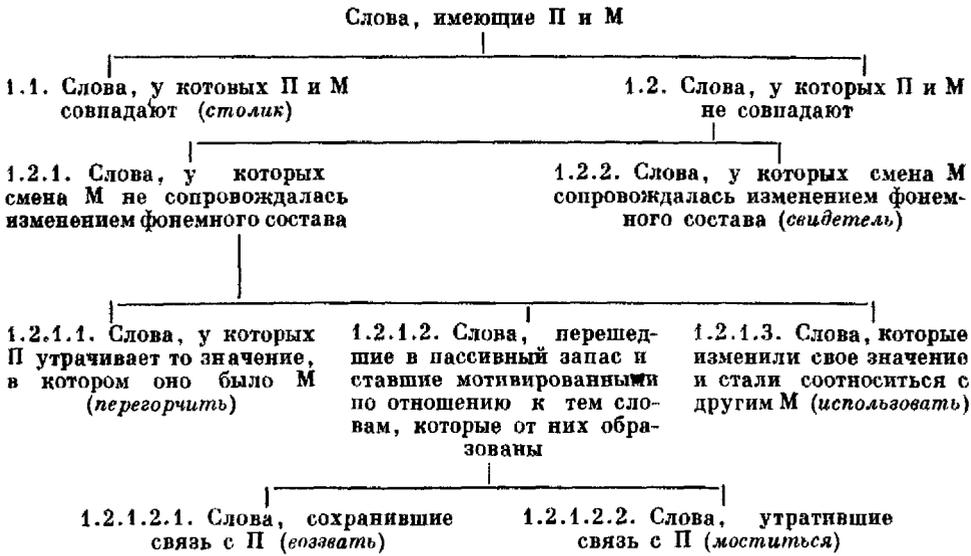
Так, слова *воззвать* (устар.), *унуть* (устар.), *казистый* (прост., устар.), *моститься* (прост.) являются производящими по отношению к более употребительным в современном языке (стилистически немаркированным или менее маркированным) *взывать, унывать, неказистый, примоститься*. С синхронной точки зрения стилистически более маркированные производящие слова выступают в качестве мотивированных, т. е. мотивационные отношения выглядят следующим образом: *взывать — воззвать, унывать — унуть, неказистый — казистый, примоститься — моститься* и относятся к обратному словообразованию (редеривации).

Таким образом, слова данной группы имеют в современном языке как производящее, так и мотивирующее. В зависимости от наличия/отсутствия синхронных связей с производящими слова данной группы делятся на две подгруппы.

1.2.1.2.1. К первой подгруппе относятся слова типа *воззвать* и *унуть*, сохранившие в современном языке семантические связи с производящими *звать* и *нуть*. Синхронные отношения в рассматриваемых цепочках выглядят следующим образом: *звать — взывать — воззвать, нуть — унывать — унуть*.

1.2.1.2.2. Ко второй подгруппе относятся слова типа *казистый, моститься*, утратившие в современном языке семантические связи с производящими *казать, мост*; значение слова *казистый* «видный, красивый» уже не включает компонентов «годный для показа», значение слова *моститься* «устраиваться, помещаться, располагаться» связано, видимо, с утраченным значением слова *мост* «пол, помост, настил или перекрытие в постройке» [32, 9, с. 273].

1.2.1.3. Третий процесс отражен, например, в истории слова *исполь-*



зовать, ранее означавшего «издержать на лечение» и образованного префиксальным способом от глагола *пользовать* (устар.) «лечить». С изменением значения глагола *использовать* мотивация перешла к слову *польза* [ср. *использовать* «воспользоваться кем-чем-н., употребить (употреблять) с пользой»] [ср. 33, II, 7, с. 126, 127], и слово стало префиксально-суффиксальным (формант *ис-* + *-ова-*).

Прилаг. *бесталанный*, известное в литературном языке с XVIII в. в значении «неудачливый, обездоленный; несчастный» [34], образованное от *талан* «счастье, добыча» [31, I, с. 161; 33, I, 2, с. 109], в дальнейшем было соотносено с *талант* и получило значение «не имеющий таланта» [27, с. 245]. Формант остался без изменения.

Смена мотивирующего и образование нового форманта (*-ком*) имели место у наречия *силком*, образованного от *силъкъ* «петля», и соотносённого затем с *сила* [27, с. 246].

«Старое» мотивирующее (производящее), как видно из приведенных примеров, может быть как генетически родственным, так и неродственным «новому».

1.2.2. Смена мотивирующего с изменением фонемного состава имела место также в результате семантических изменений у мотивированного слова. Известный пример: сущ. *свидетель*, по происхождению связанное с *свѣдѣти*, образованное от *свѣдѣти* [35] и означавшее знающего человека, в дальнейшем было связано с *видѣти* и стало означать видевшего человека, хотя «его общая номинативная функция в целом остается прежней» [36, с. 229]. Аналогичный процесс с той же меной *ѣ* → *и* отмечен и у слова *смиреньный*: связанное по происхождению с *мѣра*, *смѣрится*, оно стало мотивироваться словом *мир* [36, с. 229]; ср. также [31, III, с. 688—689]. Диалектное *налистники* «род блинов, которые пекутся на капустных листьях» было, по-видимому, образовано от *лѣса* «жаровня» и позднее сближено с *лист* [31, III, с. 40].

Все рассмотренные в разд. 1 отношения между производящим (П) и мотивирующим (М) могут быть суммированы следующим образом (см. схему 1).

2. Мотивированные слова, не имеющие в современном русском языке производящего (см. ниже схему 2), можно разделить на две группы. Пер-

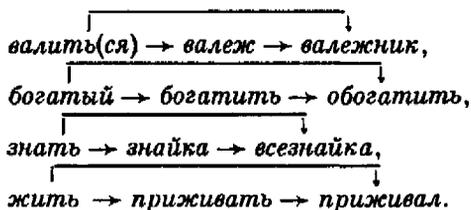
вую из них (раздел 2.1.) образуют слова, имевшие в прошлом в русском языке производящее, но утратившие его; вторую (раздел 2.2.) — слова, не имевшие производящего.

2.1. Слова, имевшие производящее, в свою очередь делятся на три подгруппы: слова, у которых мотивирующее и производящее были связаны отношениями производности (раздел 2.1.1.), слова, у которых мотивирующее и производящее не были связаны этими отношениями (раздел 2.1.2.); слова, являвшиеся производящими по отношению к тому слову, которым они мотивируются в современном языке, т. е. ставшие мотивированными по отношению к тому слову, которое от них было образовано (раздел 2.1.3.).

2.1.1. Слова, у которых мотивирующее и производящее были связаны отношениями производности, делятся на два разряда. Слова, у которых производящее образовано от мотивирующего (раздел 2.1.1.1.), и слова, у которых мотивирующее образовано от производящего (раздел 2.1.1.2.).

2.1.1.1. Слова первого из названных разрядов были образованы от несуществующего в современном литературном языке слова, а синхронно мотивируются тем словом, от которого было образовано это отсутствующее в настоящее время производящее слово. Так, сущ. *валежник* «сухие сучья, деревья, упавшие на землю» было образовано, по-видимому, от имеющегося лишь в диалектах слова *валеж* «лес, подрубленный с весны» [33, I, 3, с. 10], а мотивируется глаголами *валить*, *валиться*, от которых было образовано и производящее *валеж*. Аналогично глагол *обогащать* был образован от утраченного в 30—40-е годы XIX в. (см. [37, с. 14]) глагола *богатить* и синхронно мотивируется прилагательным *богатый*, от которого было образовано и производящее *богатить*. Сущ. *всезнайка* было образовано от утраченного *знайка* [33, I, 3, с. 197] и в настоящее время мотивируется глаголом *знать*. Сущ. *приживал* образовано от глагола *приживать*⁵, а мотивируется в современном языке глаголом *жить*. Сущ. *общение* и *уважение*, образованные, по мнению Л. Г. Свердлова [39], от глаголов *общаться* и *уважать* — видовых коррелятов к *общаться*, *уважать*, в современном языке мотивируются этими глаголами на *-ать*. Слово *выродок* образовано с помощью суффикса *-ок* от утраченного сущ. *вырод*, образованного в свою очередь с помощью нулевой суффиксации от глагола *выродить(ся)*, которое стало мотивирующим для *выродок* [33, I, 3, с. 231].

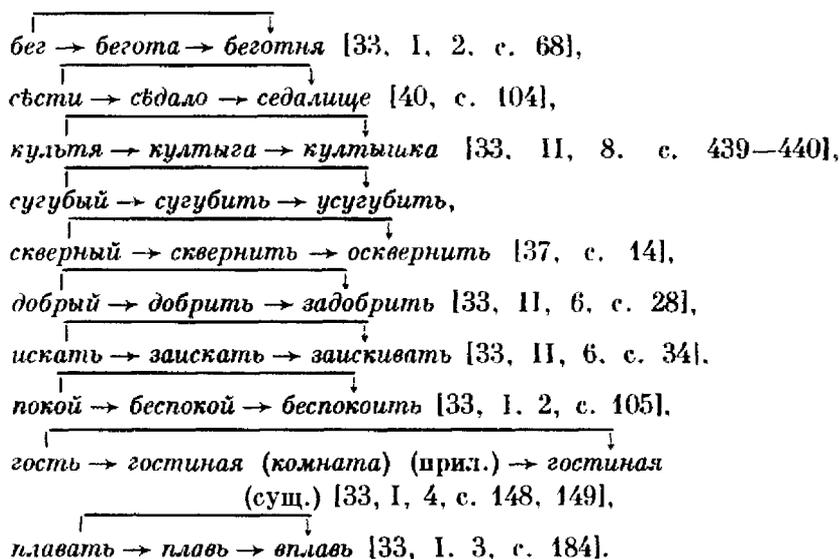
Как видим, в приведенных случаях опосредствованно мотивирующее слово превращается в непосредственно мотивирующее в связи с выпадением из словообразовательной цепочки непосредственно мотивирующего слова:



Отметим ряд аналогичных примеров (от существенных хронологических различий между явлениями в разных цепочках в данном случае отвлекаемся; некоторые из обозначенных процессов относятся, по-видимо-

⁵ Ср. употребление этого глагола в конце XIX в.: «Но что тут Коля *приживает* — это меня сердит, и мне все хочется от него отмахнуться, как от назойливой мухи. Не люблю эти флегматические, беззастенчивые в своей лени натуры *приживалов*» [38].

му, к праславянской эпохе):



В результате этих процессов в слове обычно возникают новые словообразовательные форманты: сложный суффикс (например, *-ежник*) — в том случае, если оба словообразовательных акта (*валить(ся)* — *валеж* и *валеж* — *валежник*) осуществлялись с помощью суффиксации, или смешанные форманты: а) префиксально-суффиксальный (например, *о- + -и-*) — в том случае, если один словообразовательный акт осуществляется с помощью суффиксации (*богатый* — *богатить*), а другой — с помощью префиксации (*богатить* — *обогатить*); б) сложно-суффиксальный формант — в том случае, если образование происходит с помощью суффиксации (*знать* — *знатька*) и сложения (*знатька* — *всезнайка*); в) в редких случаях — префиксально-суффиксально-суффиксальный (префиксация + суффиксация в *жить* — *приживать* в знач. «жить из мелости в чужом богатом доме») и суффиксация — *приживал*).

В том случае, если возникает новый «несмешанный» формант (суффикс), имеет место переразложение в морфемном составе слова, но способ словообразования не меняется (остается суффиксальным). В том случае, если возникает новый смешанный формант, изменяется способ словообразования (слово чистого способа словообразования переходит в разряд смешанных (способов). Если в мотивированном не сохраняются формальные и семантические различия между мотивирующим и производящим, то формант и способ словообразования остаются неизменными; так, в слове *уважение* нейтрализованы формальные и семантические различия между мотивирующим *уважать* и производящим *уважить*. В слове *выродок* не сохраняются различия между производящим *вырод* и мотивирующим *выродить* (ся).

В случае возникновения нового чистого форманта морфемный состав слова меняется (переразложение), в остальных рассмотренных случаях он остается неизменным, но изменяется соотношение между морфемами и их функциями (декорреляция)⁶.

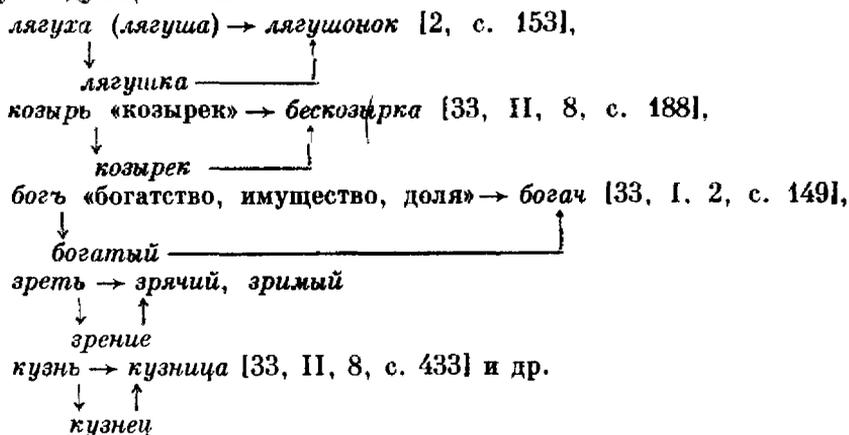
Утраченное производящее может быть заимствованным словом, находящимся в отношениях мотивации с заимствованным же исходным словом: *вагон* — *вагонет* — *вагонетка*, ср. фр. *wagon* — *wagonnet* [33, I, 3, с. 4].

⁶ Ср. подробное описание явлений переразложения и декорреляции в [27].

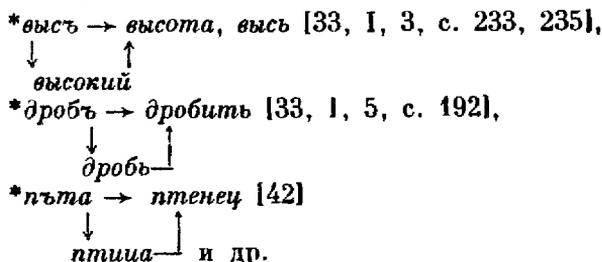
В качестве производящего может выступать утраченная форма исходного слова; с ее утратой мотивирующим становится слово во всей совокупности своих форм. Так, слово *болячка*, синхронно мотивированное глаголом *болеть*, восходит, по мнению Ж. Ж. Варбот, к основе утраченной формы действ. прич. ж. р. этого глагола — *boles* [40, с. 99]; иное мнение — в [33, I, 2, с. 161]: *боль, боля — болякъ — болячка*. Может иметь место и образование от одной из форм утраченного производящего: *босой — босиком* (тв. п. от *босик*) — *босиком* [33, I, 2, с. 175].

Производящее слово, производное от исходного — второй член описываемых цепочек — во многих из них (при незафиксированности в источниках) может быть реконструировано с большой степенью вероятности. Так, по мнению М. Фасмера, слово *побратим*, мотивированное словом *брат*, является производным от незафиксированного **pobratiti* [31, III, с. 293].

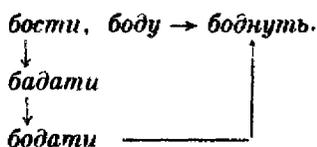
2.1.1.2. Слова второго из названных в п. 2.1.1. разрядов, подобно словам первого разряда, были образованы от не существующего в современном литературном языке слова, но в отличие от слов первой группы синхронно мотивируются тем словом, которое было образовано от этого утраченного производящего слова. Утраченное слово, таким образом, является производящим как для мотивирующего, так и для мотивированного. Например, существительные типа *крепость*, мотивированные прилагательными на *-кий* (*крепкий* и т. п.), были образованы от прилагательных без «расширения» *-к-* (*крѣпны* и т. п.), от этих же прилагательных образованы и мотивирующие типа (*крепкий* (*крѣпъкъ*)) (см. [2, с. 154]). Смена мотивирующего не изменяет морфемный состав мотивированного (явление декорреляции). Аналогичные мотивации и процессы образования имеют место у следующих слов:



В ряде случаев вероятна реконструкция незафиксированного производящего. Так, сущ. *беспалый*, очевидно, образовано от незафиксированного **palъ* (31, III, с. 191; 41, 2, с. 37) и мотивировано сущ. *палец*, также восходящим к **palъ*. Ср. также:



Указанные процессы могут осложняться промежуточными фонетическими изменениями:



Глагол *бодать*, которым мотивируется *боднуть*, производное от *бости*, образован от *бадати* посредством позднейшего «обобщения» вокализма *о* под влиянием *бости* [41, 1, с. 121; 41, 2, с. 154]. *Бадати* является закономерной итеративной формой от *бости*.

2.1.2. Вторую группу мотивированных слов, производящее которых было утрачено, образуют слова, у которых производящее и мотивирующее не были связаны отношениями производности, но имеют один и тот же корень. Эти слова образованы от слов, отсутствующих в современном языке, и синхронно мотивированы другим словом с тем же корнем; при этом оба слова (производящее и мотивирующее) образованы от одного и того же слова. Так, глагол *выстрелить*, образованный префиксальным способом от утраченного *стрѣлити*, в современном языке мотивирован глаголом *стрелять* и является префиксально-суффиксальным (формант *вы-* + *-и-*). Оба глагола — производящий (*стрѣлити*) и мотивирующий (*стрелять*) — являются суффиксальными образованиями от *стрѣла* [31, III, с. 774; 33, I, 3, с. 234]. Сущ. *верховой*, образованное посредством субстантивации от прил. *верховой*, мотивируется наречием *верхом* (*верховой* — «относящийся к передвижению верхом») и трактуется как суффиксальное. Производящее (*верховой*) и мотивирующее (*верхом*) восходят к сущ. *верх*.

В рассмотренных примерах диахронический способ образования слова отличается от способа словообразования, соответствующего его синхронным связям. Тождественность этих способов, как уже говорилось, имеет место при нейтрализации различий между производящим и мотивирующим. Так, слово *заморозки*, трактуемое Н. М. Шанским [27, с. 231, 232] как синхронно отглагольное (ср. *заморозить*), но исторически отыменное (*заморозы* «первые морозы»), и синхронно, и исторически является суффиксальным (хотя суффикс и изменил свое уменьшительно-ласкательное значение на значение действия по глаголу — явление декорреляции).

2.1.3. В третью группу мотивированных слов, имевших ранее производящее в русском языке, входят слова, мотивированные тем словом, которое было от них образовано. Как видим, отношения производности и мотивации в данных парах аналогичны отношениям в парах типа *воззвать* — *воззвать*, *неказистый* — *казистый*, рассмотренным в разделе 1.2.1.2. Различие заключается лишь в том, что слова типа *воззвать*, *казистый* имеют производящее в современном языке, в то время как рассматриваемые ниже слова таких производящих не имеют. Так, слова типа *взрачный* (устар., обл.), *воспрять* (книжн., устар.), образованные от утраченных *взракъ* «внешний вид» (32, 2, с. 160), *прийтти* «принять, взять, получить» (43, II, стлб. 1502—1504), являются производящими по отношению к *невзрачный*, *воспрятие*, но в силу большей стилистической маркированности в современном языке мотивируются этими словами.

2.2. Вторая группа мотивированных слов, не имеющих в современном языке производящих слов, — слова и ранее не имевшие их в русском языке. Эта группа делится на три подгруппы: заимствованные слова, мотивированные заимствованными словами, корень которых тождествен корню мотивированного как этимологически, так и синхронно (раздел 2.2.1.), исконные и заимствованные слова, мотивированные словами, корень ко-

торых этимологически нетождествен корню мотивированного слова, т. е. ремотивированные слова (раздел 2.2.2.); слова, выступавшие ранее в роли производящего того слова, которым они синхронно мотивируются (раздел 2.2.3.).

2.2.1. Мотивирующие в парах, состоящих из заимствованных слов, не могут рассматриваться как производящие, поскольку словообразовательный процесс на русской почве между членами этих пар не имел места: оба члена были заимствованы и в заимствующем языке образовали словообразовательную пару. Это очень многочисленная группа слов. Во многих случаях нет достаточных данных для суждения о том, имело ли место заимствование обоих членов или второй член был образован с помощью иноязычного суффикса на русской почве. Ограничимся несколькими примерами: *мушкет* — *мушкетер* (фр. *mousquet* — *mousquetaire*), *вандал* — *вандализм* (фр. *vandale* — *vandalisme*), *велосипед* — *велосипедист* (фр. *vélocipède* — *vélocipediste*), *вояж* — *вояжер* (фр. *voyage* — *voyageur*), *километр* — *километраж* (фр. *kilomètre* — *kilométrage*) и т. д.

Аналогично следует трактовать и отношения в парах типа *вуаль* — *вуалетка* (ср. фр. *voile* — *voilette*), *вальс* — *вальсировать* (фр. *valse* — *valser*) и т. п., поскольку суффиксы (-к-, -прова-) на русской почве не присоединялись к первым членам этих пар, а являлись средствами переоформления иноязычных производных слов (*voilette*, *valser*). Такие пары следует отличать от пар типа *вагон* — *вагонетка*, *гувернер* — *гувернантка* (см. раздел 2.1.1.1.), второй член которых является русским суффиксальным образованием от заимствованных и впоследствии утраченных *вагонет*, *гувернант* [33, I, 2, с. 4; 33, I, 4, с. 192—193].

2.2.2. Ко второй подгруппе мотивированных слов, не имевших в русском языке производящих слов, относятся слова, соотносенные формально и семантически в русском языке со словами, этимологически им не родственными, и тем самым превратившиеся в мотивированные слова (одна из разновидностей ремотивации или народной этимологии). Фонемный состав ремотивируемого слова может либо сохраняться (раздел 2.2.2.1.), либо частично изменяться (раздел 2.2.2.2.)⁷.

2.2.2.1. Ремотивация с сохранением фонемного состава имеет место, например, у прил. *малиновый* (*звон*), восходящего к названию бельгийского города *Малин*, но соотносенного в русском языке с названием ягод; у глагола *мордовать* «избивать» (пол. *mordować* < ср.-в.-н. *morden*, 31, II, с. 654), если он синхронно ассоциируется с *морда*; у существительного *оратор* в случае его соотносения (обычно намеренно-шутливого) с глаголом *орать* и др.

Ремотивация очень часто сопровождается усложнением [27, с. 223—231]: нечленимое слово начинает члениться на морфемы: *колика*, соотносимое с *колоть*, через фр. *colique* (< ср. лат. *colica*) восходит к греч. $\kappa\omicron\lambda\iota\kappa\eta$ $\nu\omicron\sigma\omicron\varsigma$ (боль в кишечнике, ср. $\kappa\omicron\lambda\omicron\nu$ — «член тела; толстая кишка») [45, II, с. 356; 33, II, 8, с. 200—201; 46, с. 512].

Окказионально такая ремотивация может осуществляться в комических целях, например, в так называемом «Толковом этимологическом словаре», печатавшемся в юмористической части «Литературной газеты»: *антипод* — над, *артишок* — нервное потрясение у артиллеристов, *богема* — единица измерения религиозности, *броква* — штанина, *гусар* — птичник, работник гусиной фермы и т. п. Лит. газ. 1972, 1 мая; 1972, 2 авг. и др.).

2.2.2.2. Фонетическое переоформление также имеет место в узуальных и окказиональных словах. Например, *веер*, восходящее к нем. *Fächer* «веер», преобразовано под влиянием *веять* [31, I, с. 285]; *изъян* (< тур.

⁷ Об этих видах ремотивации см. [44].

тат. *zyjan* < нов.-перс. *ziyān* «вред») — под влиянием *изъять* [31, II, с. 124]; *табакерка* (< фр. *tabatière* «табакерка») — под влиянием *табак* [31, IV, с. 5]; возможно, это изменение произошло в польск. яз., ср. польск. *tabakierka*, откуда могло быть заимствовано русск. *табакерка*), *грубиян* (< нем. *Grobian*) — под влиянием *грубый* [31, I, с. 462].

Окказиональные преобразования или преобразования, оставшиеся за пределом лексикой литературного языка, имеют место в таких случаях, как *гульвар* (*бульвар*, *гулять*), *полусад* (*полисадник*, *сад*, *полу-*) и мн. др.

2.3.3. К третьей группе слов, не имевших в русском языке производящих, относятся мотивированные слова, которые ранее сами выполняли роль производящего по отношению к тому слову, которое затем стало их мотивирующим (т. е. пережили изменение в отношениях мотивации, аналогичное рассмотренному в п. 1.2.1.2. и 2.1.2., но не имеют и не имели в русском языке производящего). Известны примеры таких слов, приведенные В. В. Виноградовым: «Под влиянием сближения с непроизводными глаголами типа *знать*, *гулять*, *лишать*, *решать* и т. п. многие отыменные глаголы, например, *делать*, *работать*, *грозотать*, *лепетать* и т. п. — стали осознаваться тоже как непроизводные, а соотносительные с ними имена существительные (*дело*, *работа*, *грозот*, *лепет* и т. п.), от которых были произведены эти глаголы, теперь сами представляются отглагольными образованиями (ср. *хохотать* и *хохот*, *хлопотать* и *хлопоты* и т. п.) Произшло смещение грамматических отношений» [47]; ср. также [48, 27, с. 250, 251]. Аналогичное изменение имело место в случаях *шуметь* — *шум* [31, IV, с. 486], *скрипеть* — *скрип* [31, III, с. 657, 658], *ловить* — *лов* [31, II, с. 508].

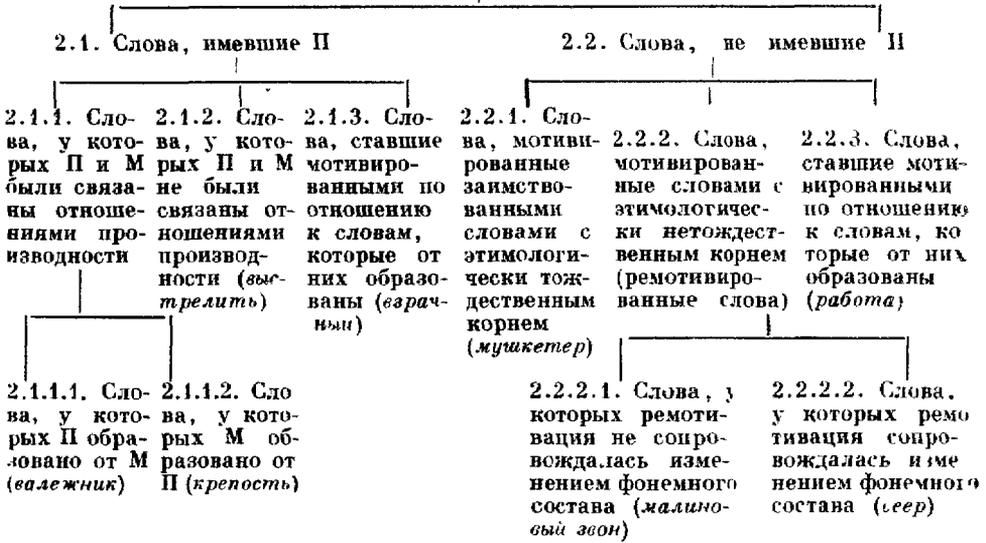
К числу слов, образование которых противоположно их мотивации, относятся и сущ. типа *зонтик*, *фляжка*: голл. *Zonnedek* → русск. *зонтик* → лонт. польск. *flaszka* (< *flaszka* < нем. *Flasche* «бутылка») → русск. *фляжка* → *фляга* и т. п.

Рассмотренные в разделах 1.2.1.2., 2.1.2. и 2.2.3. процессы изменения первоначального направления мотивации, соответствовавшего процессам производности, на противоположное направление заслуживает специального изучения. Приведенный материал показывает, что данное изменение происходит по крайней мере по трем причинам: 1) возникновение различий в употребительности и стилистической окраске между членами словообразовательной пары (случаи типа *вызвать* — *воззвать*, *унывать* — *уныть*, *неказистый* — *казистый*, *примоститься* — *моститься*); 2) влияние немотивированных слов (типа *знать*, *гулять*) на мотивированные (типа *делать*, *работать*) и превращение последних в немотивированные, а их мотивирующих (*дело*, *работа*) — в мотивированные (также, очевидно, не без влияния мотивированных помина *actionis*); 3) вычленение аффикса в заимствованных словах (*зонтик*, *фляжка*), превращение этих слов в мотивированные теми словами (*зонт*, *фляга*), которые возникают в результате отсечения этого аффикса в заимствованном слове.

Рассмотренные в разделе 2 мотивированные слова, не имеющие производящего в современном русском языке, могут быть суммированы следующим образом (см. схему 2).

3. Слова, имеющие в современном языке производящее, но не имеющие мотивирующего, это слова, пережившие процесс дестимологизации и переставшие соотноситься с сохранившимися словами, от которых они были образованы. Это явление подвергалось серьезному исследованию [49, 50 и др.]. Примеры известны и многочисленны, ср. *булава* — *булавка*, *беда* — *бедовый*, *палата* — *палатка*, *стол* — *столица*, *кусать* — *кусок*, *кадык* — *закадычный*, *еж* — *ежиться*, *стрела* — *стрелять*, *быть* — *лабыть* и т. п.

Слова, не имеющие П, но имеющие М



Деэтимологизация, как известно, может сопровождаться формальными изменениями (ср. *владеть* и *область* и мн. др.).

Если вслед за О. П. Ермаковой [10, с. 88—93] считать немотивированными слова типа *германий*, *менделевий* и т. п., то их также следовало бы отнести к числу слов, имеющих производящее, но не имеющих мотивирующее. Однако данные слова, по-видимому, должны быть интерпретированы в рамках теории степеней мотивации и найти место среди разновидностей слов, промежуточных между мотивированными и немотивированными. Их синхронная связь с производящими и мотивирующими *Германия*, *Менделеев* и т. п. несомненна, но семантическая выводимость производного из производящего не столь очевидна, как для полностью мотивированных слов. Вместе с тем вряд ли можно говорить о полном отсутствии семантической связи: слова *германий* и *менделевий* связаны с производящими той связью, которая отражает причины, по которым данные химические элементы при их назывании были связаны с *Германией* и *Менделеевым*. Они и названы были в расчете на сохранение этой связи.

Весьма своеобразна мотивация экспрессивных слов типа *офонареть*, *пропесочить*, *насобачиться*, *разлимониться*, *присобачить* и т. п. П. В. Матвеева [51], ср. также [44, с. 86]) называет их словами с парадоксальной внутренней формой. Связь такого рода слов с мотивирующими опирается не на логику отношений между явлениями, а на достаточно зыбкие и подвижные экспрессивные коннотации (ср. *пропесочить* — *протереть с песочком*, *насобачиться* — *собаку съест*, *офонареть* — *остолбенеть*, ср. *фонарь* — *столб* и т. п.). Вряд ли можно согласиться с М. Раммельмайером который считает мотивации типа *фонарь* — *офонареть* «чисто формальными» [52].

4. Слова, не имеющие в современном языке ни производящего, ни мотивирующего, с синхронной точки зрения делятся на членимые и нечленимые. Членимые слова в прошлом имели в русском языке производящее, ср. *говядина*, вычленивающее суффикс «мяса» по аналогии со *свинина*, *лососина*, *конина* и т. п., образованное в праславянском языке от **goveǵdo* «крупный рогатый скот» [41, II, с. 73—74] и сохранявшее эту связь в древ

нерусском языке до утраты др.-русск. *говѣдо*, имеющегося в диалектах

Глаголы типа *вложить*, *выложить* и т. п., *запрячь*, *распрячь* и т. п., вычленившиеся в современном языке префиксы, образованы от исчезнувших прасл. **ložiti* (ср. прост. и диал. *ложить*, др.-русск. *ложити* «класть» [32. 8, с. 274]), **prękti*, **pręgo* (др.-русск., ц.-слав. *пращи*, *пращу* «напрягать» [43. II, стлб. 1720]).

Нечленимые слова делятся с диахронической точки зрения на слова, имевшие в русском языке производящее слово, и слова, не имевшие производящего. К первым относятся слова типа *хитрый*, сохранившие, по-видимому, в ранний период древнерусского языка связь с производящим *гытити* [31. IV, с. 240], ко вторым — слова типа *вода*, *сын*, *дом* и мн. др., не имевшие в русском языке производящих слов, т. е. унаследованные немотивированными.

Отношение диахронической производности и синхронной мотивированности, несомненно, может быть предметом специального монографического описания. В таком описании могли бы быть вскрыты процессы, способствующие отклонению от параллелизма производности и мотивации, даны исторические объяснения многих нерегулярностей синхронно-словообразования. Специального рассмотрения заслуживает соотношение множественности мотивации и множественности производности, т. е. неоднократного и неодинакового образования одного и того же слова.

Проблематика синхронно-диахронического описания не ограничивается, естественно, соотношением между производностью и мотивированностью. Большой интерес представляло бы, например, синхронно-диахроническое описание «промежуточных зон» синхронной системы словообразования, т. е. зон, образуемых такими единицами языка, которые совмещают в себе свойства других единиц и являются фиксацией одного из этапов развития одной единицы из другой. Так, «промежуточные» словообразовательные типы, совмещающие свойства других типов, отражают процесс возникновения одного типа на базе другого. Например, глаголы типа *выловить* (*бревна из реки*) совмещают в себе значения удаления (ср. *выбросить*, *вывести*) и «получения, добычи» (*выиграть сто рублей*, *высидеть идею*, *вычитать сведения* и т. п.) и отражают процесс развития второго значения из первого⁸.

Можно надеяться, что синхронно-диахроническое описание языка будет способствовать обнаружению непознанных закономерностей развития и функционирования словообразовательного механизма русского языка.

Синхронно-диахроническое описание может рассматриваться в рамках общей концепции объяснительного описания языка, которое должно заменять описательно-констатирующее. С этой точки зрения интересно сопоставление синхронного и диахронического объяснения свойств и особенностей функционирования единиц языка, а также использование диахронического объяснения для выявления синхронных свойств единиц языка. Все эти вопросы нуждаются в специальном рассмотрении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Соболева П. А.* Асимметрия словообразовательных процессов и словообразовательных отношений // Проблемы структурной лингвистики. 1979. М., 1981.
2. *Азарз Ю. С.* Об актуальной и исторической производности слова // Восточные славяне. Языки, история, культура. М., 1985.
3. *Коряковцева Е. И.* История транспозиционных словообразовательных отношений имени и глагола в русском языке (На материале безаффиксных имен действия и глаголов на *-оватъ*): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.
4. *Кашани М. Э.* Структура и история образования отыменных прилагательных

⁸ Подробнее см. [53].

- (На материале прилагательных с локально-темпоральными префиксами и суффиксом): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1989.
5. *Laskowski R.* Problematyka słowotwórcza w gramatyce transformacyjno-generatywnej // *BPTJ*. 1973. XXXI.
 6. *Aronoff M.* Word formation in generative grammar. Cambridge (Mass.). 1976.
 7. *Lubaszewski W.* Struktura morfemowa polskiego czasownika (próba opisu generatywnego). Wrocław etc., 1982.
 8. *Милославский И. Г.* Вопросы словообразовательного синтеза. М., 1980.
 9. *Кубрякова Е. С.* Динамическое представление синхронной системы языка // Гр поэза в современной лингвистике. М., 1980.
 10. *Ермакова О. П.* О соотношении понятий *производность* и *мотивированность* // Актуальные проблемы русского словообразования: Материалы V Республиканской научной конференции. Ташкент, 1989.
 11. *Трубачев О. Н.* Этимологические исследования и лексическая семантика // Приципы и методы семантических исследований. М., 1976.
 12. *Максимов В. И.* Еще раз о грамматической теории и практике обучения языку // ВЯ. 1980. № 1.
 13. *Николаев Г. А.* Русское историческое словообразование. Казань, 1987. С. 9, 10
 14. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
 15. *Булаховский Л. А.* Курс русского литературного языка. Т. II: Исторический комментарий. Киев, 1953.
 16. *Шмелев Д. Н.* Архаические формы в современном русском языке. М., 1960.
 17. *Тихонов А. Н.* Синхрония и диахрония в словообразовании // Актуальные проблемы русского словообразования. I. Самарканд, 1972.
 18. Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка. М., 1966. С. 56, 57.
 19. *Максимов В. И.* Грамматическая теория и практика изучения языка // ВЯ. 1977 № 1.
 20. *Железнова Р. В.* Из истории личных имен существительных в русском литературном языке (XI—XX вв.). Душанбе, 1988. С. 50.
 21. *Допатин В. В., Улужанов И. С.* Теория грамматики и практика грамматического описания // ВЯ. 1978. № 1.
 22. Способы номинации в современном русском языке. М., 1982.
 23. *Worth D. S., Kozak A. S., Johnson D. B.* Russian derivational dictionary. N. Y., 1970.
 24. Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970—1973 гг. Словообразование. М., 1978. С. 103—105.
 25. *Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф.* Словарь морфем русского языка. М., 1986.
 26. *Тихонов А. Н.* Словообразовательный словарь русского языка. М., 1985.
 27. *Шанский Н. М.* Очерки по русскому словообразованию. М., 1968.
 28. *Улужанов И. С.* Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., 1977. С. 22—34.
 29. Краткая русская грамматика. М., 1989. С. 40, 41.
 30. *Преображенский А.* Этимологический словарь русского языка. Т. I, II. М., 1910—1914.
 31. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1964—1973.
 32. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—17. М., 1975—1991.
 33. Этимологический словарь русского языка. МГУ. Т. I, II. М., 1963—1982.
 34. Словарь русского языка XVIII века. Вып. 2. Л., 1985. С. 13.
 35. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1961. С. 297.
 36. *Шмелев Д. Н.* Современный русский язык: Лексика. М., 1977. С. 229.
 37. Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Глагол, наречие, предлоги и союзы. М., 1964. С. 14.
 38. *Толстая С. А.* Дневники. Т. I. М., 1978. С. 283.
 39. *Свердлов Л. Г.* О некоторых отглагольных именах существительных. // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. IV. М., 1963. С. 112—114.
 40. *Варбот Ж. Ж.* Древнерусское именное словообразование. М., 1969.
 41. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—15. М., 1974—1988.
 42. *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. М., 1977. С. 111.
 43. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1895.
 44. *Блинова О. И.* Явление мотивации слов. Томск, 1984. С. 66—71.
 45. *Słowski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. T. II. Kraków, 1958—1965.
 46. Этимологічний словник української мови. Т. 2. Київ, 1985.
 47. *Виноградов В. В.* Русский язык. М.; Л., 1947. С. 433, 434.
 48. *Смирницкий А. И.* Лексикология английского языка. М., 1956. С. 65—66.
 49. *Булаховский Л. А.* Деэтимологизация в русском языке // Булаховский Л. А. Избр. труды: В 5-ти т. Т. III. Киев, 1978.

50. *Аркадьева Т. Г.* Деэтимологизация и ее обусловленность в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1973.
51. *Матвеева Т. В.* Парadoxальная внутренняя форма слова (На материале диалектных глаголов) // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Вып. VIII. Новосибирск, 1979. С. 119.
52. *Rammelmeyer M.* Emotion und Wortbildung. Untersuchungen zur Motivationsstruktur der expressiven Wortbildung in russischen Umgangssprache // Gattungen in den slavischen Literaturen. Köln; Wien, 1988.
53. *Улуханов И. С.* О некоторых промежуточных явлениях в словообразовании (к соотношению синхронии и диахронии) // Актуальные проблемы русского словообразования Самарканд, 1972.

© 1992 г. ЯНИН В. Л.

ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Исключительная редкость средневековых бытовых текстов в арсенале отечественного источниковедения, казалось бы, должна была бы делать драгоценной в глазах исследователей любую новую находку. В особенности это касается памятников домонгольской поры, в равной степени важных для историков и лингвистов. Между тем лишь берестяные грамоты привлекли к себе такое двойное внимание. Столь же стремительно формирующийся на наших глазах фонд древних эпиграфических памятников, как это ни парадоксально, остается пока вне поля зрения лингвистики, хотя количество одних только киевских надписей, подвижнически выявленных и изданных С. А. Высоцким, превысило 400 [1—3], а изданный А. А. Мединцевой свод граффити новгородского Софийского собора включил свыше 250 текстов [4]. Немалое число надписей публиковалось по мере их обнаружения, а также включалось в различного рода сводки. Инициатива таких публикаций всегда исходила от археологов, искусствоведов и реставраторов — первооткрывателей эпиграфических фактов, но никогда не от лингвистов. Может быть, именно здесь заключена причина лишь одностороннего внимания к этому фонду? Если изучение берестяных грамот почти с самого начала стало совместным предприятием исторической и лингвистической наук, то в чтении и истолковании процарапанных на штукатурке и мелких бытовых предметах надписей участвовали только открывавшие и издававшие их лица, для которых введение в научный оборот обнаруженных при раскопках или реставрационно-архитектурных работах текстов имело, главным образом, практическую цель: проверить средствами палеографии правильность стратиграфической картины, идет ли речь о стратиграфии культурного слоя или стратиграфии храмовых росписей и строительных напластований в сохранившейся граффити церкви.

Транскрипции и истолкования, предлагавшиеся исследователями, которые не имели специальной филологической подготовки, надо думать, вызывают недоверие, а порой и усмешку, — вероятно, во многих случаях вполне заслуженную. Однако сама важность открываемых и издаваемых текстов требует их профессиональной критики и возможного исправления или указания вариантов чтения. Непрофессионализм, как правило, стремится к добыванию вывода и в том случае, когда для этого нет условий. В нашем случае это обычно проявляется в насилии над текстом, легко обнаруживаемом именно средствами лингвистики, коль скоро такое насилие проявляется в пренебрежении законами морфологии и синтаксиса и опирается на предвзятое представление о недостаточной грамотности писавших.

Автор предлагаемых заметок не получил лингвистического образования, но имеет сорокалетний опыт работы с берестяными грамотами и что не менее важно — творческого общения с лингвистами в процессе изучения грамот. Не претендуя поэтому на безошибочность предлагае

мых поправок к ряду изданных эпиграфических текстов, я более всего хотел бы привлечь к этим памятникам деятельное критическое внимание филологов.

1. К чтению некоторых граффити киевского Софийского собора

Настоящий раздел заметок содержит комментарий к предпринятой С. А. Высоцким публикации киевских граффити. Коль скоро все двадцать случаев представляют собой акты несогласия (порой достаточно резкого) с транскрипциями и толкованиями, предложенными названным исследователем, считаю необходимым, прежде всего, сказать, что считаю трехтомный труд С. А. Высоцкого выдающимся жизненным подвигом ученого.

Нумерация надписей и указанные здесь датировки соответствуют принятым в издании, первый выпуск которого (1966 г.) обозначен цифрой I, второй (1976 г.) — цифрой II, третий (1985 г.) — цифрой III.

№ 23. XII в. (I, с. 59, табл. XXV, XXVI, 1). Чтение С. А. Высоцкого.

съподоби ма грѣшн[а]
г[о] отъче Хвѣда не по
би сноу азъ съ онѣми
чръницами

Его перевод: «Удостой меня, грешного Федора, отче, и не побей снова, я с теми чернецами». Сомнения издателя относятся только ко второй строке, где, по его словам, «...читается „от чех“, т. е. от чехов, но твердой уверенности в таком чтении нет. Возможно, этот фрагмент следует читать как „отче“ или „старче“, но тогда неясно, какое слово начинается на букву Х, быть может, имя Хвод или Хвед (испорченное от „Федор“). Запись представляет обращение к Онуфрию (граффито нацаралано на фреске с изображением св. Онуфрия. — Я. В.), которого вполне можно назвать „старче“».

Уже на этом примере хорошо видно, что лингвистическая сторона интереса у С. А. Высоцкого не вызывала, иначе ему пришлось бы разъяснять, почему чтение «не поби» переводится «не побей», почему невероятное «сноу» означает «снова» и почему женский род «чръницами» нужно превращать в мужской — «чернецами», какой смысл заключен во фразе «я с теми чернецами», а также каким образом св. Онуфрий уже побил однажды Хведа.

Прежде всего необходимо проверить предложенные транскрипции. Следы буквы А в слове «грѣшнаго» обнаруживаются не в конце первой, а в начале второй строки; во второй строке после букв ХВ следует читать не Ё, а Ъ; в третьей строке вторая буква — не И, а Ъ; в той же строке после ОУ имеются следы еще одной буквы, от которой сохранилась мачта и горизонтальная перекладина вправо, что может соответствовать только Ю; наконец, буквы ХВ во второй строке покрыты титлом. Перечисленные поправки позволяют читать граффито иначе:

Съподоби ма грѣшнаго, отъче Хвѣ, да не побѣсноую азъ съ онѣми чръницами.

Сочетание «отъче Х(ристо)въ», разумеется, нет необходимости понимать как «отец Христа»; оно переводится как «старец божий», «угодник божий» и т. п. «Побѣсноую» — от «побѣсити»; по словарю Даля, «посердить, подразнить, постараться вывести из терпения; -ся, посердиться, погневаться неистово» [5, т. III, с. 139]. В записи не идет речь о выполнении какого-то обета, как полагал С. А. Высоцкий, а содержится молит-

ва о даровании писавшему кротости в его отношениях с какими-то раздражавшими его черницами.

№ 46. XII в. (I, с. 91, табл. XLIII, 4; XLIV, 4). Чтение С. А. Высоцкого:

ѣтъи оноу
ѣрие моли
ба милости
ваго за рабоу
свою еленоу
иб— помощи
и--ъ рабоу
своемоу ѣзы
порови ам[инь]

Его перевод: «Святой Онуфрий, моли бога милостивого за рабу свою Елену и... помощи... рабу своему Фсыпорови, аминь».

Непрочитанные издателем в шестой и седьмой строках места восстанавливаются не только по смыслу, но и по уцелевшим элементам букв:

и боуди помощь
[н]икъ рабоу

Что касается сверхъестественного Фсыпора, то в действительности буквы С и Ы в конце восьмой строки к рассматриваемой надписи не относятся, а первая буква девятой строки — не П, а Л, что определяет имя писавшего — «Фълоръ». В целом эти поправки позволяют прийти к чтению:

С(ва)тъи Оноуѣрие, моли Б(ог)а милостиваго за рабоу свою Еленоу и боуди помощникъ рабоу своему Фълорови. Ами(нь).

№ 50. XIII в. (I, с. 95). Чтение С. А. Высоцкого:

М(е)с(а)ца ноамбра въ 27 днь
прѣс(та)виса рабъ бѣбжии митрополить Кюрило.

Не имея никаких замечаний к транскрипции и чтению, должен, однако, выразить недоумение по поводу хронологического комментария, предложенного издателем: «Трудно сказать, о каком „Кюриле“ в граффито идет речь, возможно, о Кирилле I, умершем в 1233 г., или о другом киевском митрополите Кирилле II, который, согласно летописи, умер 6 декабря 1281 г. и был похоронен в Софийском соборе в Киеве. Наиболее вероятным было бы думать, что запись на стене собора относится к последнему, но большие расхождения в дне и месяце события, имеющиеся в летописи и рассматриваемом граффито, оставляют вопрос нерешенным».

Совершенно очевидно, что к Кириллу II надпись отношения не имеет, коль скоро он умер 6 декабря, а не 27 ноября. Но в таком случае, поскольку третьего одноименного митрополита не было, она может относиться только к Кириллу I и имеет двойное значение. Во-первых, она называет календарную дату кончины Кирилла I, не зафиксированную в других источниках. Во-вторых, граффито обретает полную хронологическую определенность, становясь особой драгоценностью для эпиграфики.

Имеются ли какие-нибудь противоречия показанию граффито о смерти Кирилла I именно 27 ноября? Летописный рассказ о его смерти [6, с. 72, 282] содержится в таком хронологическом контексте. 10 июня 1233 г. в Новгороде умер княжич Федор Ярославич, затем новгородцами (очевидно, в память о нем) была заложена церковь св. Феодора на воротах

Детинца. Далее следует сообщение о кончине митрополита Кирилла. Наконец, завершён мартовский годовой рассказ сообщением о конфликте с немцами, начавшемся около «госпожина дня» (15 августа), но завершившемся только к «великому говению», которое в 1234 г. началось 6 марта. Хронологическую вилку в этом рассказе составляют 10 июня 1233 г. и 6 марта 1234 г., между этими датами случилась кончина митрополита — противоречия указанию на 27 ноября нет.

№ 52. 17 февраля 1285 г. (I, с. 96, табл. LI, LII). Чтение С. А. Высоцкого:

въ лѣтѣ \times ѣѣ. ѣг. приста
 в[ис]а рабѣ бжии за
 хариа. мѣа февра
 ра [zi] апа на пама
 ть стогъ федора ти
 рена — в субо[т]у въ
 жъновцаащ----

Его перевод: «В 6793 (1285) скончался раб божий Захария в месяце феврале в день на память святого Федора Тирена, в субботу...» Цифры в обозначении дня [17] в граффито не сохранились и восстановлены по месяцеслову С. А. Высоцким.

В надписи недочитан конец, который поддается истолкованию исходя из обстоятельств времени указанной в граффито кончины. 17 февраля в 1285 г. действительно приходилось на субботу, но не простую, а на субботу второй недели великого поста, когда совершается поминовение умерших, а завершающая службу этого дня литургия Иоанна Златоуста оканчивается пением «Блажени, яже избрал». Согласно Далю, «блаженными или блаженной памятью поминаются усопшие государи и высшие духовные лица» [5, т. I, с. 95]. В этой связи обращение к фотографии прориси позволяет реконструировать следующее за словом «суботу» место как «бл(а)жънову», полагая, что так могли именовать субботу второй великопостной недели. Следующие в конце надписи буквы читаются как «ааѣ» и, возможно, означают: а а ѣ (аль) ...

№ 63. 1328—1352 гг. (I, с. 102—103, табл. LXI, 1; LXII, 1). Чтение С. А. Высоцкого:

грешномѣ митрополи феогностѣ
 всеа роуси мно лѣ

Его перевод: «Грешному митрополиту Феогносту всея Руси многие лета» имеет несколько пикантный характер из-за неверного прочтения первой буквы, которая, кстати, великолепно видна и на фотографии, и на прориси; нацарапано не Г, а П: прещном ѣ, т. е. «пресвященному».

№ 67. XIII—XIV вв. (I, с. 105, табл. LV, 3; LVI, 3). Чтение С. А. Высоцкого:

+ артемиос
 помилоуи ма
 грѣшника
 ѿ : азъ твоа
 стих + ра[б]анархиса

Переведены издателем первые три строки: «Артемий, помилуй меня, грешника...» Относительно остальных двух он пишет: «В начале четвертой строки значится ѿ под титлом, что, вероятно, является счетом там

называемых „зачал“ — отрывков, читаемых в церквах. Далее следует отрывок с неясным смыслом: „я твоя святых, раба Нархиса“ (?)».

Разумеется, Ю никакого отношения к «зачалам» не имеет, а обозначает привычное сокращение имени Иоаннь. В последней строке между буквами Х и Р нацарапано Ё, а не крест, как в транскрипции издателя. «Восстановленная» же им Б является лишь логически исходящей из его осмысления надписи конъектурой: на прориси С. А. Высоцкого эта деформированная буква ближе всего к П. Предлагаемое чтение конца надписи: *Азь твоя стихѣра панархиса, т. е. я — твоя песнь всемогущая.* № 68 (I, с. 105, табл. LXIII, LXIV). В верхней части надписи XIII—XIV вв. «...прочерчена более ранняя монограмма в виде креста под титлом, с буквами А, К, С, Ж, значение которых определить не удалось». Указанные буквы расположены в следующем порядке: в верхней части по сторонам вертикали креста А — С, в нижней части по сторонам той же вертикали К — Ж. Наиболее вероятно их значение: А се крестъ животворящи.

№ 107. XI в. (II, с. 32, табл. XIV). Чтение С. А. Высоцкого:

—а ги вседержителъ избави — или ма владыко мжкы

Его перевод: «А господи, вседержитель, избавь, владыко, меня, Илью (?), муки...», в связи с чем и граффито названо «записью Ильи». Между тем в промежутке, обозначенном издателем прочерком (между «избави» и «киди»), на фотографии ясно читается буква Ш, что дает следующую транскрипцию:

А, Г(оспод)и Вседержителъ. избавиши ли ма. владыко. мжкы.

№ 108. XI в. (II, с. 32—33, табл. XV). Транскрипция С. А. Высоцкого:

мати не хотачи дѣтича бѣжа гетъ|
бъ же не хота челоѡка бѣдами кажетъ|
--ромъи стоуаи въ своегого чиноу въ сѣмъ |ъ| грѣхомъ |а| въ
--чь боудеть |а|минь

Указав на затруднительность чтения и понимания надписи, издатель все же высказал предположение, что ее можно переводить так: «Мать, не желая ребенка, бежала прочь; бог же, не желая человеку бед, указывает святому своего чина Ромои(?) на этот грех и тот, который будет». «По содержанию, — пишет он, — запись — какое-то поучение женщинам, бросающим своих детей... В записи, сделанной по памяти, есть несогласованность падежей, пропуски букв (конечных Ё в словах „гет“, „кажет“) или лишние буквы („своего“) и т. д. ...Что касается слова „гет“, то оно не зафиксировано в словаре И. И. Срезневского. Из содержания записи выходит, что „гет“ означает „прочь“. В этом значении слово „гет“ употребляется в современном украинском языке».

По-видимому, нет нужды подробно разбирать этот пассаж. Следует просто заново прочесть граффито, отметив, что в начале третьей строки читается инициальная буква Х; в той же строке между У и И нацарапано П, а не А, а показанная в квадратных скобках в конце той же строки А в действительности является буквой С или О. В последней строке написано «боудеть», а не «боудеть».

С учетом этих поправок надпись делится на слова так:

мати не хотачи дѣтича бѣжагет
бъ же не хота челоѡка бѣдами кажет
Хромъ истоупивъ своегого чиноу въсѣмъ|ъ| грѣхомъ свѣ
ечь боудеть аминь

Первую половину записи А. А. Зализняк, к которому я обратился за консультацией, переводит следующим образом: «Мать, (даже) не ставя себе такой цели, дитя воспитывает. Бог же, (даже) не ставя себе такой цели, человека бедами наставляет». Этот текст находит полную аналогию в 71-м слове Изречений Исихия и Варнавы, изданных по рукописям XIV—XVI вв.: «Мати, не хотящи, детища болна бѣжаеть; тако бог, и не хотя, человека грешна печалыи кажесть (и) казнии» [7].

Во второй половине там, где я прочел слово «свѣчь», А. А. Зализняк настаивает на чтении «объчь». В любом случае перевод остается неизменным: «Хромой, вышедши из своего состояния, всем грехам приобщен будет». В моем варианте — «всем грехам свойственник будет». Источник этого изречения обнаружить не удалось, но для понимания заключенной в нем идеи небесполезно вспомнить одну из формул церковного устава князя Владимира: «А се церковныѣ люди: игоумень, попъ, дьяконъ, дѣти ихъ, попади и кто въ клиростѣ, игоуменья, чернець, черница, проскоурница, паломникъ, лѣтець, прощеникъ, задушныи человекъ, сторожникъ, слѣпецъ, хромецъ» [8]. Состоянием хромого, таким образом, была принадлежность к церковным людям, оберегающая его от греха.

Что касается «лишних» букв в словах «бѣжагет» и «свогего», то здесь мы, несомненно, имеем дело с обозначением иотации, подобным тому как на знаменитой черниговской золотой гривне в слове «Василию» иотация последнего звука выражена буквами ГЖ.

№ 120. XII в. (II, с. 42, табл. XXVI, XXVII, 1). Чтение С. А. Высоцкого:

пищанъ ѡла въд
въ дыжкъ ходивъ
выожченикомъ

Его перевод: «Пищан писал, к дьякам ходил выучеником» игнорирует наличие последних трех букв в первой строке. Правомернее читать:

Пищанъ ѡла въд(о)въ дыжкъ, ходивъ выожченикомъ,

т. е.: «Пищан писал, вдовый дьяк, ходил выучеником».

№ 124. XII в. (II, с. 45—46, табл. XXX, XXXI, 2). Чтение Б. А. Рыбакова, поддержанное С. А. Высоцким:

хо хо хо
крѣлоша
ниинъ свати
і богороди
ци

В переводе: «Хо-хо-хо, клирошанин святой Богородицы». «Междометие „хо-хо“, — писал Б. А. Рыбаков, — и удвоение гласных как бы имитирующее растягивание гласных при пении, явно указывают на такой случай, когда в Софийском соборе пели клирошане „Святой богородицы“, т. е. Десятинной церкви, а местные софийские клирошане чертили на стене насмешливые надписи по их адресу» [9, с. 64].

Такое истолкование рисует очень живую картину быта средневековых киевских клирошан, однако в граффито на самом деле нет никаких междометий, а без особых затруднений читается имя или прозвище: Хохоль.

№ 135. XII в. (II, с. 52, табл. XLIII, XLIV). Чтение С. А. Высоцкого:

гѣ помози рабу
своему козмѣ грѣшнѣ}номуу
прозвутероу и прости ма

владыко грѣхъ моихъ мнози
 бо соуть и съц[о]доб поулоучити
 мѣста отъ тебе соуд[д]и пров
 [д]ны въ дна соудьнѣ

Его перевод: «Господи, помоги рабу своему Кузьме, грешному пресвитеру, и прости мне, владыка, грехи мои многие, потому что есть, и удостой получить милость от тебя — судьи, проводи в день судный».

Если чтение и перевод первых строк не вызывают замечаний, то вторая часть заставляет недоумевать, на какой язык сделан перевод, настолько он невразумителен. Само это обстоятельство требует проверки предложенной транскрипции.

В четвертой строке в слове «моихъ» вторая буква переправлена из А на О, что не было учтено издателем. В пятой строке нет нелепого «поулоучити», а есть безоговорочно читаемое и на фотографии, и на прориси «и оулоучити». «Улучити» — то же, что и «получити» (ср. в Ефр. Кормч.: «Или правьднааго, аще просать, оулоучать, или неправьдна, да ѡходать» — см. «Материалы...» Срезневского [10, т. 3, стлб. 1199]. В конце предпоследней строки процарапано «авь», а не «овѣ», а в начале последней «дна», а не «дны».

Все это позволяет транскрибировать последние четыре строки графито следующим образом:

владыко грѣхъ моихъ мнози
 бо соуть и съц[о]доби оулоучити
 мѣста отъ тебе соуд[д]и правь
 дна въ дна соудьнѣ

Перевод всей надписи: «Господи, помоги рабу своему Козме, грешному священнику, и прости мне, владыка, грехи мои, ибо их много. И удостой получить милость от тебя, судьи праведного, в день судный».

№ 144. XII в. (II, с. 57, табл. LI, 3; LII, 3). Графито, прочитанное как

мо
 жч
 га
 лта.

С. А. Высоцкий неправомерно присоединил к расположенному ниже его в качестве якобы окончания последнего и предположил наличие в благопожелательной, обращенной к Богу, формуле небывалого имени «Чгалтъ». В действительности это вполне самостоятельная надпись, читаемая как

мь
 но
 га
 лта.

т. е.: многа лѣта.

№ 146. XII в. (II, с. 58, табл. LIII). Чтение С. А. Высоцкого:

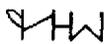
[ги] пом[о]з[и] рабѣ свѣмѣ игнатѣви а
 прѣзвѣщьямиа саетать а ги нь бюса съмь(р)ти
 (----)кѣтр-----дша мѣа [д]нь сѣдьягѣ дѣша
 мѣа рикаюци

Его перевод: «Господи, помоги рабу своему Игнатию, а прозвищем Сагат; господи, не побоюсь смерти ... душа моя, (ожидая) дня судного, душа моя стонет».

Граффито осталось недочитанным, хотя затруднившее издателя начало второй строки особых сложностей не содержит и, между прочим, детально воспроизведено на опубликованной самим С. А. Высоцким прописи: здесь безусловно читается слово «трѣщеть(ь)», а предшествующее этому слову дефектное начало строки выглядит как «т—къ», что в контексте записи как будто может претендовать лишь на конъектуру «т(оли)къ»:

А. г(осподи). нь бьуса сьмь(р)ти. т(оли)къ
трѣщеть д(у)ша мьа днь сдѣнагь,
дѣша мьа рикающи.

Более сложным представляется чтение туманного места в первой строке, касающегося прозвища Игнатия. Предложенное издателем имя «Сагатъ» совершенно фантастично, тем более что группа предшествующих ему знаков никаким образом не разъяснена. Это действительно невероятно трудное место, версию прочтения которого я попытаюсь обосновать.

Здесь выделяется важная для понимания последующего текста форма «ръзъвищми», которая указывает на наличие у Игнатия не одного прозвища. Следующая группа знаков — сложная лигатура АНИМА, в которой соединены первые четыре буквы:  . Далее следует знак, трактованный издателем как С, однако он не имеет должной изогнутости, чтобы быть этой буквой, и читается скорее как I. Наконец, Е в предположенном С. А. Высоцким слове «Сагатъ» не безусловно; это может быть и С. В таком случае возникает следующая транскрипция:

а рьзъвищми Анима I Астатъ

Оба реконструируемые прозвища находят этимологическую греческую опору: «Анима» (от *ἀνεμαίος*) — пустой, ничтожный, «Астатъ» (от *ἀστατός*) — шаткий, неустойчивый.

№ 175. XIII—XIV вв. (II, с. 78). Непонятно, почему выражение «бѣсомъ тѣ творю», имеющееся в этом граффито, С. А. Высоцкий переводит как «(и), бесом уязвленный, делаю». Творить кого-либо бесом значит «считать его бесом» (см. [10, т. 3, стлб. 934—937]). Автор записи какое-то второе лицо («та») называет бесом.

№ 198. XIII—XIV вв. (II, с. 91, табл. ХСII, ХСIII, 1). Чтение С. А. Высоцкого:

гѣ помози рабуо св
бемоу яносоу свѣта
а сооеи на морюоу
и на ноу

Его перевод: «Господи, помоги рабу своему Яносу, святая София, на мор и на новый урожай» с пояснением: «Наряду с морем автор надписи упоминает „ноу“». И. И. Срезневский это слово объясняет так: „ноу, новѣ“, — новые, первые плоды. „Днѣ нови“ — праздник новых плодов». Таким образом, автор просит, чтобы бог помог ему на случай болезни и послал хороший урожай». Мне не удалось отыскать в Материалах Срезневского (равно как и в других словарях) слова «ноу» в указанном С. А. Высоцким значении. Впрочем, в этом нет и особой необходимости, поскольку в действительности последнее слово рассматриваемого граффито читается совершенно иначе, а именно: «намуринаноу». Глагол «намурывати» имеется в древнерусских лексиконах. Им переводится греческий глагол *ἐπιπολάω*, одно из производных которого — *ἐπιπολάω*:

означает «обыкновенный, простой, заурядный». В духе христианского самоуничтожения это слово в контексте граффито следует переводить «ничтожному». Надо отметить также, что в слове «Соѣти» знак после Ѡ различим на фотографиях: это не Ю, а Ё.

№ 199. XIII—XIV вв. (II, с. 92). В надписи «Г(оспод)и, помози рабоу своемоу Костѣтиноу Станамириноу» С. А. Высоцкий трактует последнее слово как мирское имя или прозвище автора граффито. Притяжательная форма говорит, однако, об отчестве. Человек с таким именем и отчеством известен: под 1311 г. в Новгородской I летописи упомянут Костянтин Ильин сын Станимирович, погибший во время похода «за море» на емь под предводительством брянского князя Дмитрия Романовича. Отца Костянтина — Станимира — в крещении звали Илией. Неясно, был ли Костянтин Станимирович новгородцем или воином из дружины южного князя.

№ 229. XV—XVII вв. (II, с. 109—110, табл. СХХI, СХХII. 1). Чтение С. А. Высоцкого:

Ѡ сватаа софѣе призьри по
мани прѣсстти пом[а]ни и
помилои---оат---иоогоу
же про[б]и тлеть

Его перевод: «О, святая София, призри, помани и помилуй ... отсрочь же одряхлеть» со следующим пояснением: «Слово „проби“ в четвертой строке, которое также читается недостаточно уверенно, по-видимому, происходит от глагола „пробава“ — откладывание, отсрочка. Далее идет слово „тлеть“ (тут, наверное, ошибка — „тлѣть“) — ослабеть, одряхлеть». Подобно тому, как слово «пробава» не является глаголом, глагол «тлѣти» отнюдь не имеет тех значений, какие ему приписаны С. А. Высоцким. По всей вероятности, издателю правильнее было бы признаться, что конец надписи ему прочесть не удалось, так как все предложенное в качестве перевода слишком отдает натяжками и насилием над текстом. Между тем вся эта часть надписи читается вполне удовлетворительно:

[и]с братьеи того иже прочитаеть

В целом граффито читается следующим образом:

Ѡ сватаа Софѣе, призьри, помани, прѣсстти
помани и помилоуи [и]с братеи того, иже
прочитаеть.

№ 236. XIII—XIV вв. (II, с. 112, табл. СХХV, СХХVI). Чтение С. А. Высоцкого:

мѣца марта въ 4. на па
мат стого павла и оулькны
пристависа рабъ бѣ акимь
---мисмьпефюи иерѣи стот
софѣ

Его перевод: «Месяца марта в 4-е на память святого Павла и Ульяны скончался раб божий Яким ... иерей святой Софии». Издатель отметил: «Первая половина четвертой строки до слова „иерей“ непонятна. Возможно, это приписка на греческом языке, сделанная кирилловскими буквами». Не очень ясно, чем кирилловские буквы могут здесь отличаться от греческих. Впрочем, это не столь важно, так как конец надписи чита-

ется по-русски:

а псалъ П[е]р[ф]илии жерти стот Софѣт.

№ 307. XII в. (III, с. 25—31, табл. IX, X). Чтение С. А. Высоцкого:

володимира
[с]е была многопечална[д?]
а[н]дрѣва снѣха ольгова [с]
е[с]тра и игорева и всев[о]
ложд напсалъ [в]аник
о попъ члвеко влдк[и]
[р]абатьб---

Его перевод: «Се была (в Софии. — В. С.) многопечальная Андреева сноха, Олега сестра и Игоря и Всеволода. Написал Ванко (Иванко?) — поп человек владыки...»

Издатель убедительно идентифицировал главный персонаж надписи — «многопечальную» женщину. Это несомненная дочь черниговского князя Святослава Ольговича и жена князя Владимира Андреевича, внука Владимира Мономаха. Вполне вероятно, что граффито связано с кончиной князя Владимира, умершего в 1169 г. и похороненного в киевском Андреевском монастыре.

Вызывает решительное возражение чтение заключительной части граффито, в частности, сочетание «человек владыки», которое может быть переведено лишь как «слуга владыки», что вряд ли применимо к попу. В действительности здесь читается совершенно иной текст:

... всев[о]
ложд на пр[а]з[д]ник[ъ]
а попъ шль с[а]вѣт
[бо]гаты гр[д]хы

Самоуничижительное «богатый грехом» имеется в киевских надписях № 24, 33, 196, 279. Сокращение «Савѣт» вместо «Савель» следует сравнить с написанием «¹ Савлид» в новгородской берестяной грамоте № 272.

2. Надпись на шифрном пряслице из Любеча

В 1957 г. при раскопках Любеча было обнаружено небольшое (16 мм в диаметре) шифрное пряслице с надписью, заполняющей всю его нижнюю грань и переходящей затем на верхнюю. В первоначальной публикации руководитель раскопок Б. А. Рыбаков определял дату этого предмета следующим образом: «Палеографически надпись датируется концом XI в. — началом XII в.; это подтверждает и датировку стратиграфическую»: пряслице найдено «... в уцелевшем углу землянки, перерезанной большой клетью и, следовательно, относящейся к более раннему времени, чем 1147 г., когда погибла сама клеть, уничтожившая большую часть землянки» [11, с. 33]. «Характерную особенность стратиграфии замка, — писал Б. А. Рыбаков, — составляет слой пожара XII в., единственный во всей свите прослоек; это дает возможность сопоставить его с сожжением Любеча в 1147 г. Ростиславом. Слой пожара встречен и на основном раскопе, и на въезде, и в траншее, разрезавшей городни замковых стен» [11, с. 30].

Сомнительной представляется мысль о том, что деревянный Любеч на протяжении многих десятилетий горел только один раз, однако и с пожаром 1147 г. нет должной ясности. Б. А. Рыбаков ссылается на обращенную в указанном году к князю Изяславу Мстиславичу речь посла его

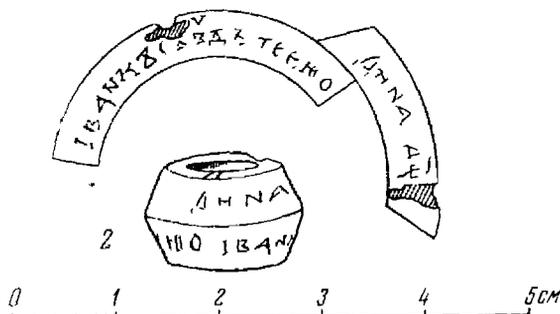


Рис. 1. Праслице из Любеча

брата Ростислава: «брат ти молвить — сожди мене, язъ ти есмь сде Любець пожегль и много воевалъ и зла есмь Ольговичемъ много створиль» [12, стлб. 356—357] и на летописное свидетельство 1159 г., числящее Любеч среди пустых черниговских городов, в которых сидят лишь псарь и половцы [12, стлб. 500]. Из сопоставления этих двух свидетельств как будто следует, что в 1147 г. Любеч был настолько основательно выжжен, что с тех пор надолго запустел. Однако такому заключению противоречат события следующего года. В 1148 г. во время осады Чернигова Изяслав Мстиславич выжигает черниговскую округу до Любеча, о чем черниговские князья сообщают Юрию Владимировичу Долгорукому: «тоу села наши пожгли оли до Любча и всю жизнь нашу повоевали». За опустошением округи последовали снятие осады с Чернигова и поход Изяслава к Любечу: «нача Изяславъ молвити — се есмы села их пожгли вся и жизнь их всю, и они к намъ не выдоуть, а поидемъ к Любчю, идеже их есть вся жизнь». Черниговские князья в Любече выдержали нападение, «заложившися» Днепром, на котором после сильного дождя начался разлив с ледоходом [12, стлб. 361—363]. Любеч, следовательно, в 1148 г. отнюдь не был пожарищем, а это заставляет более внимательно присмотреться к сообщению 1159 г.

В Ипатьевской летописи оно имеет следующий вид. Князь Святослав Ольгович, получивший Чернигов по договору с Изяславом в 1158 г., сетует, что ему достался лишь «Черниговъ съ 7-ю городъ пустыхъ Моравинскъ, Любескъ, Оргощъ, Всеволожь, а въ нѣхъ сѣдять псареве же и Половци». В Хлебниковском и Погодинском списках той же летописи союз «и» отсутствует: «псареве же Половци» [12, стлб. 500], что свидетельствует, по крайней мере, о неясности текста. Более исправный вид сохранился в Московском своде конца XV в. и в Воскресенской летописи: «Черниговъ съ семью городовъ пустыхъ, Моравинскъ, Любеч, Оргище, Всеволожь, а въ нихъ сѣдять псареве, и то же Половци выпустошили» [13, 14]. Иными словами, разорение черниговских городов, в том числе и Любеча, связано не с событиями 1147 г., а с действиями половцев в несколько более позднее время. Но в это позднее время, т. е. в конце 40-х и в 50-х гг. XII в., половцы пребывали на Черниговщине как сила, союзная Ольговичам в их борьбе с Мстиславичами. Думать, что они выжигали города, служившие опорными пунктами для них самих, было бы по меньшей мере странным. Скорее следует догадываться, что «выпустошили» половцы черниговские города непосредственными военными поборами, вынудившими их население разбегаться¹. Таким образом, дата уничтожения любечского замка представляется необоснованной и остается невыясненной.

¹ Наличие в «пустых» городах псарей говорит о существовании в них служб княжеского охотничьего хозяйства и, следовательно, о возможности приема и размещения в них князя и его дружины

Предложенная первоначально датировка пряслица, как это очевидно, отталкивается от гипотетической гибели замка в 1147 г.: если комплекс перекрывающих землянку построек сгорел в середине XII в., то сама землянка, в которой найдено пряслице, естественно, относится к более раннему времени, нежели возведение этих построек. — примерно к рубежу XI—XII вв. Позднее исследователь пересмотрел датировку пряслица: «Пряслице стратиграфически датируется серединой или третьей четвертью XI в., когда на месте будущего княжеского замка Мономаха (1078—1096 гг.) существовали ремесленные мастерские» [9, с. 54]. Отнесение комплекса перекрывающих землянку построек к строительству князя Владимира Всеволодовича обосновывается так: «Сочетание археологических и исторических данных позволяет считать строителем города и замка XI в. черниговского князя Владимира Мономаха (1078—1094 гг.)» [15, с. 23]; см. также [16]. Подобная аргументация явно недостаточна. Каких-либо данных письменных источников о строительстве Мономаха в Любече не существует. В опубликованных же материалах о раскопках в Любече обнаружить доводы в пользу того, что комплекс реконструированного исследователем замка построен в последней трети XI в., а, например, не во второй четверти XII в., мне не удалось.

Б. А. Рыбаков предложил транскрипцию надписи и ее перевод: «Троительной илтимностью веет от надписи на крошечном детском пряслице:

[ванкъ създ'ъ тее ю одина дщ(ерь),

г. е., «Иванко сделал это тебе, единственная дочь» [11, с. 34; 9, с. 54].

Такое чтение было поддержано А. А. Медынцева, принявшей и датировку предмета серединой — третьей четвертью XI в. Б. А. Рыбаков палеографического анализа не предпринимал, ограничившись уже цитированной выше декларацией. А. А. Медынцева отмечает: «Палеографическая дата не противоречит такой датировке, хотя наблюдение затрудняет микроскопический размер букв (1,5—2 мм в высоту). Можно отметить остроугольное „А“ с довольно длинным „хвостом“. „N“ в виде латинского, петли „Ъ“ треугольны» [17, с. 224]. Любому историку, даже поверхностно знакомому с палеографией, очевидно, что указанные признаки не имеют локально-хронологического характера, а присущи начеркам всего домонгольского времени. Следовательно, принятая Б. А. Рыбаковым дата пряслица и после палеографического комментария А. А. Медынцева продолжает целиком основываться на общих соображениях о времени строительства в Любече замкового комплекса. Между тем предложенное Б. А. Рыбаковым чтение содержит решительное противоречие датировке надписи XI в. Для этого столетия закономерны формы «Иванъкъ», «съзъдаль», переход к написанию *-нк-*, *-зд-* относится уже к XII в.

В предложении Б. А. Рыбаковым чтении А. А. Медынцева, в отличие от первоиздателя, отметила некоторые несообразности и попыталась дать им объяснение, не выдвигая иных версий прочтения. Первая из этих несообразностей — смешение древнерусских и старославянских форм: «Хотя надпись начерчена с пропуском букв, но показывает не только грамотность, но и известную образованность автора: употреблена старославянская форма „дщерь“ вместо древнерусской „дочь“. Используются титла». Справедливости ради следует отметить, что речь в данном случае идет скорее об образованности первоиздателя надписи, поскольку слово «дщерь» является конъектурой, результатом исследовательской реконструкции дефектного места надписи. Смущает А. А. Медынцева чтение *ь* в конце первого слова как *О*, невозможное для XI в.: «Скорее всего, имя нужно читать не „Иванко“, а „Иванкъ“ — с *ь* на конце, как и должно быть для столь раннего времени». Явно ошибочно написание слова *тее*: опущена *Б*, вместо конечного *дья* написано *Е*. Здесь

также требуется дополнительное уточнение: «тебѣ» является церковнославянской формой, в древнерусском следовало бы «тобѣ». Свои недоумения исследовательница высказала и по поводу слова «ю»: «„Ю“ — вин. пад. ж. р. указательного местоимения — я, т. е. нужно переводить — ее. Эта форма говорит о том, что слово „прясль“ иногда имело форму женского рода: может быть, пряслица? Таким образом, надпись читается так: Иванк сделал тебе ее, единственная дочь» [17, с. 224].

Число сомнений можно увеличить. Сокращение (титлование) слов всегда производилось в соответствии с определенными правилами: предположенное в рассматриваемой транскрипции сокращение «създль» безусловно. Обращение к древним текстам показывает, что слово «създаля» имело отнюдь не бытовой оттенок. По-видимому, и Б. А. Рыбаков, и А. А. Медынцева это хорошо чувствовали, заменяя указанный глагол в своем чтении бытовым «сделал». Указательное местоимение «ю» могло быть употреблено в том случае, если бы в предыдущем тексте был назван объект, на который оно указывает; поскольку такого текста нет и не было, здесь более уместным кажется местоимение «се», «сь». Кроме того, конструкция фразы требовала бы в рассматриваемом случае иного порядка слов: «ю тобѣ». С дат. пад. «тобѣ» согласуется скорее дат. же «одиной», а не зват. или им. «одина»².

Такое обилие противоречий и сомнений заставляет заподозрить неверность существующих транскрипции и прочтения надписи, что требует более внимательного обращения к палеографическим деталям. В результате сопоставления опубликованной прориси и фотографии³ пряслица выясняется, что три элемента транскрипции нуждаются в безусловном исправлении. 1) В надписи имеется только одно титло — над последним словом; значок, воспроизведенный в прориси в виде латинского и воспринятый в транскрипции Б. А. Рыбакова как знак сокращения слова или выносная буква, в действительности компонентом надписи не является, не имея аналогий в способах древнерусского письма. 2) Вызывает сомнение толкование последнего читаемого знака надписи как Щ: длинный и извилистый «хвостик» настолько утрирован, что представляется случайным элементом, царапиной, а буква может быть транскрибирована не как Щ, а как Ш. Следующая за ней выщербина могла уничтожить не более одной буквы. 3) Наконец, — и это самое важное, — в слове, прочитанном Б. А. Рыбаковым как «създ(а)ль», нет буквы З, никогда не имевшей подобной формы, а то, что в этом месте надписи имеется, — не З, а несомненное В, абсолютно такое же, как в слове «Иванкъ». С учетом этих замечаний надпись пряслица транскрибируется однозначно:

Иванкъ с Ѡвдѣтеею одна Ѡш[а]

т. е. «Иванко с Овдотеею — одна душа» (ср.: *Муж да жена одна душа* [5, т. 1, с. 504]). Надпись не лишена «трогательной интимности», но совершенно свободна от каких-либо лингвистических противоречий. Противоречие здесь лишь одно — с предложенной издателем второй — «уточненной» — датировкой. Для XI в. были бы закономерны написания «Иванько», «Овьдотеею»: в надписи пряслица наблюдается падение Ъ, присущее уже XII в.

Однако если пряслице не относится к XI в., то и перекрывающая землянку (в которой оно было найдено) клеть не может датироваться временем черниговского княжения Владимира Мономаха. Если же эта клеть одновременно дворцовому комплексу Любеча, то возникают существенные

² Так, кстати, в одной из публикаций переводит Б. А. Рыбаков: «Иванко сделал это тебе единственной дочери» [15, с. 23].

³ Выражаю признательность А. А. Медынцевой за предоставление этой фотографии.

сомнения в предложенной атрибуции этого комплекса: он должен относиться ко времени, недалеко отстоящему от середины XII в., а его создание следует связывать не с Мономахом, а с деятельностью Ольговичей.

3. К чтению граффити из церкви Федора Стратилата в Новгороде

В 1968 г. А. А. Мединцева опубликовала шесть граффити из числа множества надписей, процарапанных на стенах новгородской церкви Федора Стратилата на Ручью [18, с. 440—450]. Эта церковь была построена в 1361 г. [6, с. 367] и расписана фресками в 80—90-х гг. XIV в. (но не позднее 1396 г.) [19], чем определяется и нижняя дата граффити. Почти все изданные надписи фрагментарны, а следовательно, и трудны для однозначного прочтения и истолкования. Однако в некоторых случаях предложенные издателем транскрипции и их толкования содержат очевидные ошибки, нуждающиеся в исправлении. Остановлюсь на двух таких случаях.

Надпись № 3, расположенная на западной стене, на высоте около 210 см от уровня хор. В транскрипции А. А. Мединцевой надпись выглядит следующим образом:

а оу пр[е]ци
стои [х]оут[ъ]
двацать
а то опроци
Ѡ еллен
колк[ѣ] и свѣць
золоты сорокъ
и двѣ

Предложенный исследовательницей перевод надписи: «А у Пречистой хуст двадцать, а то помимо прочих; елея несколько и свечей золотых сорок и две». Следует также привести ее комментарий к чтению: «В начале слов употреблено так называемое *о очное* — с точкой внутри. Прецистои — пречистой — имеется в виду Богородица. Хоуть — очевидно, пропущено *с* перед *т*, — следует читать хустъ. Хуста — платок, плат. Опроци — опрочи, опрочь — кроме, исключая; еллен — должно быть, елен; буквы *л* и *и* удвоены по ошибке. Колкѣ — кольцо — сколько; Ѡколкѣ — означает приблизительное число — несколько» [18, с. 445—446].

Не говоря уже о допущении ряда ошибок писавшего, перевод вызывает определенные недоумения. Очевидно, что речь в тексте действительно идет о каких-то пожертвованиях богородичной иконе. Но зачем иконе двадцать платков, да и «то помимо прочих»? Почему употреблен термин хуста, известный лишь в южных и западных русских диалектах [5, т. IV, с. 569], а в средневековых источниках отмеченный только однажды в грамоте Витовта литовским евреям 1388 г. [10, т. 3, столб. 1424]. Что такое «елея несколько»? Что значит «золотые свечи»? Неумение отметить на эти вопросы заставило обратиться заново к граффито: такое обращение не осталось безрезультатным.

Прежде всего выяснилось, что граффито включает не одну, а две надписи. Сначала было написано:

свѣць
сорокъ
и двѣ

Окончание второй, более пространной, надписи выполнено с учетом уже занятого первой надписью места. Строки этого окончания и первой надписи находятся на заметно различающихся уровнях.

Во второй строке второй надписи нет слова «хоуть», а имеется слово «хрусть», которое встретилось в новгородской берестяной грамоте № 500

XIV в. в значении «хрусталь» («ожерелье ... другое съ хроустаю») [20] ⁴. Написание этого слова через У, а не через ОУ, как в предлоге первой строки, для рассматриваемого времени закономерно: ОУ писали в начале слов, У — после согласной [21]. В четвертой строке в слове «копроци» начальное О не очное, а простое. Наиболее сложной является пятая строка, в которой четвертая буква читается как Е, а не Л, а шестая, по-видимому, как ЦЕ, а не И: «елеецен». Наконец, отметив наличие букв МЫ в начале восьмой строки, А. А. Медынцева отвергает их принадлежность к анализируемой надписи. Между тем они написаны тем же почерком и тем же инструментом, но читаются не как МЫ, а как [—]ЛЫ при утраченной первой букве. Таким образом, вся надпись выглядит иначе, нежели в транскрипции А. А. Медынцевой:

а оу преци
 стои хрусть
 двацать
 а то опроци
 Ѡ елееце и
 колкѣ и
 золоты
 [м]алы

Очное О, которым начинается пятая строка, по правилам книжной изысканности могло читаться как ОЧИ [22, 23]. В таком случае загадочное слово этой строки обозначает «очелееце», украшение на иконе вокруг чела Богородицы (ср., например: «У того же образа ожерелье и подъ вѣнцомъ очелеецо жемчужное» [24]). В целом же надпись переводится так: «А у Пречистой 20 хрусталей, а то кроме очельиц, и колток 8 — золотые малые».

Любопытно отметить, что по описи 1617 г. в церкви Федора Стратилата на Ручью среди прочего инвентаря числились «3 цепочки серебряные. 3 золотых угорских. 13 ожерелец и убрусцев и поднизей и очелников жемчужных. Колтки золотые да 7 колтки серебряны. 11 серег серебряных с камышки и з жемчюги» [25]. Как это видно из граффито, хрустали у богородичной иконы имелись не только в ожерелье, но и на очельицах.

Надпись № 4, расположенная рядом с предыдущей, несколько ниже ее (на высоте 175 см). От нее сохранилась только левая часть, правая же полностью утрачена вместе со штукатуркою.

Транскрипция А. А. Медынцевой:

в лѣ. S. [ц] дѣти п[о]л[о]ст[а]----
 чифоровичъ мѣдѣ----
 мать стхѣ чши----
 в лѣ. S. ц.[д]е т[е]л[е] [г]----
 со[т]ини

В надписи много неясностей, непреодоленных в публикации. Попытка уточнения транскрипции оказалась успешной только в одном месте надписи, давая возможность возразить ее издателю в предложенной им атрибуции упоминаемой в тексте личности. О ней нам достоверно известно, что человек, названный в граффито, носил отчество Онцифорович. Прочитав последнюю строку текста как «сотини» и трактуя это слово как «соцкый», А. А. Медынцева выдвинула предположение, что в надписи речь идет о сыне посадника Онцифора Лукиничя Максиме, который, согласно пока-

⁴ Отмечу, однако, что грамота № 500 была найдена четырьмя годами позднее публикации А. А. Медынцевой.

заниям новгородской берестяной грамоты № 279 [26], был соцким. Исследовательница обратила внимание на то, что самая поздняя из грамот Максима (№ 177) найдена в слоях 1369—1396 гг., что позволило ей высказать предположение о его смерти в 1396 г. и фиксации именно этого обстоятельства в граффито Федоровской церкви [18, с. 448—449]. Эта версия уже подхвачена в литературе [19, с. 46, примеч. 139], однако вряд ли может считаться заслуживающей доверия.

Потомки Онцифора Лукиничина жили в Неревском конце, на Козмодемьянской и Разваже улицах [27], и отмечать кончину кого-либо из них в приходской церкви Плотницкого конца было бы по меньшей мере странным. Однако важнее другое обстоятельство: в граффито вовсе нет слова «сотии», а имеется слово «божии». Специфическая форма написания Ж в виде треножника имеет аналогии в берестяных грамотах № 42 (конца XIV в.), 242 и 578 (обе начала XV в.), а Б — в грамоте № 301 (первой трети XV в.) [23, с. 43 (№ 42); 26, с. 64 (№ 242), с. 132 (№ 301); 21, с. 42 (№ 578)].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Высоцкий С. А.* Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв. Вып. 1. Киев, 1966.
2. *Высоцкий С. А.* Средневековые надписи Софии Киевской (По материалам граффити XI—XVII вв.). Киев, 1976.
3. *Высоцкий С. А.* Киевские граффити XI—XVII вв. Киев, 1985.
4. *Медынцева А. А.* Древнерусские надписи новгородского Софийского собора XI—XIV вв. М., 1978.
5. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. СПб., М., 1880—1882.
6. Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
7. Изречения Исихия и Варнавы // Памятники древней письменности. Вып. 92. СПб., 1892. С. 16.
8. Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв. М., 1976. С. 24.
9. *Рыбаков Б. А.* Русская эпиграфика X—XIV вв. (Состояние, возможности, задачи) // История, фольклор, искусство славянских народов. М., 1963.
10. *Срезаневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1912.
11. *Рыбаков Б. А.* Раскопки в Любече в 1957 г. // Кратк. сообщ. Ин-та истории материальной культуры АН СССР. Вып. 79. М., 1960.
12. Полное собрание русских летописей. 2-е изд., Т. 2. СПб., 1908.
13. Полное собрание русских летописей. Т. 25. М., 1949. С. 65.
14. Полное собрание русских летописей. Т. 7. СПб., 1856. С. 69.
15. *Рыбаков Б. А.* Любеч — феодальный двор Мономаха и Ольговичей // Кратк. сообщ. Ин-та истории материальной культуры АН СССР. Вып. 99. М., 1964.
16. *Рыбаков Б. А.* Любеч и Витичев — ворота «Внутренней Руси» // Тез. докл. советской делегации на I Международном конгрессе славянской археологии в Варшаве (сентябрь, 1965). М., 1965. С. 36—38.
17. *Медынцева А. А.* Грамотность женщин на Руси XI—XIII вв. по данным эпиграфики // «Слово о полку Игореве» и его время. М., 1985.
18. *Медынцева А. А.* Древнерусские надписи из церкви Федора Стратилата в Новгороде // Славяне в Русь. М., 1968.
19. *Лифшиц Л. И.* Монументальная живопись Новгорода XIV—XV веков. М., 1987. С. 28.
20. *Арциховский А. В., Янин В. Л.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962—1976 гг.). М., 1978. М. 93—94.
21. *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М., 1986. С. 99.
22. *Карский Е. Ф.* Славянская кривилловская палеография. Л., 1928. С. 197.
23. *Арциховский А. В.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.) М. 1954. С. 21, примеч. 1.
24. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 14. М., 1988. С. 94.
25. Опись Новгорода 1617 года. М., 1984. С. 74—75.
26. *Арциховский А. В., Борковский В. И.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963. С. 105—107.
27. *Янин В. Л.* Новгородская феодальная вотчина. Гл. 1. М., 1981.

© 1992 г. ХАЙНАЛ И.

**РОЛЬ ДАННЫХ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА ДРЕВНЕЙШЕГО ПЕРИОДА
В РЕКОНСТРУКЦИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ**

Посвящается памяти Э. Риша (1911—1988)

1. Общий вид индоевропейской системы смычных, похоже, претерпел кардинальные изменения второй раз за историю нашей науки. После появления «Очерка сравнительной грамматики индоевропейских языков» К. Бругмана [1] для праязыка реконструировали четырехфонемный ряд согласных, состоящий из глухих непридыхательных, глухих придыхательных, звонких непридыхательных и звонких придыхательных смычных. Таким образом, дентальные были представлены четырехчленной корреляцией $*t - *t^h - *d - *d^h$; аналогичные ряды существовали для лабиальных и гуттуральных (впрочем, сегодня их лучше было бы назвать пектальными). Такая праязыковая фонологическая система в точности соответствовала древнеиндоарийской.

Первый пересмотр этой системы произошел уже в прошлом столетии в связи с наблюдением Ф. де Соссюра [2], согласно которому ведийские глухие придыхательные $/t^h/$ и т. д. восходят к праиндоевропейским цепочкам фонем типа $*t, h_2 - V$ (или, в нотации Ф. де Соссюра, $*t + \emptyset$). Ср. в этой связи возведение вед. $pt̥hū-$ и $*tist̥ha-ti$ к и.-е. $*pt̥h_2u-$ и $*sti-st̥h_2e-ti$ соответственно.

Поскольку во многих случаях таким образом удается объяснить глухие придыхательные в отдельных языках, возводя их к праязыковым двухфонемным последовательностям, предложенная ранее для праязыка система смычных, состоящая из четырех рядов, была сокращена на один ряд — глухих придыхательных. Так возникла классическая триада $*T/ - *D/ - *D^H$, принимаемая и сегодня большинством индоевропейцев.

Однако эта модель была сильно поколеблена почти двадцать лет назад. В 1972 г. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов [3], а вскоре за ними (в 1973 г.) П. Хоппер [4] выступили с революционизирующим предложением заменить традиционную триаду индоевропейского праязыка $*T/ - *D/ - *D^H$ на систему из глоттализированных, глухих и звонких фонем. Предполагалось также, что у глухих и звонких фонем были аспирированные варианты. В соответствии с используемой здесь нотацией новая реконструкция выглядит следующим образом: $*T^h/ - *(D^h)/ - *(T^H)/$.

Эта теория, получившая название «глоттальной», за последние 20 лет была признана одними исследователями и отвергнута другими; были предложены также некоторые коррективы². Основное ее содержание — пре-

¹ Заглавные буквы, как в случае с $*T/ - *D/ - *D^H$, обозначают все возможные способы образования. Другими словами, $*T/$ обозначает не только $*t/$ но также $*p$ и $*k$. $*D$ — не только $*d/$ но также $*b$ и $*g/$. $*D^H$ — не только $*d^h/$, но также $*b^h$ и $*g^h/$.

² Литературу см. в [5]. Сопоставление различных вариантов глоттальной теории сделано в [6]. Что касается литературы, не упоминаемой в [5], заслуживает внимания обширный обзор в [7], а также критическая оценка этой работы в [8]; см. также [9].

де всего в «классической» формулировке Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, на которую мы в дальнейшем будем постоянно опираться, — достаточно полно изложено при доброжелательном обсуждении этой теории в [5]³.

Настоящее исследование не содержит никаких новых доводов общего характера, подтверждающих глоттальную теорию или опровергающих ее. К тому же такого рода задача представляется довольно бессмысленной, поскольку, учитывая все выдвигавшиеся до настоящего времени аргументы, трудно привести какие-либо соображения решающего характера. Скорее можно говорить о существовании у большинства индоевропейцев тенденции принимать глоттальную теорию исходя из ее весьма правдоподобного характера, но в ограниченной форме, предполагая существование глоттальной системы не в собственно индоевропейском языке, а на более ранней стадии развития языка⁴. Такая компромиссная позиция может оказаться приемлемой как для противников глоттальной теории, так и для ее сторонников, тем более что она, вероятно, соответствует и историческим данным. Существует, однако, опасность, что преждевременно достигнутое единство не будет способствовать приложению новых усилий для выявления новых критериев.

2. В настоящем сообщении речь как раз и пойдет о поиске новых критериев такого рода для ответа на вопросы об и.-е. глоттальных фонемах.

В том, что на данной стадии дискуссии о глоттальной теории предпочтительны не типологические соображения общего характера, а данные отдельных языков, меня убедил мой покойный учитель Э. Риш. В целом он был сторонником глоттальной теории и в устных обсуждениях выражал желание осуществить исследование такого рода, чего ему самому, к сожалению, сделать не удалось.

Одним из главных отправных пунктов для глоттальной теории послужил, как известно, тот факт, что межъязыковые соответствия, на основании которых можно было бы реконструировать фонему */b/, крайне малочисленны или же отсутствуют вовсе. Такая фонологическая лакуна трудно объяснима в рамках традиционно реконструируемой для праиндоевропейской системы /T/ — /D/ — (—/D^h/), поскольку, согласно типологическим исследованиям, лабиальная фонема /b/ является наименее маркированным членом ряда звонких смычных /D/; в связи с этим /b/ имеет высокую функциональную нагрузку и часто встречается в составе корней, суффиксов и морфем. Лакуну в группе лабиальных смычных скорее способен образовывать ряд глухих /T/: фонема /p/ является наиболее маркированной и в связи с этим редкой⁵. Применительно к реконструкции и.-е. языка это означает, что язык не мог иметь противопоставления /T/ — /D/, а ряд */D/, традиционно интерпретируемый как ряд звонких, в действительности должен был содержать глухие смычные — таким образом мы подходим к реконструкции глоттального ряда */T'/. Применительно к материалу отдельных языков это означает, что зафиксированные в них звонкие смычные или, соответственно, их рефлексы в отдельных языках следует возводить к глоттальным прафонемам.

Именно такой способ аргументации сторонников глоттальной теории наталкивается в настоящее время на серьезные возражения. Чаще всего оппоненты приводят новые межъязыковые соответствия, позволяющие реконструировать для языка большее количество корней с */b/⁶. Однако при такого рода критике до сих пор игнорировалось то, что из постулата

³ Тот же автор обнаруживает явную симпатию к глоттальной теории уже в [10]

⁴ Из последних работ см. [11].

⁵ Относительно связи между маркированностью, функциональной нагрузкой и частотностью фонемы см. особенно подробно [12].

⁶ Из последних работ см. [13].

об отсутствии (или редкости) */b/ в праязыке выводится еще одно следствие: в отдельных языках на самых ранних стадиях развития фонема */b/ должна отсутствовать или, по крайней мере, быть редкой. Итак, чтобы подтвердить или опровергнуть постулируемое глоттальной теорией существование фонологической лакуны, следует выяснить, как обстоит дело в конкретных языках с фонемой /b/ в целом — т. е. не только в исконных, но также и в заимствованных и иностранных словах.

Разумеется, на практике такой замысел едва ли можно осуществить. В большинстве и.-е. языков к моменту их первой фиксации */b/ уже успешно прочно укоренился в фонологической системе. То обстоятельство, что при этом, как правило, может быть доказано вторичное происхождение этой фонемы (важным источником /b/ является, например, и.-е. */b^h/ — для балто-славянского и армянского), означает, что свидетельства этих языков являются для нас не слишком ценными при решении указанного вопроса.

Тем не менее, сохранился и.-е. диалект, данные которого, благодаря благоприятным обстоятельствам, могли бы послужить для нас важным подспорьем при решении названной проблемы. Речь идет о древнегреческом, который после дешифровки микенского линейного письма В оказался — вместе с хеттским и двумя малыми анатолийскими языками (палайским и иероглифическим лувийским) — в числе наиболее древних засвидетельствованных и.-е. языков. Особенно важно то, что микенские тексты XIV и XII вв. до н. э. представляют стадию развития, на которой древнегреческий еще сохранял унаследованные от праязыка лабиовелярные, отражаемые на письме знаками q-серии⁷. Это означает, что в указанный период еще не задействован важный источник греческого /b/; поскольку в дальнейшем на протяжении всей истории развития греческого языка рефлекс и.-е. */b^h/ никогда не смешивались с /b/, мы можем исходить из предположения о том, что каждое микенское /b/ всегда отражает «настоящее» (echtes), т. е. либо восходящее к праязыку, либо заимствованное /b/⁸. Итак, ниже будет исследоваться микенский материал, в котором засвидетельствовано /b/.

3. Прежде всего следует отметить, что, по данным послемикенского греческого, анлаутное и инлаутное /b/ исключительно редко встречается в микенских текстах. Тем не менее несколько примеров греческих параллелей классического периода с (-)b- представляются достоверными. Ср.: *da-pu₂-ri-to-fo* KN Gg 702.2: в KN Gg 702 в строке 1 описывается посвящение меда (*me-ri / meli/*) «всем богам» *pa-si-te-o-i* дат. мн. / *Pap-sit^heo^hi* /. Есть основания интерпретировать *da-pu₂-ri-to-fo po-ti-ni-ja* в строке 2 также как религиозный титул и переводить его как «госпожа лабиринта». При сопоставлении с послемикенским λαβύρινθος проблемы возникают не столько в связи с различиями в анлауте, которые могут быть связаны с довольно частой меной *d/l* в словах малоазиатского происхож-

⁷ В послемикенский период и.-е. лабиовелярные */k^w/, */g^w/, и */g^wh/, как известно, переходят в лабиальные или, перед закрытыми гласными, в палатальные, а затем в дентальные. Таким образом, в значительной части древнегреческих примеров /b/ восходит к */g^w/: ср., например, др.-греч. βούς, микен. *qo-u-ko-ro / g^woukoloi / < и.-е. *g^wōis* (в целом эта проблема рассматривается в [14, с. 431]).

⁸ Не является препятствием и то обстоятельство, что микенский силлабарий не проводит различия между глухими и звонкими для лабиальных и велярных (в отличие от дентальных), т. е. /p/ и /b/, согласно общепринятой точке зрения, передаются одинаково — с помощью знака для *p*. Во-первых, обсуждаемые в настоящей статье слова, как правило, имеют параллели в древнегреческом классического периода, что позволяет однозначно установить фонетическое значение соответствующих знаков. Во вторых, в ходе исследования будет показано, что микен. /b/ отражается на письме иначе, чем это можно было бы ожидать.

Дения⁹, сколько с использованием в микенском написании знака *29 <pu₂>. Как показывает М. Лежен [18, с. 349 и сл.], этот знак, являясь дублетом знака *50 /ru, r^hu /, передает только придыхательный /r^hu/ (ср., например, pu₂-te-re KN V 159.4, PY Na 520. В /r^hutères/) ¹⁰. Итак, тигул da-pu₂-ri-to-jo po-ti-ni-ja в фонетической транскрипции выглядит как /Dar^hurint^hojjo Potnijä/.

to-ri-wo-do KN Og 1527.1.2. 3[4]: Сопоставление с μόλιδος «свинцу» представляется в настоящее время бесспорным. Таким образом, to-ri-wo-do следует читать как /molíwdos/ ¹¹.

ka-ka-po PY Jn 320.3: ka-ka-po в данном случае является собственным именем кузнеца (ka-ke-u /k^halkeus/). Общепринятая интерпретация — /Kakkabos/, в соответствии с послемикенским κάκχαβος, κάκχάβη («особого рода» сосуд) или κάκχάβη «серая куропатка» ¹².

pa-ra-ro KN Vc 206, Xd 207 +, PY Cn 643.1 —: для собственного имени pa-ra-ro предлагается интерпретация /Barbaros/ ¹³. В сущности никаких доводов против существования такого антропонима привести нельзя: контакты с негреческими народами оставили следы в микенском греческом в виде многочисленных заимствованных и иностранных слов различного происхождения ¹⁴, а иногда находят отражение и в антропонимике (ср., например, a₃-ku-pi-ti-jo KN Db 1105.В /Aiguptijos/).

*pa-ra-ku PY Ta 642.1 +: обозначение материала *pa-ra-ku ¹⁵ представлено формой INSTR. ПАД. ед. ч. pa-ra-ku-we PY Ta 715.3, 714.1.3 /-uwē или pa-ra-ke-we PY Ta 642.1 (очевидно, это вариант с суф. -u- в полной степени на /-ew-e/) при описании предметов мебелировки рядом с причастием a-ja-me-no, -na /ajaimenos/. Как указывал А. Хойбек [22], форма a-ja-me-no используется при описании (фигурных) инкрустационных работ, так что дополнение в инструментальном падеже в фрагменте PY Ta всюду используется для обозначения материала, как в случае ku-ru-so/k^hrusō/ («инкрустировано) золотом», e-re-pa-te /elep^hantē/ («инкрустировано) слоновой костью» и т. д. То же самое можно, следовательно, предположить и в отношении *pa-ra-ku.

При идентификации слова *pa-ra-ku может помочь то обстоятельство, что от него образовано прилагательное pa-ra-ku-ja, которое в KN Ld

⁹ См в связи с этим [15], где приводится пример соответствия лик. *dapara* ~ греч. *Λαπαράς*.

Наиболее убедительными представляются соображения, высказанные М. Леженом [16], считавшим, что язык, для которого создавалось линейное письмо (т. е. язык линейного письма А?), имел фонему /l/, близкую в произношении к греч. /d/. При адаптации линейного письма греки превратили исходный l-ряд в d-ряд, но для того, чтобы разграничивать глухие и звонкие по крайней мере среди дентальных, они при этом лишили себя возможности различать на письме плавные /r/ и /l/.

К постановке этой проблемы в целом ср. также [17], где представлена несколько иная точка зрения.

¹⁰ К этому следует добавить, что написание с использованием знака <pu₂> подтверждается KN Oa 745.2 da-pu₂ - ri [-to-jo] po-ti-ni-ja. Кроме того, в da-pu-ri-to [KN Xd 140 1, очевидно, отражен вариант с простым <pu>. Использование более частого знака вместо специального дублета не является, однако, чем-то необычным.

¹¹ Так [19, с. 562]; более позднюю литературу см. в [20, с. 457 и сл.].

¹² См опять же [20, с. 306].

¹³ См [19, с. 568]. Не исключено, правда, что позднему *βάρβαρος* на самом деле соответствует микен. *qa-qa-ro* KN As 604.3, так как /b/ может восходить и к лабиовелярному, т. е. в греческом это слово должно было звучать как /g^warg^waros/. В таком случае *pa-ra-ro* следовало бы интерпретировать иначе.

¹⁴ Сейчас уже существует словарь заимствованной лексики в микенских текстах [24].

¹⁵ Нотация «*pa-ra-ku» указывает на незасвидетельствованность номинатива. Правда, слово *pa-ra-ku* зафиксировано в PY Cn 201.1, где речь должна идти об имени собственном. Вопрос о его идентичности с обсуждавшимся выше апеллятивом остается открытым. Кроме того, на обломке таблички KN Xf 5102 зафиксирована последовательность слогов *pa-ra ku*.

575.b описывает окраску текстильных изделий (*pa-we-a* им. пад. мн. ч. /p^harwe^ha). Дж. Л. Мелена [23] убедительно показывает, что *pa-ra-ku-ja* следует переводить как «сине-серый» (позднее *γλαυκός*), указывая при этом на то, что, с одной стороны, частыми являются графические изображения сине-серых предметов одежды микенского периода, а с другой стороны, именно в отношении этого цвета до сих пор было неизвестно, как он обозначался в микенских текстах. Глосса Гесихия *βαρακίς·γλαυκίνον·ἱμάτιον* подтверждает соображения Мелены. Таким образом, анлаут слова **pa-ra-ku*, обозначающего сине-серое вещество, передается позднее в виде /b(arak)-/.

su-ki-ri-ta KN Da 1163 [B] + : Топоним *su-ki-ri-ta* неоднократно засвидетельствован на кносских табличках серии D (в частности, один раз в инструменталисе-аблативе *su-ki-ri-ta-pi* KN DI 47.2)¹⁶. К этому следует добавить этноним *su-ki-ri-ta-jo* KN C 911.3; *su-ki-ri-ta* обычно сопоставляется с поздним *Σόβριτα*¹⁷. С точки зрения критско-кносской географии это предположение вполне достоверно, поскольку по комбинаторным соображениям *su-ki-ri-ta* следует поместить рядом с *pa-i-to* /p^haistos/¹⁸; известные из истории местности *Φαίστος* и *Σόβριτα* действительно расположены недалеко друг от друга.

4. По поводу перечисленных в п. 3 слов, соответствия которым в послемикенском греческом свидетельствуют о наличии /b/, создается следующее впечатление:

/b/ может — как и ожидается — передаваться знаком *p*-серии; это относится к написаниям **pa-ra-ku* /baraku-/, *ka-ka-po* /Kakkabos/ и *pa-pa-ro* /Barbaros/. Однако относительно двух последних антропонимов следует оговорить, что их интерпретация не вполне надежна.

В то же время в связи с вопросом об отражении /b/ микенскими писцами возникает ряд очевидных проблем: в **da-pu₂-ri-to* послемикенское /b/ записывается знаком для придыхательного /p^h(u)/, в *mo-ri-wo-do* послемикенское сочетание /-bd-/ представлено как /-wd-/, наконец, в *su-ki-ru-ta* послемикенскому /-br-/ очевидно, соответствует /-kr-/.

Засвидетельствованные в этих трех словах исключения из правила, согласно которому /b/ должно отражаться знаком *p*-серии, допускают различные объяснения.

В связи с придыхательным в *da-pu₂-ri-to* обычно указывают на негреческий характер этого слова, который и обуславливает фонетические колебания¹⁹. Однако параллели к аналогичному чередованию звонких и придыхательных отсутствуют²⁰.

Транслитерация /moliwdos/ для <mo-ri-wo-do> была отклонена в [27] по графическим соображениям; вместо нее предлагается /moliwodos/. Однако в микенском аналогичным образом сочетания */-wr-/ и /-wj-/ передаются на письме как <wV₁-rV₁> и <wV₁-jV₁> соответственно (ср. *ra-wa-ra-ta* /Lawratās/, *di-wi-jo* /Diwjon/). Итак, я не вижу необходимости отказываться от прочтения <wo-do> как /-wdo-/. Кроме того, предлагаемая в [27] транслитерация †/moliwodos/ обладает еще одним существенным недостатком: в послемикенских формах *μόλιβδος* и *μόλιβδος* (и, косвенно, также в *μόλιβος*) довольно произвольным образом приходится предполагать син-

¹⁶ Помимо серии D к этому следует добавить еще один пример, засвидетельствованный на обломке KN X 7562.b Неясно, связано ли имя собственное *su-ki-ri-to* KN As 1516.12 с этим топонимом.

¹⁷ Форма *Σόβριτα* появляется у Полибия и в надписях из самой Сивриты, о существовании варианта **Σίβριτα* свидетельствует форма *Σίβριτός* на монетах

¹⁸ Это предположение основано прежде всего на KN Dn 1092, где рядом с *su-ki-ri-ta* упоминается также местность *e-ko-so*, *e-ko-so*, в свою очередь, относится к группе топонимов области *pa-i-to* (ср. об этом [24, особенно с. 98 и сл.]).

¹⁹ Из последних работ см. [25].

²⁰ Приведенный в [26, с. 167 и сл.] материал не кажется убедительным.

копу †*moliwodo* в *moliw/bdo*. Иначе считает П. Шантрэн [28; 29, с. 740], усматривающий в написании <*moliwdos*> попытку передать спирантное /β/; однако это допущение носит характер *ad hoc*²¹.

Наконец, хотя в отношении *su-ki-ri-ta* можно утверждать, что интерпретация микенских топонимов только на основании засвидетельствованных позднее имен и с опорой на сомнительное фонетическое сходство часто является обманчивой, сопоставление *su-ki-ri-ta* с Σύριτα признается тем не менее даже таким критически настроенным ученым, как Л. Р. Палмер [30].

Итак, вряд ли можно объяснять все несообразности, связанные списанием /b/ так же, как обсуждавшиеся выше отдельные случаи. Из приведенного выше материала совершенно очевидно, что говорившим по-гречески писцам, пользовавшимся линейным письмом В, как правило, нелегко давалось обозначение /b/. К тому же в упоминавшихся в п. 3 словах, содержащих /b/, мы имеем дело не с исконной, а с заимствованной или иностранной лексикой или с именами из других языков.

5. При попытке объяснить столь необычное поведение микенских писцов могут оказаться полезными новые результаты, полученные Дж. Л. Меленой при интерпретации оставшихся до сих пор не вполне ясными знаков *56 и *22. Ниже будут сформулированы важнейшие выводы работы [23]²².

Для знака *56 обосновывается прочтение *pa*₂. Это следует прежде всего из KN Ld 587.2, где текстильные товары (*TELA*^x) обозначаются словом *56-*ra-ku-ja*. Существуют основания отождествлять *56-*ra-ku-ja* с обсуждавшимся выше прилагательным, обозначающим цвет — *pa-ra-ku-ja* из KN Ld 575, причем аналогичное чередование *pa* и *56 засвидетельствовано в имени собственном *ka-ra-pa-so* PY Jn 389.5 / *ka-ra- *56-so* PY Eп 659 [19], Eo 269 lat. sup. Согласно п. 3, *pa*/**56* в *pa*/**56-ra-ku-ja* обозначает послемикенское /b/. При этом *56 сближается с *pu*₂, которое, с одной стороны, передает в *da-pu₂-ri-to* = Δαβύριονδος звонкий смычный /b/ классического греческого, а с другой стороны, способно чередоваться с обычным *pu*.

Как свидетельствуют дублетные написания *tu-^{*}56-da-ro* KN Dv 1370.b / *tu-ma-da-ro* KN Db 1368.b или *a-56-no* KN As 1520.13, Dv 5232. В *a-ma-no* KN As 1520. v. 2, *56 передает, кроме того, звук, который мог быть также записан с помощью знака для *m*. Поскольку аналогичное чередование зафиксировано для пары *ta-^{*}22-de-so* TH Z 871, [872], 876 vs. *ta-mi-de-so* KN Dl 944.B, можно построить ряд *pu*₂ — *56 — *22 — соответственно *pu*₂ — *pa*₂ — *pi*₂.

Однако фонетическая интерпретация серии *pu*₂ — *pa*₂ — *pi*₂ сопряжена с более серьезными проблемами. По аналогии с надежным сопоставлением *pu*₂ с /r^hu/ напрашивается интерпретация /r^hu/ — /r^ha/ — /r^hi/, что, однако, не объясняет чередования с *m*-знаками.

В связи с этим наиболее правдоподобным представляется предположение о том, что знаками *pu*₂, *pa*₂ и *pi*₂ передается какая-то негреческая фонема. Об этом свидетельствует, во-первых, то, что по крайней мере *pa*₂

²¹ Если допустить фонетическую интерпретацию /moliβdos/, осталось бы неясным, почему спирант не обозначался в послемикенский период: во всяком случае, классическое написание μολύβδος в первую очередь указывает на /b/(<β>) могло появиться лишь в диалектных надписях после частично засвидетельствованной в диалектах спирантизации звонких вместо /β/.

²² Остается добавить, что и более ранние попытки определить фонетическое значение упомянутых знаков часто вели в нужном направлении. Так, в работе [31] предлагается идентифицировать знак *56 как фонему *p*-серии *pa*₂.

Из последних работ упомянем [32], где *22 предлагается интерпретировать как /mi/; автор основывается на том факте, что знак *22 идентичен идеограмме 107 *CA P* «коза», причем используется акрофонический принцип, поскольку глосса Гесхкия, в свою очередь, фиксирует начинающееся на /mi-/ слово со значением «коза». Тем не менее отождествление знака *22 с /mi/ представляется справедливым лишь отчасти.

и pi_2 появляются почти исключительно в терминах и именах, явно заимствованных из другого языка, и, во-вторых, обозначаемые pa_2 и pi_2 или, соответственно, чередующимися с ними сочетаниями ta и ti могут вовсе не передаваться на письме: ср., например, наряду с $tu-pa_2-da-ro \sim tu-ma-da-ro$ также $tu-da-ra$ KN Do 924.B, наряду с $ta-pi_2-de-so \sim ta-mi-de-so$ — также $ta-de-so$ KN Az 604.2, De 1409.B+.

Мелена [23, с. 228 сл.] предполагает, что этой заимствованной фонемой было $/m^b/$ ²³, что подтверждается материалом послемикенского греческого: так, обозначение сосуда $ku-ru-sa-pa_2$ KN K 740.4 оказывается в одном ряду с образованиями на- $\mu\beta\sigma$ типа $\chi\omega\beta\epsilon\rho\acute{\nu}\alpha\nu$ «ваза»; устанавливается также связь с чередованием μ/β в различных словах средиземноморского происхождения, таких, как $\chi\omega\beta\epsilon\rho\acute{\nu}\alpha\nu$ / (кипр ск.) $ku-me-re-na-i$ ICS 264.4 / $kumegēnai$ /²⁴ или (в соответствии с предположением Мелены [23, с. 225], представляющимся убедительным как по семантическим, так и по фонетическим соображениям) $\sigma\acute{\iota}\alpha\rho\alpha\upsilon\delta\omicron\varsigma$ «голубая бирюза»²⁵ / $\beta\alpha\rho\alpha\kappa\iota\varsigma$ (= * $pa-ga-ku$; см. выше)²⁶.

Предположение о сложном характере фонемы $/m^b/$ позволяет также объяснить различные способы ее записи: следует исходить из того, что греки по-разному могли интегрировать заимствованную фонему в свою фONOлогическую систему²⁷. В частности, отчетливее мог слышаться либо лабиальный, либо носовой компонент: первый вариант произношения $/(^{(m)})^b/$ объясняет написания с использованием знаков ряда pV_2 или обычного знака для p . типа $\langle pa_2/pa-ga-ku-ja \rangle$, $\langle tu-*56-da-ro \rangle$ / $Tu^{(m)}hdaros$ / (соответствуют поздним написаниям с $\langle \beta \rangle$); второй вариант $/m^{(b)}/$ — написания с использованием m -знаков, типа $\langle ta-mi-de-so \rangle$ (наряду с $\langle ta-pi_2-de-so \rangle$), $tu-ma-da-ro$ / $Tum^{(b)}daros$ / с ($\approx T\acute{u}\nu\delta\alpha\rho\omicron\varsigma$) — им соответствуют послемикенские написания с $\langle \mu \rangle$ $\langle \nu \rangle$, причем в микенском назальность в позиции перед согласным (т. е. в сочетании $/m^{(b)c}/$) могла и не обозначаться на письме (ср. $\langle ta-de-so \rangle$ или $\langle tu-da-ra \rangle$ / $Tum^{(b)}darās$ /)²⁸.

Наконец, в связи с послемикенскимписанием $\langle \mu\beta \rangle$ возникает вопрос: не скрывалось ли, кроме того, за микенскими написаниями с pu_2 , pa_2 и pi_2 и сочетание $/mb/$ — в этом случае заимствованная фонема $/m^b/$ расщеплялась на двухфонемное сочетание $/m + b/$ (причем в соответствии с правилами микенской орфографии необозначенным остается гетеросиллабический предконсонантный носовой).

6. Собранные в предыдущем разделе данные носят на первый взгляд противоречивый характер. Согласно этим данным, знаки pu_2 — pa_2 — pi_2 появлялись в тех случаях, когда в послемикенском греческом были зафиксированы либо $/p^h\mu/$ — $/p^h\alpha/$ — $/p^h\iota/$, либо $/\beta\mu/$ — $/\beta\alpha/$ — $/\beta\iota/$, либо, наконец, $/mb\mu/$ — $/mb\alpha/$ — $/mb\iota/$.

С помощью простой гипотезы можно достигнуть определенного едино-

²³ Помимо африканских языков такая фонема $/m^b/$, вероятно, существует также в баскском (см. [33]).

²⁴ Литературу относительно сопоставления $\chi\omega\beta\epsilon\rho\acute{\nu}\alpha\nu = ku-me-re-na-i$, см. в [34].

²⁵ Анлаутное $/s-/$ в $\sigma\acute{\iota}\alpha\rho\alpha\upsilon\delta\omicron\varsigma$ — древнем бродячем слове (Wanderwort) — судя по др.-инд $ta\acute{r}akata\acute{t}$ и аккад. $barragtu$, появилось лишь в греческом (см. [29, с. 1026]).

²⁶ В связи с чередованием m/b см. материал, приведенный в [26, с. 23 и сл.]. Кроме того, интересный пример относящийся к микенскому периоду, указан в работе [35, с. 120 и сл.]: слоговой знак MU , зафиксированный в KN Fn 347.1, 371 вслед за OLE «масло», в идеограмматическом употреблении должен обозначать сосуд, рассматриваемый как стандартная мера массы; Мелена [35, с. 122], основываясь на более позднем чередовании β/μ и, соответственно, микен. дублетных написаниях $pa_2 \approx ta$, $pi_2 \approx ti$ (я, соответственно, также $pu_2 \approx tu$?), предлагает прочтение $*/murs\alpha/$, которое можно было бы сопоставить с более поздним $\beta\rho\alpha\alpha$ «кожаный мех для вина».

²⁷ Различные возможности усвоения заимствованной фонемы описываются в общем виде У. Вайнрайхом [36].

²⁸ В связи с регулярным в целом ненаписанием гетеросиллабического носового перед согласным в микенском ср., например, $\langle ku-su-pa-ta \rangle$ KN Db 699.a / $ksumpanta/$.

образия по крайней мере в том, что касается признака звонкости. Как известно, согласно традиционной реконструкции, греческие глухие придыхательные восходят к более древним звонким придыхательным. М. Лежен [37] показал, что к тому времени, когда начался процесс адаптации линейного письма А к микенскому греческому²⁹, его фонетическая система еще носила более древний характер, чем в тот период, к которому относятся дошедшие до нас тексты. Таким образом, естественно было бы предположить, что знаки pu_2 , pa_2 и pi_2 были усвоены силлабарием линейного письма В для обозначения звука, восходящего к звонкому придыхательному $*/b^h/$ — очевидно, до общегреческого перехода $*/b^h/ > /p^h/$ ³⁰.

Итак, знаки группы $pu_2 - pa_2 - pi_2$ первоначально должны были обозначать звонкий согласный. При этом выбирать следует между $/bV/$ и $/b^hV/$, оставляя $/mb/$ вне поля зрения. Во-первых, а priori совершенно неверно, чтобы изобретатели линейного письма В с самого начала включили в силлабарий знаки $pu_2 - pa_2 - pi_2$ для обозначения заимствованной фонемы $/m^b/$ ³¹, и, во-вторых, непонятным было бы использование этого знака для обозначения придыхательного губного.

Как обстоит дело с предположением о том, что первоначально p_2 -знаки были введены для обозначения $/b/?$ Если это соответствует действительности, то, во-первых, остается непонятным, почему этот p_2 -ряд (или, соответственно, b -ряд) не использовался последовательным образом по аналогии с d -рядом, созданным на основе l -ряда (см. примеч. 9). Кроме того, по-прежнему остается нерешенной проблема происхождения $/p^hV/$; даже если оно восходит к тому времени, когда $*/b^hV/$ еще не оглушилось в $/p^hV/$, т. е. оставалось звонким, следует напомнить, что в микенском $\langle dV \rangle$ никогда не обозначалось аналогичным образом как $/t^h/ < */d^hV/$ ³². Во всяком случае, этому аргументу не следует придавать слишком большого значения, поскольку описанные выше факты допускают и хронологическое объяснение (см. ниже, п. 8).

Таким образом, остается принять предположение, что p_2 -ряд первоначально был введен для обозначения придыхательных $*/b^hV/$ — на это нечего возразить. До того, как произошло изменение $*/b^h/ > /p^h/$, знаки ряда p_2 могли обозначать и непридыхательный звонкий смычный $/b/$; после оглушения это, напротив, стало невозможным. Надписи, содержащие p_2 -знак в тех случаях, когда ему соответствует $/b/$, следует, таким образом, признавать архаичными.

7. Этот экскурс в предысторию микенского силлабария позволяет поставить вопрос: почему микенские писцы не использовали возможность обозначения звонкого смычного $/b/$ с помощью освободившихся после оглушения $*/b^h/ > /p^h/$ знаков ряда p_2 ?

В связи с этим следует еще раз напомнить о сформулированных в п. 4 выводах, согласно которым представление на письме звука $/b/$ не всегда было легкой задачей для микенских писцов. На это можно было бы возра-

²⁹ Тот факт, что линейное В представляет собой продолжение линейного А, является сегодня общепризнанным, тем более что с появлением новых данных в последние годы количество различий между этими письменностями существенно уменьшилось (из последних работ ср. в связи с этим [38]).

³⁰ Относительно этого допущения см. [39, 23].

³¹ Вообще маловероятно, что эта заимствованная фонема существовала в языке линейного письма А, поскольку в текстах, записанных линейным А, так же, как и в случае с микен. *su-ki-ri-ta* ~ Σουκιριτα, засвидетельствовано написание с использованием знака для *k*: *su-ki-ri-ta* (или, соответственно, с другими суффиксами, *su-ki-ri-te-sa-ja* или *su-ki-ri-te-se-ja*).

³² Даже если бы сопоставление крит *ἄδρην Κρήτας το ἄρος* (Гесиод) с ионским топонимом **o-di-ri* (например, в инстр. пад. ед. ч. *o-di-ri-wo* KN С 902 б) и оказалось верным, то в этом случае придыхательный все равно должен был бы передаваться с помощью знака для *d*.

зять. Дело в том, что к такому умозаключению мы пришли отчасти на основе лексического материала, в котором, в соответствии со сказанным в п. 5, следует постулировать заимствованную фонему /m^b/. Действительно, в пользу предположения о /m^b/ в *mo-ri-wo-do* свидетельствует латинское соответствие *plumbum*³³, а в *su-ki-ri-ta* — вероятно, крит. Συκιρίτιε в подписи из Лапы.

Однако это возражение не представляется серьезным. Очевидно, грекам легче всего было представить заимствованную фонему /m^b/ как бифонемное сочетание /m/ + /b/ и записывать как /mb/, что и зафиксировано в послемикенских написаниях с <μβ> и, согласно данным п. 5, окказионально — в микенских написаниях с *pa*₂ и т. д.

В связи с этим важным представляется еще одно наблюдение. В микенском засвидетельствовано имя собственное *i-mi-ri-jo* KN Db 1186, которому в послемикенском греческом соответствует Ἰμῖριος. Входящая в его состав инлаутная группа /-mbr-/ возникла в результате вставки эпитетического /-b-/ из /-mr-/ , о чем, очевидно, еще свидетельствует микенская форма <i-mi-ri-jo> /Imrijos/³⁴. О том, что вставка /-b-/ произошла в послемикенский период, свидетельствуют также фессалийские реликтовые формы Φιλμροτοι (DGE 607), Κλεομροτος и Μροχο (соответственно, вместо ожидаемых βροτος и *Вроχю с /br-/ <*/mbr-/ <*/mr-/). Заслуживает, однако, внимания тот факт, что такого рода эпентеза вовсе не является исключительно послемикенским явлением. В отличие от случая с /b/, вставка /d/ в /-nr-/ засвидетельствована уже в микенском; ср., например, *a-re-ka-sa-da-ra(-ka)* MY V 659.2 /Aleksandrā/, инстр. пад. ед. ч. *a-di-ri-ja-te(-qe)* PY Ta 707.2 /andri jantē/ и другие примеры с /andr-/ <*/anr-/.

С моей точки зрения, это несоответствие можно объяснить лишь в том случае, если допустить, что в микенском отсутствовало сочетание /-mb-/. Это допущение хорошо согласуется с отмеченными выше трудностями при передаче заимствованной фонемы: /m^b/ не может восприниматься микенским как /mb/, поскольку в нем нет такого сочетания. Если сопоставить это утверждение с тем фактом, что линейное В, несмотря на существующие возможности, не имеет серии знаков для сочетания /bV/, которое — при необходимости — может передаваться знаком для сочетаний, восходящих к /b^hV/, то нам остается прийти к единственно возможному выводу: фонемы /b/ в микенском греческом еще не существовало (или, по крайней мере, [b] еще не имело фонемного статуса).

Это смелое утверждение становится несколько менее категоричным, если принять во внимание то обстоятельство, что линейное В не являлось непосредственным отражением микенского, но в значительной степени могло фиксировать и домикенское языковое состояние (ср. п. 6 и [37]). В этом отношении следовало бы несколько видоизменить предложенную формулировку, констатируя, что фонема /b/ еще отсутствует в домикенском греческом (и потому чрезвычайно редка в микенском греческом).

8. Таким образом, приведенные здесь рассуждения о древнейшей истории греческого языка предстают в новом ракурсе.

Согласно п. 6, в домикенский период, т. е. к моменту создания линейного письма В (около 1600 г. до н. э.?), губные придыхательные еще произносились звонко — */b^h/. Поскольку к этому времени греческий язык уже разделился по меньшей мере на две большие диалектные группы —

³³ Здесь следует, вероятно, предположить неиндоевропейское (иберийское?) бродячее слово (Wanderwort) *mlum^b-, по-разному (с точки зрения фонетики) усвоенное латинским и греческим (относительно перехода *ml- > лат. pl-, см. [40]).

³⁴ Сопоставление апеллатива *o-mi-ri-jo-i* KN Fh 358 (дат. пад. мн. ч.) с послемикенским Ἰμῖριος А. Хойбек [41] справедливо отвергает, так как в последнем случае /-b/ принадлежит корню и не является эпентетическим.

северногреческую и южногреческую (к которой следует относить и микенский), утрата звонкости */b^h/ должна была происходить независимо в отдельных диалектах. Таким образом, речь не может идти об общегреческом или раннегреческом явлении. Разумеется, оглушение */d^h/ и */g^h/ в /t^h/ и /k^h/ соответственно могло произойти еще до изменения */b^h/ > /p^h/ на той стадии, когда общегреческое единство еще не было нарушено. Это позволило бы объяснить, почему микенский использовал для /t^h/ < */d^h/ знаки глухого t-ряда, в то время как /p^h/ < */b^h/ записывалось с помощью первоначально звонкого p₂-ряда: к моменту адаптации силлабического письма к греческому языку /t^h/ (и /k^h/) уже сосуществовало с все еще звонким */b^h/. Следует, кроме того, предположить, что в связи с очевидным отсутствием звонкого смычного /b/; */b^h/ сохраняло звонкость и заполняло пробел в ряду, образуемом */d/ и */g/.

Все вышеизложенные соображения, разумеется, полностью согласуются с глоттальной теорией, которая, в соответствии с приведенными в п. 2 типологическими данными, как раз и постулирует отсутствие или невысокую встречаемость раннегреческого /b/. Тем не менее следует подчеркнуть, что эти рассуждения per se не могут служить доказательством глоттальной гипотезы, хотя и значительно повышают ее правдоподобность. Верификация аргументов Гамкрелидзе, Иванова и др. — это в первую очередь задача типологов. Тем не менее немаловажным итогом настоящего исследования является подтверждение того, что, если так называемый индоевропейский имел глоттальную систему смычных, то она должна была сохраняться еще в период позднего праязыкового единства. Тем самым следует отказаться от изложенного в п. 1 компромиссного решения, согласно которому глоттальный ряд существовал лишь на ранней, но не на поздней стадии развития индоевропейского праязыка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Brugmann K. Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen. Bd. 1: Einleitung und Lautlehre. Strassburg. 1886. S. 261.
2. Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de Saussure. Genève, 1922.
3. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смычных // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков: Предварительные материалы / Под ред. Бернштейна С. Б. и др. М., 1972.
4. Popper P. Glottalized and murmured occlusives in Indo-European // Glossa. 1973. V. 7.
5. Mayrhofer M. Indogermanische Grammatik. Bd 1. Halbband 2: Lautlehre (segmentale Phonologie des Indogermanischen). Heidelberg, 1986. S. 91.
6. Normier M. Idg. Konsonantismus, germ. «Lautverschiebung» und Vernersches Gesetz // KZ. 1977. Bd 91.
7. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. 1—2. Тбилиси, 1984.
8. Hayward K. M. // Lingua. 1989. V. 78. Rec.: Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. 1—2. Тбилиси, 1984.
9. The new sound of Indo-European // Ed. by Vennemann T. B.; N. Y., 1989.
10. Mayrhofer M. Sanskrit und die Sprachen Alteuropas. Göttingen. 1983. S. 143.
11. Rasmussen J. E. Tenues Aspiratae and Chronologie einer Glottalreihe // The new sound of Indo-European / Ed. by Vennemann T. B., N. Y., 1989. S. 165.
12. Gamkrelidze T. V. Language typology and language universals and their implication for the reconstruction of the Indo-European stop system // Bono Homini Donum. In memory of J. Alexander Kerns / Ed. by Arbeitman Y. L., Bomhard A. R. V. II. Amsterdam, 1984.
13. Meid W. Das Problem von Indogermanisch / b /. Innsbruck, 1989.
14. Lujane M. Phonétique historique du mycénien et du grec ancien. P., 1972.
15. Heubeck A. Lydiaka. Erlangen. 1959. S. 20.
16. Lejeune M. Mémoires de philologie mycénienne. Première série. P., 1958. P. 327.
17. Heubeck A. Überlegungen zur Sprache von Linear A // Res Mycenae: Akten des VII Mykenolog. Coll. in Nürnberg vom 6.— 10. April 1981 / Hrsq. von Heubeck A., Neumann G. Göttingen, 1983. S. 161.

18. *Lejeune M.* Mémoires de philologie mycénienne. I. Deuxième série (1958—1963). Roma, 1971.
19. *Ventris M., Chadwick J.* Documents in Mycenaean Greek. 2-nd ed. Cambridge, 1973.
20. *Jorro F. A.* Diccionario Micénico. V. 1. Madrid, 1985.
21. *Duhoux Y.* Les contacts entre mycéniens et barbares d'après le vocabulaire du linéaire B // *Minos*. 1988. V. 23.
22. *Heubeck A.* Mycenaean *qe-qi-no-me-no* // Proc. of the Cambridge Coll. on Mycenaean studies / Ed. by Palmer L. R., Chadwick J. Cambridge, 1966.
23. *Melena J. L.* On untransliterated syllabograms *56 and *22 // *Tractata Mycenaea: Proc. of the Eighth Int. Coll. on Mycenaean studies, held in Ohrid, 15—20 September 1985* / Ed. by Ilievski P. H., Crepajac L. Skopje, 1987. p. 224.
24. *Cremona M. V., Marcozzi D., Scafa E., Sinatra M.* La toponomastica cretese nei documenti in lineare B di Cnosso. Roma, 1978.
25. *Quattordio-Moreschini A.* Le formazioni nominali greche in *-nth-* // Roma, 1984. 60.
26. *Furnée J.* Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Frühgriechischen. The Hague; Paris, 1972.
27. *Viredaz R.* Grec **Molhwodos* «plomb» // BSLP. 1979. V. 74.
28. *Chantraine P.* Le témoignage du mycénien pour l'étymologie grecque // *Acta Mycenaica: Proc. of the Fifth Int. Coll. on Mycenaean studies held in Salamanca, 30 March — 3 April 1970* / Ed. by Ruipérez M. S. Salamanca, 1972. p. 206.
29. *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. P., 1968—1980.
30. *Palmer L. R.* Mycenaean inscribed vases. II: The mainland finds // *Kadmos*. 1972. V. 11. P. 19.
31. *Palmer L. R.* The interpretation of Mycenaean Greek texts. Oxford, 1963.
32. *Janda M.* Zur Lesung des Zeichens *22 // *Kadmos*. 1986. V. 25. 44.
33. *Martinet A.* Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique. 2. éd. Bern, 1964. p. 387.
34. *Szemerényi O.* Etyma Graeca V (30—32): *Vocabula maritima tria, o-o-pe-ro-st* // *Festschrift für E. Risch* / Ed. by Etter A. B., 1986. S. 438.
35. *Melena J. L.* Oil in the Mycenaean tablets // *Minos*. 1983. V. 18. p. 120.
36. *Weinreich U.* Languages in contact. 6-th ed. The Hague; Paris, 1968. p. 14.
37. *Lejeune M.* Pré-mycénien et proto-mycénien // BSLP. 1976. T. 71.
38. *Palaima Th. G.* The development of the Mycenaean writing system, texts, tablets and scribes // *Studies in Mycenaean epigraphy and economy offered to E. L. Bennett, Jr.* / Ed. by Olivier J.-P., Palaima Th. G., Salamanca, 1988.
39. *Melena J. L.* // *Minos*. 1974. V. 15. Rec.: *Ventris M., Chadwick J.* Documents in Mycenaean Greek. 2-nd ed. Cambridge, 1973.
40. *Leumann M.* Lateinische Laut- und Formenlehre. München, 1976. S. 190.
41. *Heubeck A.* Nochmals zu griech. *-μρ-* / *μβρ* // *Glossa*. 1970. V. 48. S. 69.

Перевел с немецкого Куликов Л. И.

© 1992 г. БОМХАРД А. Р.

ПРИДЫХАТЕЛЬНЫЕ СМЫЧНЫЕ В ПРАИНДОЕВРОПЕЙСКОМ

1. Введение

Согласно реконструкции праиндоевропейской фонологической системы, осуществленной младограмматиками, система смычных согласных характеризовалась в праиндоевропейском четырехсторонним контрастом между (1) чистыми (непридыхательными) глухими, (2) придыхательными глухими, (3) чистыми (непридыхательными) звонкими и (4) придыхательными звонкими согласными [1, с. 52], т. е.:

1	2	3	4	
<i>p</i>	<i>ph</i>	<i>b</i>	<i>bh</i>	(лабиальные)
<i>t</i>	<i>th</i>	<i>d</i>	<i>dh</i>	(дентальные)
<i>k̂</i>	<i>k̂h</i>	<i>ĝ</i>	<i>ĝh</i>	(палатальные)
<i>q</i>	<i>qh</i>	<i>g</i>	<i>gh</i>	(велярные)
<i>qʰ</i>	<i>qʰh</i>	<i>gʰ</i>	<i>gʰh</i>	(лабиовелярные)

В начале 1970-х годов советские ученые Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов одновременно с американским лингвистом (англичанином по происхождению) Р. Дж. Хоппером предложили новую интерпретацию согласных серии 3 (в классической системе — чистые звонкие) как глоттализированных (т. е. эйективных) **p'*, **t'*, **k'*, **k'w*. Данная теория, которая с тех пор приобрела немало сторонников, принимается и в настоящей работе. Поскольку я подробно касался этой новой концепции в других работах [2, с. 77—80; 3, с. 5—10, 26—31], то нет нужды излагать ее снова во всех подробностях. Однако в силу того, что теория эта имеет самое непосредственное отношение к предмету обсуждения в настоящем исследовании, сводка основных ее положений здесь необходима.

Традиционная реконструкция праиндоевропейской системы смычных наталкивается на ряд противоречий — среди них: (А) статистически низкая частотность — если не полное отсутствие — звонкого лабиального **b*, (В) отсутствие чистых звонких во флексиях и местоимениях и (С) запрет на сочетаемость двух чистых звонких в корне. Стремление устранить эти узкие места и привело Хоппера и Гамкрелидзе — Иванова к предположению о том, что согласные, реконструируемые в классической системе как чистые звонкие, в действительности могли быть глоттализированными. Опираясь на данные типологии, они указывают на тот факт, что согласные, традиционно моделируемые как чистые звонкие, обнаруживают многие свойства глоттализированных смычных. В частности: (А) в следующем ряду согласных, расположенных по частоте встречаемости

$$|b| \rightarrow |p| \rightarrow |p^h| \rightarrow |p'|$$

(стрелки обозначают направление возрастания степени маркированности), именно лабиальный эйективный *|p'|* всегда является наиболее маркированным, а значит, наименее обычным и наименее частотным членом иерархии — вплоть до полного отсутствия; (В) глоттализированные согласные крайне редки во флексиях и местоимениях; (С) в языках с эйек-

тивными согласными широко представлен запрет на сочетаемость двух эйективов в корне. Таким образом, реинтерпретация классических чистых звонких как глоттализованных позволяет решить указанные выше проблемы.

Одновременно с реинтерпретацией смычных, традиционно считавшихся чистыми звонкими, согласные, реконструировавшиеся в классической системе как звонкие придыхательные — **bh*, **dh*, **gh*, **g^wh*, — были реинтерпретированы в виде: (А) особого типа смычных с шепотной рекурсией (*murmured stops*) [4, с. 149—154], (В) чистых звонких, которые позднее изменились в звонкие придыхательные в ряде диалектов «распадающегося индоевропейского языка» [3, с. 31—34], (С) звонких придыхательных с фонологически irrelevantным признаком аспирированности [5, с. 154—155]. Иначе говоря, данные фонемы могли быть реализованы как придыхательными, так и непридыхательными аллофонами в зависимости от парадигматических чередований в корневой морфеме. По-новому были интерпретированы и смычные, традиционно считавшиеся чистыми глухими (**p*, **t*, **k^w*, **k*) — как (А) глухие придыхательные с фонологически irrelevantным признаком аспирированности ([5, с. 154; 6, с. 172]; см. также [7, с. 108—122]) и (В) чистые глухие с нефонематической аспирацией [4, с. 152; 3, с. 19—20].

Хотя все большее число индоевропейцев склоняется к признанию того, что смычные, традиционно считавшиеся чистыми звонкими, должны быть реинтерпретированы как глоттализованные в соответствии с концепцией Хопера и Гамкрелидзе — Иванова, все еще не удается прийти к согласию по вопросу о качестве согласных, восстанавливавшихся в классической системе как чистые глухие и звонкие придыхательные.

В настоящей работе мы обратимся сначала к вопросу о согласных серии 2 (в классической системе — глухие придыхательные), затем рассмотрим вопрос о согласных серии 1 (традиционно — чистые глухие) и, наконец, вопрос о согласных серии 4 (традиционно — звонкие придыхательные).

2. Согласные, реконструируемые в классической системе как глухие придыхательные

Глухие придыхательные смычные были впервые постулированы младшими грамматиками преимущественно на основании следующих соответствий в индоиранских, армянском и греческом языках:

Скр.	Авест.	Иран.	Арм.	Греч.
<i>ph</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>p'</i>	φ
<i>th</i>	θ	θ	<i>t'</i>	τ
<i>kh</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	χ

В остальных дочерних языках классические глухие придыхательные и чистые глухие совпали, за исключением изменения **kh* → *x* в славянском. В армянском одинаковые рефлексы дали дентальные глухие, придыхательные и чистые глухие смычные [кроме позиции после *r* (см. ниже)]; то же, по-видимому, справедливо и для греческого, по крайней мере, на поверхностном уровне (об этом, впрочем, см. ниже).

По мнению большинства современных индоевропейцев, не следует реконструировать глухие придыхательные согласные в индоевропейском праязыке, т. к. они являются результатом вторичного развития в дочерних языках [3, с. 18]; кроме того, в большинстве случаев очевидно, что согласные, представленные в этих дочерних языках, в действительности могут восходить к сочетанию глухого смычного с последующим ларингальным (как это впервые было предложено в 1891 г. Ф. де Соссю-

ром):

*pH → скр. *ph*, и т. д.

*tH → скр. *th*, и т. д.

*kH → скр. *kh*, и т. д.

Что же касается упомянутых выше греческих рефлексов дентальных аспирированных (в традиционном понимании), то здесь мы по большей части имеем дело с формами, в архетипах которых ларингальный согласный отсутствовал. Напротив, в санскрите он был представлен в соответствующих словах и оставил след в виде аспирации согласного. Ниже приводятся два примера, иллюстрирующие различия между греческим и санскритом:

А. Греч. *πλατός* «широкий, обширный, ровный, плоский» ← **pl̥hú-s*

Скр. *pr̥thú-b* «широкий, обширный» ← **pl̥tHú-s*

Ларингал отсутствует в индоевропейской праформе греческой формы, поэтому греческий согласный — непридыхательный.

В. Греч. (дор.) *ἵστᾱμι* «я стою» ← **si-steA-mi*

Скр. *tíṣṭhati* «стоит» ← *(s) *ti-stA-eti*

В этом примере в греческом — полная ступень корневой морфемы, в санскрите — нулевая.

Есть, однако, по крайней мере один случай, когда греческому *θ* соответствует *th* в санскрите, а именно — окончание перфекта 2 л. ед. числа, как, например, в греч. (F) *οἶσ-θα* скр. *vet-tha* из **tAe*.

К сожалению, ларингальная теория не позволяет объяснить происхождение всех глухих придыхательных смычных в дочерних языках. Имеются слова, звукоподражательные по своему происхождению, содержащие рефлекс * исходного придыхательного глухого. Например [8, с. 80—81]:

А. Скр. *kákhati* «смеется», арм. *kazank'* «хохот», греч. *καχέω* «я смеюсь», ст.-слав. *zozomъ*, лат. *cachinnō* «я смеюсь».

В. Скр. *ph̥t-karoti* «дует, пытит», арм. *p'uk'* «дыхание, пытение», греч. *φῆσα* (← **φῆσα*) «кузнечные мехи», литов. *pūsti* «дуть (о ветре)».

Ларингальная теория здесь неприменима. Но хотя объяснить придыхательность согласного в этих формах наличием ларингала нельзя, трактовка здесь должна быть идентична интерпретации примеров, в которых глухие придыхательные возводятся к праиндоевропейским сочетаниям глухого смычного с последующим ларингальным. Подробнее на этих случаях мы остановимся ниже (в разд. 3).

Наконец, имеются известные примеры из санскрита, где придыхательные глухие представлены в положении после инициального *s*-. Вопрос об этих формах до сих пор не решен. Мы рассмотрим его в следующем разделе.

Поскольку нет доказательств того, что придыхательные глухие на праиндоевропейском уровне были включены в фонологическое противопоставление, и поскольку эти звуки в дочерних индоевропейских языках могут представлять собой результат вторичного развития, данная серия смычных не должна реконструироваться в индоевропейском языке.

3. Согласные, реконструируемые в классической системе как чистые (непридыхательные) глухие

На основании рефлексов, представленных в санскрите, греческом, латинском, балтийском и славянском, младограмматики (как и ранее А. Шлейхер) постулировали на праиндоевропейском уровне ряд чистых

(непридыхательных) смычных (серия 1). Материал германских и кельтских, а также армянского (и довольно слабо изученных фракийского и фригийского) языков указывает, однако, на наличие аспирации у согласных этого ряда в праиндоевропейском. Различия рефлексов в дочерних языках можно объяснить двояко: (А) утратой аспирации в санскрите, греческом, латинском, балтийском и славянском, (В) вторичным развитием аспирации в германском, кельтском, армянском, фракийском и фригийском. Младограмматики избрали второй вариант [8, с. 91—92], и в этом за ними следовало большинство ученых вплоть до недавнего времени. Мы же обратимся к варианту (А), т. е. к предположению о том, что аспирация была утрачена в санскрите, греческом, балтийском и славянском языках. Начнем с анализа развития смычных в германском, а затем рассмотрим остальные дочерние языки.

В германском согласные, традиционно реконструируемые как чистые глухие, отразились в глухих фрикативных $*f$, $*\theta$, $*\chi$, $*\chi^w$; считается, что они восходят к придыхательным глухим, т. е. [8, с. 91]:

$$p \ t \ k \ k^w \rightarrow p^h \ t^h \ k^h \ k^wh \rightarrow f \ \theta \ \chi \ \chi^w$$

Позднее согласные $*f$, $*\theta$, $*\chi$, $*\chi^w$ и $*s$ перешли в середине и конце слова в звонкие фрикативные $*\beta$, $*\delta$, $*\gamma$, $*\gamma^w$ и $*z$ соответственно, кроме тех случаев, когда они находились (А) в позиции перед $*s$ или $*t$, (В) в интервокальном положении после акцентуированного слога («закон Вернера»).

Для кельтского принято постулировать изменение чистых глухих в придыхательные, т. е.

$$p \ t \ k \ k^w \rightarrow p^h \ t^h \ k^h \ k^wh$$

Лабialsный согласный при этом в конечном счете утрачивается:

$$p^h \rightarrow h \rightarrow \emptyset$$

Развитие смычных в армянском можно объяснить, если исходить из того, что в доармянский период индоевропейского серия 1 была представлена глухими придыхательными, серия 2 — сочетаниями глухих смычных с ларингалным, серия 3 — глоттализированными, а согласные серии 4 были придыхательными звонкими:

Доармянский и.-е.	Армянский
1. p^h ; t^h ; k^wh ; k^h	$\rightarrow h$ (w , \emptyset); t^c ; s ; k^c
2. p^h ; t^h ; k^h	$\rightarrow p^c$; t^c ; x
3. δ ; k^wh ; k^c	$\rightarrow t$, c , k
4. b^h ; d^h ; g^wh ; g^h	$\rightarrow b$ (w), d ; j (z); g (\check{i} , \check{z})

В армянском некоторые рефлексy серии 1 совпадают с рефлексами серии 2. Это происходит в звукоподражательных словах, отмеченных выше (разд. 2), где, например, исходные $*p^h$, $*k^h$ переходят соответственно в $*p^b$, x , что позволяет допустить более ранние $*p^h$, $*k^h$ (то же справедливо для всех согласных серии 1 в санскрите и греческом и для случая с $*k^h$ в славянском). Сходным образом, аспирация согласных в серии 1 сохраняется в армянском в положении после начального s . Звуки $*t^h$ и $*t^h$ большей частью совпадают в армянском, хотя исходное $*rt^h \rightarrow$ арм. rd , в то время как $*rt^h \rightarrow$ арм. rt^c [8, с. 79].

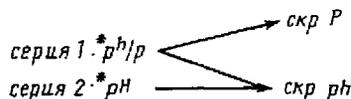
Таким образом, можно удовлетворительно объяснить развитие смычных в германском, кельтском и армянском, приняв, что согласные серии 1 были на праиндоевропейском уровне придыхательными глухими; иначе говоря, нет необходимости постулировать исходные чистые глухие для объяснения развития этих звуков в дочерних языках. Особенно показательны данные армянского языка, т. к. он сохранил различие между старыми придыхательными глухими (серия 1) и теми, которые появились

позднее в результате развития исходных сочетаний глухих смычных с последующим ларингальным (серия 2). Так что именно армянский материал дает ключ к пониманию праиндоевропейской системы.

В санскрите, греческом, латинском, балтийском и славянском языках на месте смычных согласных серии 1 представлены чистые глухие. Это, однако, не результат сохранения исходной системы, а скорее инновация. Как уже отмечалось, ключ к пониманию праиндоевропейской системы дает материал армянского языка. Поэтому на основании истории смычных серии 1 в армянском можно прийти к выводу, что эти согласные были по происхождению придыхательными глухими и, далее, что признак придыхательности у них был фонологически нерелевантен (такую позицию занимают Гамкрелидзе — Иванов). Следовательно, имели место два аллофона:

$$\begin{array}{l} p^h/p \\ t^h/t \\ k^h/k \\ k^w/h/k^w \end{array}$$

В санскрите фонологизация аллофонов серии 1 была осуществлена следующим образом: придыхательные оказались представленными в звукоподражаниях и в позиции после инициального *s-*, а непридыхательные — во всех других случаях:



Несколько примеров, иллюстрирующих отражение согласных серии 1 в положении после инициального *s-* в санскрите:

- A. Скр. *sp̥hurāti*: арм. *sp'irk'* и *p'arat*
 B. Скр. *sthūgati*: греч. *στέγω* и *τέγω*,
 лат. *tegō*
 C. Скр. *skhālāmi*: арм. *szahm*

Эмондс [7, с. 120] также считает, что придыхательные глухие смычные, представленные в индийском, греческом и армянском языках, — результат развития согласных серии 1: «Наконец, новая реконструкция праиндоевропейской системы смычных позволяет нам иначе взглянуть на историю придыхательных глухих в греческом и индийском. Я, впрочем, не отвергаю и вполне правдоподобных теорий их происхождения, разработанных в традиционной индоевропеистике (ларингальная теория). Однако наличие в классической системе глухих придыхательных (*ph*-серия) ведет к предположению о возможности дефектного применения (*imperfect operation*) правила LAX или Z2 как раз в тех языках, где имело место ослабление, но все придыхательные глухие не исчезли в соответствии с правилом CG. (Под „дефектным применением” я имею в виду следующее: существовал диалект, где данное правило не действовало; впоследствии диалект этот исчез, но лишь после того, как некоторые формы были заимствованы из него, став исключениями из полностью завершившегося ранее исторического изменения.)

Если такое дефектное применение правила Z2 имело место в действительности, то данный факт мог бы служить объяснением греческих и индийских *ph* на месте *p* в языках центральной группы и *ph* в германском... Тот факт, что *ph* и *x* в армянских (и славянских) примерах не соответствуют результатам регулярного изменения *ph* и *kh* в этих языках с точки зрения „нового взгляда”, на праиндоевропейскую систему смычных, — этот факт подкрепляет положение, согласно которому „дефектное применение” правила Z2 должно быть интерпретировано как заимствование

слов из диалекта, в котором не применялось это правило (или другие правила, определявшие процесс развития *ph* и *kh* в армянском и славянском)».

В то время как Эмондс считает, что в санскрите, греческом и армянском придыхательные глухие появились на месте смычных серии 1 вследствие заимствования, мне они представляются естественным результатом процесса фонологизации аллофонов этой серии.

В системе, предшествовавшей санскриту, аспирация была утрачена в случаях, когда после придыхательного согласного основы стоял ларингал:

- А. $*(s)^h eHy- \rightarrow *(s)tehy- \rightarrow (s)tāy$ (ср. скр. *stāyati* «ворует», *stāyū-h*, *tāyū-h* «вор, разбойник»);
В $*(s)^h eHi- \rightarrow *(s)teHi- \rightarrow *(s)tai- \rightarrow (s)te$ (ср. скр. *stenā-h* «вор», *stēya-h* «воровство, разбой»).

Конечно, в тех случаях, когда ларингал следовал непосредственно за глухим смычным, результатом был придыхательный глухой:

$*(s)ti-stA-eti \rightarrow$ скр. *tisthati* «стойт»

Этот придыхательный глухой распространялся в дальнейшем по всей парадигме и в дериватах (ср. скр. *sthāpayati* «заставлять стоять»).

Теперь можно вновь обратиться к вопросу о выборе, перед которым стояли младограмматики: (А) утрата аспирации в санскрите, греческом, латинском, балтийском и славянском и (В) вторичное развитие аспирации в германском, кельтском и армянском. В свете новой теории, предложенной Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым, это уже не столько вопрос об утрате или сохранении, сколько о фонологизации и обобщении аллофонов серии 1 в различных дочерних языках; тем не менее германский, кельтский и армянский оказываются более близкими к исходной системе, чем те дочерние языки, в которых согласные серии 1 представлены чистыми глухими, поскольку именно придыхательные аллофоны были, видимо, основными вариантами праиндоевропейских фонем. В этом смысле в санскрите, греческом, латинском, балтийском и славянском имела место инновация — обобщение неаспирированных аллофонов фонем серии 1 (подробнее о развитии, приведем к утрате аспирации, см. [9, с. 285—294]).

4. Согласные, реконструируемые в классической системе как придыхательные звонкие

В соответствии с традиционной реконструкцией праиндоевропейской системы смычных принимается, что в серию 4 входили придыхательные звонкие согласные. Доказательств того, что они были звонкими, очень много (данные индоиранских, албанского, армянского, германских, кельтских, балтийских и славянских языков), в то время как об их аспирированности свидетельствует лишь ограниченное число фактов индоарийского, греческого и армянского. Все же представление о том, что согласные данной серии были в праиндоевропейском придыхательными звонкими, тучше всего позволяет объяснить рефлексы, представленные во всех дочерних языках, если рассматривать их в совокупности.

Гамкрелидзе — Иванов тоже принимают положение о том, что согласные серии 4 были придыхательными звонкими. Однако они отмечают, что аспирация в системах подобного типа не является фонологически релевантным признаком и что фонемы этого ряда могли быть реализованы как придыхательными, так и непридыхательными аллофонами в зависимости от парадигматических чередований в корне. Конкретизируя данное положение, можно утверждать, что дистрибуция указанных аллофо-

нов была — по крайней мере, в индоиранском и греческом — следующей [10, с. 404]: «В случае, когда фонемы [серии 4] были представлены в одной корневой морфеме, одна из них была реализована предыхательным, а другая — непрдыхательным вариантом. Так, например, корневая морфема /*b^heu^dh-/ реализовывалась в виде [*beu^dh-] или [*b^heu^d-] в соответствии с правилами парадигматических чередований в морфеме. Соответственно, „закон Грассмана“ следует интерпретировать не как правило дезаспирации, применявшееся только в индоиранском и греческом, а как правило аллофонического варьирования фонем [серии 4], применявшееся еще в праиндоевропейском.

Таким же образом можно просто и естественно объяснить явление, описываемое „законом Бартоломэ“. Последовательность морфем /*b^hud^h-/ + /*-t^ho-/ должна быть реализована в виде [*bud^h-] + [*-t^ho-] → [*budt^ho-] (в соответствии с запретом на сочетаемость в последовательности — как дистантной, так и контактной — двух придыхательных аллофонов), что дает древнеиндийское *buddha* в результате прогрессивной ассимиляции по голосу». В латинском, впрочем, системная дистрибуция придыхательных и непрдыхательных аллофонов фонем серии 4, возможно, была обусловлена наличием начального ударения — в соответствии с концепцией Ф. Балди и Р. Джонстон-Стейвер. Они пишут (цитаты приводятся по рукописи статьи Ф. Балди и Р. Джонсон-Стейвер «Италийская история фонология в типологической перспективе»): «В этой связи встает вопрос о [согласных серии 4], которые мы реконструируем в праиндоевропейской системе в качестве звонких с придыхательными и непрдыхательными аллофонами. В соответствии с традицией принято считать, что *b, *d, *g отразились непосредственно в b, d, g в латинском, а *b^h, *d^h, *g^h расщепились на новые фрикативные f, f, h и b, d, g; последние при этом совпали с рефлексам чистых звонких. В рамках новой концепции напрашивается иное решение, хорошо объясняющее дистрибуцию щелевых и звонких смычных в истории латинского языка.

Мы полагаем, что наличие придыхания у звонких смычных было обусловлено ударением на первом слоге, что традиционно постулируется для пралатинского... Общепринятая точка зрения заключается в том, что можно с уверенностью постулировать в пралатинском ударение на первом слоге — об этом свидетельствуют многочисленные факты ослабления гласного и синкопы в безударных слогах слов, внутренне реконструируемых с гласными полного образования, например: *aetas* ← *aeuitas*; *afficiō* ← *ad* + *faciō*; *auceps* ← *avi* + *caps* и т. д. Латинские формы можно интерпретировать либо в виде сохранивших, либо в виде утративших придыхание, в зависимости от того, какая система постулируется для исходного праиндоевропейского диалекта. Напомним: Гамкрелидзе — Иванов полагают, что основным вариантом звонких смычных фонем был придыхательный согласный. Согласно этому допущению, именно придыхательный и был обобщен в праиталийском по следующему правилу:

 → [b^h] # [+ударение]

Таким образом, можно предложить фонетическую мотивацию — а именно: взаимодействие ударения и аспирации — для объяснения дистрибуции придыхательных/непридыхательных звонких в начальных/вначальных слогах... Итак, мы предполагаем, что развитие звонких смычных и глухих щелевых в латинском описывается следующей схемой:

$$\begin{array}{l} [b^h] \rightarrow p^h \rightarrow \phi \rightarrow f \quad [b] \rightarrow b \\ [d^h] \rightarrow t^h \rightarrow \theta \rightarrow f \quad [d] \rightarrow d \\ [g^h] \rightarrow k^h \rightarrow \chi \rightarrow h \quad [g] \rightarrow g (u) \end{array}$$

И далее: «Имеется ряд примеров, составляющих исключение из описанного выше развития, и новая интерпретация не устраняет их. Но все же она позволяет осуществить ряд обобщений, которые не были возможны в русле традиционной концепции».

Для сакско-умбрского Балди и Джонстон-Стейвер постулируют обобщение придыхательных аллофонов во всех позициях.

Суммируя изложенное выше, отметим, что в индоиранском, греческом и латинском, в отличие от всех других дочерних языков, противопоставление придыхательных и непридыхательных согласных было фонологизировано.

5. Заключительные замечания

Согласные серии 1 (традиционно считавшиеся чистыми глухими) реинтерпретируются в виде придыхательных глухих. Согласные серии 2 (в классической системе — придыхательные глухие) следует исключить из описания. Смычные серии 3 (в традиционном описании — чистые звонкие) реинтерпретируются в виде глоттализированных, а согласные последнего ряда (традиционно — придыхательные звонкие) сохраняются без изменений. Признак придыхательности у согласных серий 1 и 4 фонологически нерелевантен, т. е. данные фонемы могли быть реализованы как аспирированными, так и неаспирированными аллофонами в зависимости от позиции. В некоторых из дочерних языков это противопоставление было фонологизировано. Таким образом, праиндоевропейская система смычных восстанавливается нами в следующем виде:

$\begin{array}{c} \overset{1}{p^h/P} \\ \overset{1}{t^h/t} \\ \overset{1}{k^h/k} \\ \overset{1}{k^wh/k^w} \end{array}$	(2)	$\begin{array}{c} \overset{3}{(p')} \\ \overset{3}{t'} \\ \overset{3}{k'} \\ \overset{3}{k^w} \end{array}$	$\begin{array}{c} \overset{4}{b^h/b} \\ \overset{4}{d^h/d} \\ \overset{4}{g^h/g} \\ \overset{4}{g^wh/g^w} \end{array}$
--	-----	--	--

Эта реконструкция во всех существенных деталях совпадает с реконструкцией, предложенной Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым [11, с. 5—80].

В заключение приведем отрывок из исследования С. Судзуки [9, с. 287], посвященного по-новому понимаемой системе праиндоевропейских смычных:

	T	T'	D
Глоттализированный	—	+	—
Звонкий	—	—	+
(Аспирированный)	+	—	+

Судзуки отмечает: «... признак [\pm аспирированный] с чисто фонологической точки зрения избыточен. Однако я считаю его лингвистически релевантным в силу того, что, находясь в отношениях дополнительной дистрибуции с признаком [\pm глоттализированный], он имел потенциальную возможность стать дифференциальным в случае утраты последнего. В этом смысле признак [\pm аспирированный] нефонологичен».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Brugmann K. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen. Sprachen. В. 1904. (перепеч. — 1970).
2. Bomhard A. R. The Indo-European phonological system: New thoughts about its reconstruction and development // Orbis. 1979. V. 28. № 1.
3. Bomhard A. R. Toward Proto-Nostratic: A new approach to the comparison of Proto-Indo-European and Proto-Afroasiatic. Amsterdam; Philadelphia, 1984.
4. Hopper J. Glottalized and murmured occlusives in Indo-European // Glossa. 1973. V. 7.

7. Gamkrelidze T. V., Ivanov V. V. Sprachtypologie und die Reconstruction der gemeindogermanschen Verschlüsse, *Phonetica* 1973. Bd 27
8. Vorster R. Idg. Konsonantismus, germ. «Lautverschiebung» und Vernersches Gesetz // *KZ* 1977 Bd 91
9. Emonds J. A reformulation of Grimm's law. *Contributions to generative phonology* / Ed. by Brame M. K. Austin, 1972
10. Meillet A. Les dialectes indo-européens. Genève, 1984 (reprint)
11. Suzuki S. The glottalic theory and dialectal development // *KZ* 1985 Bd 92 № 2
12. Gamkrelidze T. V. Linguistic typology and Indo-European reconstruction // *Linguistic studies offered to Joseph Greenberg* // Ed. by Juillard A. V. 2. Stanford, 1976
13. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция в историко-типологический анализ языков и протокультуры Ч. 1-2. Тбилиси 1984

Перевел с английского Князева С. В.

© 1992 г. АЛПАТОВ В. М.

«ГРАММАТИКА ПОР-РОЯЛЯ» И СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА

(К ВЫХОДУ В СВЕТ РУССКИХ ИЗДАНИЙ)

В 1660 г. в Париже появилось первое издание «Общей и рациональной грамматики» Антуана Арно и Клода Лансло, известной в истории науки под названием «Грамматика Пор-Рояля». Это последнее название, однако, не принадлежит ее авторам, но оно настолько срослось с рассматриваемым трудом, что одно из русских изданий просто озаглавлено таким образом, а другое имеет гибридное наименование «Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля» [1, 2]. Грамматика не раз переиздавалась в оригинале, переведена на многие языки, включая японский. Но лишь сейчас она впервые издана по-русски, причем почти одновременно, в конце 1990 г. и в начале 1991 г., появились сразу два ее издания, соответственно в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Московское издание включает в себя перевод и комментарии Н. Ю. Бокадоровой, уже ряд лет активно изучающей французскую лингвистику XVII—XVIII вв., и вступительную статью акад. Ю. С. Степанова. Ленинградское издание осуществлялось под руководством Ю. С. Маслова, к сожалению, не дожившего до выхода книги в свет; ему принадлежат перевод (совместно с Е. Д. Панфиловым и М. В. Гординой) и вступительная статья. Переводы выполнялись независимо друг от друга, и в их основу положены разные издания Грамматики (второе в Москве, третье в Ленинграде), имеющие некоторые, но не очень большие различия. Вступительные статьи и комментарии написаны с большим знанием предмета исследования, но имеют несколько разную направленность: в московском издании, особенно во вступительной статье, внимание акцентируется на общекультурологических и филологических аспектах, а ленинградское издание сосредоточено на чисто лингвистической проблематике. В ленинградском издании обширнее комментарии, зато московское издание содержит ценные добавления к тексту Грамматики: отрывки из замечаний к ней Ш. П. Дюкло (XVIII в.) и очерк Н. Ю. Бокадоровой «Традиция издания и комментирования „Грамматики Пор-Рояля“ во Франции».

Оба издания выполнены на высоком научном уровне. Однако у читателя-лингвиста, на которого в первую очередь рассчитаны издания, встает закономерный вопрос: имеет ли книга, появившаяся за 12 лет до рождения Петра I, лишь чисто исторический интерес, или же проблемы, волновавшие ее авторов, продолжают быть актуальными?

«Грамматику Пор-Рояля» один из ее комментаторов справедливо называл «старой грамматикой, долго имевшей плохую репутацию среди лингвистов, но недавно восстановившей престиж, который она имела в свое время» [3, с. 343]. Действительно, эту книгу долго упоминали лишь как образец грамматик, составленных по латинскому эталону. Так писали о ней и крупные лингвисты — О. Есперсен, Л. Блумфилд, Ч. Хоккетт. Как отмечает Р. Лакофф [3, с. 343—344], эти лингвисты скорее всего и не читали Грамматику и судили о ней из вторых рук. Но я несомненно знакомые с ней специалисты оценивали ее не выше. Типично мнение

М. А. Бородиной, которая до появления рассматриваемых нами переводов и комментариев была, насколько нам известно, единственным советским лингвистом, специально изучавшим «Граматику Пор-Рояля». «Грамматика Пор-Рояля» в целом оказывается «довольно примитивной» а ее значение в наше время — «лишь историческое» [4].

Репутация книги резко изменилась в 60-е годы. Важнейшую роль в этом сыграли книги Н. Хомского [5, 6], одна из которых имеется и в русском переводе [7]. Н. Хомский очень высоко оценил Граматику, а свою собственную, уже всемирно знаменитую трансформационную концепцию объявил современной, более эксплицитной версией теории Пор-Рояля [5, с. 39]. Н. Хомскому ответили специалисты по истории европейской лингвистики [3, 8, 9]. Они указывали, что Хомский недостаточно знаком с лингвистической традицией; кроме того, они уточнили место «Граматики Пор-Рояля» среди ее предшественников и последователей, но, как заметил В. А. Звегинцев [10], почти не коснулись главного для основателя генеративизма — актуальности идей XVII в. для современной науки.

«Грамматика Пор-Рояля», ранее бывшая библиографической редкостью (Н. Хомский не смог найти в американских библиотеках ее английский перевод), с 1966 по 1969 гг. была издана, включая репринты, пять раз [11]. Интересно, что часть этих изданий готовилась еще до появления книг Н. Хомского, а о сходстве «Граматики Пор-Рояля» с трансформационной лингвистикой, видимо, независимо от него писал и Р. Х. Робинс [12, с. 125]. Тем не менее именно после Н. Хомского исторически не вполне точный термин «картезианская грамматика» прочно вошел в научный обиход. К сожалению, в содержательном очерке Ю. С. Степанова, где исследуются и влияние идей Пор-Рояля на творчество Ж. Расина, и сходство идей авторов «Граматики Пор-Рояля» с концепцией языка П. А. Флоренского, обойдены споры вокруг этой Граматики в лингвистике 60—70-х годов. При этом имя Н. Хомского упомянуто лишь один раз (на с. 36) по частному вопросу со ссылкой не на него самого, а на его последователя. В очерке Ю. С. Маслова по указанному вопросу сказано больше, но тоже кратко. Ю. С. Степанов разбирает лишь одну из затронутых Н. Хомским идей: о влиянии теории Декарта на ход мыслей создателей Граматики Пор-Рояля. Он считает это влияние очень значительным, следуя тем самым позиции Н. Хомского; точка зрения Ю. С. Маслова на этот счет скорее сходится со взглядами оппонентов Н. Хомского (Х. Орслефф, Р. Лакофф). В связи с этим рассмотрим некоторые из дискутируемых проблем, исходя из текста «Граматики Пор-Рояля» (ссылки и цитаты будут даваться по московскому изданию).

Одним из традиционных обвинений по адресу этой Граматики было отнесение ее к так называемым предписывающим, нормативным сочинениям; в науке XIX и первой половины XX в., когда теоретические и практические исследования строго разграничивались, последние считались принадлежащими как бы к «низшему сорту». В то же время Н. Хомский утверждает, что в «Грамматике Пор-Рояля» нет ничего предписывающего и она имеет только объяснительный характер [5, с. 26]. Между тем истина, как это часто бывает, находится посередине. Безусловно, объяснительный характер книги не вызывает сомнений. Один из авторов Граматики, К. Лансло, в предисловии к ней прямо пишет, что стимулом к ее написанию послужил «путь поиска разумных объяснений многих явлений, либо общих для всех языков, либо присущих лишь некоторым из них» (с. 69), и называет род подобных исследований «объяснительными» (с. 70). В большей части Граматики такой подход последовательно выдерживается: объяснение языковых явлений преобладает и над их описанием (в Грамматике привлекается материал только тех языков, которые

уже неоднократно описывались ранее), и над установленным норм. Однако это наблюдается не везде. Так, авторы Грамматйки дают явно пре-скриптивные правила употребления французских местоимений 3 л. ед. ч. *il, elle* в разных синтаксических позициях (с. 124—126). В заключение они пишут: «Для того чтобы хорошо говорить по-французски, мы должны всегда помнить описанное правило. Забвение его приводит к ошибкам в речи, если только, конечно, мы не имеем дела с оборотами, узаконенными обычаем, или же с оборотами, где отклонения от этого правила вызваны рядом причин. Господин де Вожла тем не менее этого правила вообще не рассматривал» (с. 126—127). Показателен также раздел «Два случая, когда вспомогательный глагол *avoir* употребляется вместо глагола *être*» (с. 196—201), где постоянны формулировки типа «следует говорить» и авторы спорят со своими предшественниками К.-Ф. де Вожла и Ф. де Малербом о том, какие обороты речи надо «рекомендовать к употреблению». Заметно, что чем более конкретными вопросами французского языка занимаются А. Арно и К. Лансло, тем заметнее предписывающий характер Грамматйки.

Безусловно, каждая лингвистическая традиция вырастает из практических задач и на ранних этапах развивается в тесной связи с ними (подробнее см. [13]). Лишь в рамках европейской традиции в эпоху схоластики стали разграничивать практические и теоретические («философские») грамматик. Традиция «философских» грамматик, не предписывающих и не описывающих, а объясняющих сущность уже известных фактов, продолжала быть живой и во времена «Грамматйки Пор-Рояля», многие ее идеи восходят еще к средним векам, что явно недостаточно учтено Н. Хомским, упоминающим об этом лишь вскользь [5, с. 97].

Однако ситуация изменилась в XVI—XVII вв., когда латинский язык, хорошо описанный еще в античности и требовавший лишь «философского» объяснения, перестал быть единственным объектом исследования. Перенос внимания на новые европейские языки, в том числе французский, был тесно связан с процессом их нормализации, что вновь сблизило языковедение с практикой. Поэтому перед языковедами XVII в. стояли задачи двойного рода. Как указывает Н. Ю. Бокадорова, «перед авторами Пор-Рояля лежало необработанное поле, давшее лишь первые ростки нового стиля» (с. 253), т. е. нормы, особенно стилистические, были не до конца сформированы. Однако задачи установления норм во многом уже были решены предшественниками А. Арно и К. Лансло, прежде всего упоминавшимися выше Ф. де Малербом и К.-Ф. де Вожла. Поэтому авторы рассматриваемой Грамматйки могли в большей мере, чем их предшественники, вернуться к рассмотрению объяснительной грамматик, занимаясь проблемами норм лишь там, где позиция Вожла и др. их не удовлетворяла. Позднее, когда норма французского языка окончательно установилась, теоретические грамматик вновь отделились от практических, ставших чисто учебными.

Другой традиционный упрек «Грамматике Пор-Рояля» — в том, что она якобы описывала все языки по латинскому образцу [14, с. 48]. Наоборот, Н. Хомский утверждает, будто в этой Грамматике «латынь рассматривалась как искусственный и испорченный язык» [7, с. 26]. На деле же «Грамматика Пор-Рояля» отражает переходный этап от следования латинскому эталону к построению теории на основе сопоставления языков; это фактически отмечает Ю. С. Маслов (с. 5).

На ранних этапах развития любой лингвистической традиции ее объектом бывает один язык: язык культуры данного ареала. Для западноевропейского варианта европейской традиции в средние века таким языком был латинский. К своим родным языкам представители традиции того времени, конечно, не могли относиться так же, как античные грамматис-

ты к «варварским» языкам, но они считались «низшими» по сравнению с латынью; недаром употреблявшийся в их отношении термин дал начало слову *вульгарный* в современном значении [Н. Ю. Бокадорова вполне обоснованно отказывается переводить *lingues vulgaires* как «вульгарные языки» (с. 261), что не соответствовало бы оригиналу, где это слово не имеет отрицательных коннотаций, и предпочитает описательный перевод «новые языки»; показательно, что тот же перевод без специальной мотивировки выбрали и ленинградские переводчики]. Средневековые «философские» грамматики опирались исключительно на материал латыни, зафиксированный прежде всего в обширной грамматике Присциана (VI в.).

Эпоха Возрождения привела к расширению языковой базы исследований. Во-первых, были заново открыты забытые в Западной Европе в средневековый период два других культурных языка: древнегреческий и древнееврейский. Во-вторых, иначе начали осознаваться «вульгарные» языки, на которых стала создаваться великая литература. Все это привело к идее многообразия человеческих языков и необходимости их сопоставления, что, как мы уже писали [13], было великим достижением европейской традиции, рубежом, который ни одна другая традиция не смогла самостоятельно преодолеть.

Во времена «Грамматики Пор-Рояля» этот рубеж уже был пройден, хотя и не полностью. В ней наряду с латынью постоянно рассматриваются древнегреческий, древнееврейский, родной для авторов французский, родственные ему испанский и итальянский языки. Изредка упоминаются еще «северные», т. е. германские, языки. Говорится и о «восточных» языках, для которых характерно совпадение основы глагола с формой 3 л. (с. 158); по мнению Н. Ю. Бокадоровой, здесь помимо древнееврейского еще имеется в виду арамейский (с. 264), а по мнению ленинградских комментаторов, те же языки плюс арабский (с. 6). Особо ни один индоевропейский язык, кроме древнееврейского, нигде не упомянут. С современной точки зрения, количество привлеченных языков и, главное, языковых типов здесь невелико. Н. Хомский считает, что авторы Грамматики проявляют «мало интереса к накоплению данных» [7, с. 26]. Однако по сравнению с философскими обобщениями на базе одного языка использование материала нескольких языков в «Грамматике Пор-Рояля» было большим шагом вперед.

Все же полного равенства языков для А. Арно и К. Лансло не существовало: помимо игнорирования языков современных нехристианских народов (хотя миссионерские грамматики для некоторых из них уже существовали), и «северные языки», не восходившие к латыни, явно рассматривались как языки второго сорта. Они не входят в основную базу данных, исходя из которой производится обобщения; в тех же случаях, когда об их свойствах упоминается, они рассматриваются как нарушающие законы логики. Показателен раздел о глаголе со значением «иметь» как вспомогательном. По мнению авторов, «его употребление трудно объяснить с рациональных позиций» (с. 189). Далее сказано, что обороты речи с этим глаголом, «свойственные всем новым языкам и, скорее всего, ведущие начало от германцев, являются достаточно необычными уже сами по себе» (с. 190). Таким образом, германские языки трактуются не только как недостаточно логичные, но и как источник нелогичности в романских языках.

Ориентация на латинский эталон во многих местах книги очень заметна, и трудно понять, почему этот язык рассматривается как «искусственный и испорченный» в интерпретации Н. Хомского. Иногда такой эталон выдвигается вполне осознанно, что особенно ярко проявилось в главе «О падежах и предлогах». Авторы Грамматики не могли не видеть, что латинская падежная система не имеет в других языках прямого соответ

ствия: «Из всех языков только греческий и латынь имеют падежи имен в полном смысле этого слова» (с. 106). Однако далее говорится о латинской падежной системе и приводятся не только латинские, но и соответствующие им по значению примеры из других языков, прежде всего из французского. В частности, указывается, что во французском языке вокатив выражается опущением артикля, генитив — предлогом *de* и т. д. Что же касается древнегреческого языка, где падежная система отличалась от латинской отсутствием аблатива, предлагается считать, что «аблатив есть и у греческих имен, хотя он всегда совпадает с дативом» (с. 114). Таким образом, получается, что во всех языках существует одна и та же латинская система падежей, хотя и выражается по-разному; реально эта система устанавливается на основе перевода на эталонный, в данном случае латинский, язык. Такой подход, возникший еще до появления «Грамматики Пор-Рояля», дожил до XX в. (хотя латинский эталон мог со временем заменяться эталоном другого языка, имеющего падежи, например русского). В этой связи интересна, например, китайская грамматика [15] в части, написанной А. И. Ивановым.

Нередко, однако, латинский эталон присутствует и имплицитно. Авторы Грамматики могли просто не осознавать, что описание, выработанное на латинском материале, не вполне подходит для другого языка. Они, например, пытаются строить, исходя из единства письменности единую систему согласных для латыни и «новых» языков, отмечая, впрочем, особо некоторые звуки, отсутствующие в латыни, вроде *ш* (франц. *ch*, с. 76). Даже имеющие особое написание звуки за пределами этого канонического ряда либо выносятся за систему нормальных человеческих звуков как «трудные для произношения» (древнееврейский айн), либо не отделяются от звуков, известных из латинского языка, как «дубль ве» германских языков, признаваемое тем же звуком, что *v*. Французская система гласных и согласных кое в чем отличается от латинской, но многие специфические для французского языка элементы вроде носовых гласных еще не выделены. Как отмечено Н. Ю. Бокадоровой (с. 254), комментатор «Грамматики Пор-Рояля» XVIII в. Ш. П. Дюкло уже описывал французскую звуковую систему более адекватно.

Другой вопрос связан с прилагательными. Трактовка А. Арно и К. Лансло находилась в промежуточном этапе между античной и новой традициями. Согласно первой, существительные и прилагательные объединились в единую часть речи — имя. С XVIII в., однако, существительное и прилагательное различались как две разные части речи. Если в древнегреческом и латинском языках не ощущалось необходимости разграничивать эти слова ввиду морфологической общности (исключая лишь периферийную категорию степеней сравнения), то «новые» языки требовали такого разграничения. «Грамматика Пор-Рояля» содержит компромиссный подход: выделяется только одна часть речи (имя), но имена сразу же подразделяются на два подкласса (с. 93). Указывается на семантические различия этих подклассов, но предпринимается и попытка найти в их значении нечто общее. Поэтому говорится о существовании у слов «ясного» значения, разъединяющего существительные и прилагательные, и объединяющего их «смутного» значения, благодаря которому, например, *rouge* «красный» также «означает „красноту“, неясно указывая на предмет, обладающий этим качеством» (с. 94—95). Безусловно, правомерно искать в этой трактовке глубокий философский смысл, как это делает Ю. С. Степанов (с. 32—34), но, может быть, «ясные» и «смутные» значения, более нигде не появляющиеся в книге, нужны ее авторам лишь для того, чтобы семантически оправдать догматическую идею, согласно которой различие существительных и прилагательных не столь существенно, как различие имен, глаголов, причастий и наречий, и между зна

чекнем двух подклассов имен должна быть глубинная связь. Поэтому отчасти права и М. А. Бородина, видевшая в объединении существительных и прилагательных один из признаков «примитивности» Грамматики.

Однако во многих случаях «Грамматика Пор-Рояля» уже представляет собой значительный отход от латинского эталона. Показателен, например, раздел об артикле: «В латыни совсем не было артиклей. Именно отсутствие артикля и заставило утверждать..., что эта частица была бесполезной, хотя, думается, она была бы весьма полезной для того, чтобы сделать речь более ясной и избежать многочисленных двусмысленностей» (с. 115). Итак, наличие в «новых» языках черт, отсутствующих в латыни, может рассматриваться с точки зрения соответствия языка логике и как регресс (вспомогательные глаголы со значением «иметь»), и как прогресс (артикль). Эталоном в последнем случае явно служит французский язык: «Обиход не всегда согласуется с разумом. Поэтому в греческом языке артикль часто употребляется с именами собственными, даже с именами людей... У итальянцев же такое употребление стало обычным... И мы, французы, иногда подражаем подобному обиходу, но только в именах чисто итальянских... Мы не ставим никогда артикля перед именами собственными, обозначающими людей» (с. 119—120). Можно отметить и короткую главу о наречиях, где, исходя из того факта, что латинские наречия нередко соответствуют сочетаниям имени с предлогом в «новых» языках, делается вывод, что наречие вовсе не обязательно для языка (с. 146). Есть разделы (например, о междометиях), где приводятся примеры только из французского языка.

Итак, «Грамматика Пор-Рояля» далеко не соответствует латинскому эталону, как это утверждали О. Есперсен и др., хотя и не столь свободно от него, как это представляется Н. Хомскому. Отход от латинского эталона мог давать разные результаты. Одним из них иногда становился простой переход к иному эталону, в качестве которого обычно выступал родной язык исследователя. По этому пути пошли в XVIII—XIX вв. авторы большинства практических описаний «экзотических» языков. Поскольку наука XIX в. была исключительно исторической, данный тип описания был единственно возможным, и лишь возвращение к синхронной лингвистике на новой основе в начале XX в. ограничило использование такого подхода областью учебных грамматик. Показательно уже упоминавшаяся нами китайская грамматика [15], где под одной обложкой сосуществуют две эпохи развития науки.

Критикуя описания языков разного строя в категориях какого-то одного языка, будь то латинский, французский или английский, лингвисты XX в. (особенно первой его половины) нередко возлагали ответственность за становление такого типа описания на «Граматику Пор-Рояля». Но даже отвлекаясь от того факта, что первые миссионерские грамматики появились примерно за столетие до издания этого труда, такое обвинение можно считать верным лишь отчасти. Конечно, как мы видели, авторы Грамматики постоянно обращаются то к латинскому, то к французскому эталону. Это было неизбежно на тогдашнем уровне накопления фактов. Иногда в Грамматике даже не учитываются в достаточной мере известные авторам факты. Хотя неоднократно упоминаются явления древнееврейского языка, включая и явления типа изафета (с. 110), они почти нигде не заставляют авторов как-то изменять общий подход.

Тем не менее концепция «Грамматики Пор-Рояля» далеко не сводится к контаминации латинского и французского эталонов. Неоднократно в Грамматике говорится об общей логической основе языков, от которой конкретные языки отклоняются в той или иной степени. При этом к этой основе один и тот же язык может быть ближе в одном отношении и дальше в другом. Как мы видели, латинский и французский языки оценива-

лись по разным параметрам неодинаково. Иногда более близкими к эталону могли считаться и другие языки, даже восточные: «То, что мы называем третьим лицом глагола, фактически является основой глагола... как это можно наблюдать во всех восточных языках» (с. 158); такой случай, кажется, единственный во всей книге. Однако если эталон для сравнения языков, их логическая основа не совпадает ни с одной конкретной языковой системой, то встает вопрос о том, что же такое эта основа и как она строится. В самой «Грамматике Пор-Рояля» этот вопрос нигде эксплицитно не ставится и ответа на него не дается. Ответить на него попытался (если не считать явно неадекватного ответа у О. Есперсена и др.) лишь Н. Хомский, посетивший, что мы имеем здесь дело с явлением, которое он называл глубинной структурой [5, с. 34; 7, с. 28].

Чтобы разобраться в этом вопросе, надо кратко рассмотреть исторические предпосылки «Грамматики Пор-Рояля». Сама по себе идея о «глубинных», логических основаниях, стоящих за явлениями языка, была для того времени далеко не новой и восходила к средневековым схоластикам, прежде всего к школе модистов (XIII—XIV вв.) [16, с. 78—92; 12, с. 74—89]. Не удовлетворяясь чисто описательным подходом к языку, модисты пришли к выводу, что каждое языковое явление должно иметь философское (логическое) обоснование, что структура языка отражает структуру мысли. Тем самым именно они впервые разграничили, выделяя современным языком, поверхностные и глубинные структуры, а авторы «Грамматики Пор-Рояля» лишь следовали многовековой традиции. Однако поскольку модисты интересовались только одним латинским языком, постулируемое ими соотношение между поверхностными и глубинными структурами оказывалось взаимно однозначным. Надо учитывать и то, что сама логика Аристотеля, на которую опирались модисты при установлении общих категорий, была отражением структуры древнегреческого языка, о чем справедливо писали Э. Бенвенист [17, с. 104—114] и Р. Х. Робинс [16, с. 87], а древнегреческий и латинский языки типологически очень близки. Поэтому в большинстве случаев (исключая синтаксис, в развитие которого модисты внесли большой вклад) авторы «философских» грамматик ограничивались комментированием грамматики Присциана и приписыванием каждому зафиксированному там явлению «глубинного» объяснения. Как указывает Р. Х. Робинс, в чем-то их подход даже был шагом назад по сравнению с античностью, поскольку они старались «философски», а на деле семантически объяснить любое формальное явление, например, род существительных [16, с. 84]. При этом именно модисты выдвинули впервые в мировой науке важнейший тезис о принципиальном единстве языков мира [12, с. 76—77]. Каждый из модистов помимо латыни знал и свой родной язык и имплицитно учитывал это знание, осознавая сходство этого языка с латинским и рассматривая культурно обработанный и детально описанный латинский язык как язык, адекватно отражающий структуру мысли.

Традиция, идущая от модистов, не прерывалась вплоть до написания «Грамматики Пор-Рояля», но подверглась значительной модификации. Н. Хомский считал, что эта Грамматика принципиально отличается от своих предшественниц тем, что появилась после «картезианской революции» [7, с. 30]. Однако его оппоненты вполне убедительно показали, что многое из того, что Н. Хомский считает «картезианством», существовало у грамматистов, работавших до Декарта, особенно у Ф. Санчеса, грамматика которого была опубликована еще в 1587 г. [3, с. 356—363; 8, с. 573]. Как указывает Р. Лакофф [3, с. 347], роль Декарта в формировании идей «Грамматики Пор-Рояля» заключалась прежде всего во влиянии на идейный климат эпохи [ср., впрочем, приводимые в предисловии Ю. С. Степанова (с. 19—20) данные о развитии идей Декарта в других

работах А. Арно]. Но, безусловно, первостепенное значение для авторов «Грамматики Пор-Рояля», как и для их ближайших предшественников, имело осознание того, что латинский язык вовсе не является единственным языком культуры. Старая идея о существовании общей логической основы всех языков не только сохранилась, но и укрепилась благодаря ознакомлению с большим числом языков; однако представление о том, что такая основа является латинской, стало преодолеваться, хотя, как мы видели, далеко не полностью. Поэтому, как указывает Р. Х. Робинс [12, с. 123], авторы «Грамматики Пор-Рояля» уже не стремились найти обоснование каждой детали в грамматике Присциана. Место, занимавшееся ранее латинским языком, не занял в полной мере и французский. Эталон оказался отделенным от конкретных языковых систем, что безусловно сближает «Грамматику Пор-Рояля» с хомскианством.

Сама по себе идея о единой логической основе для языков во времена «Грамматики Пор-Рояля» была столь обычной, что не требовала особых доказательств. Например, в Грамматике говорится о возможности «изменять естественный порядок слов» (с. 209) без доказательств существования такого порядка и даже без его описания. Поэтому и Н. Хомскому, и поддерживающим или критикующим его ученым приходится судить о представлениях авторов Грамматики по косвенным данным, причем наиболее показательными оказываются периферийные с точки зрения самих А. Арно и К. Лансло разделы: об относительных местоимениях, наречиях, о фигурах конструкций, в частности, об эллипсисе и т. д. Ни один современный комментатор «Грамматики Пор-Рояля» не прошел мимо анализа фразы *Dieu invisible a créé le monde visible* «Невидимый Бог создал видимый мир», приводимой авторами Грамматики для объяснения свойств относительных местоимений. В связи с этим они указывают, что придаточное предложение, куда входит относительное местоимение, может составлять часть субъекта или атрибута главного предложения, а это заставляет их перейти к анализу соотношения предложения с суждением. Разбирая в связи с этим приведенную выше фразу, А. Арно и К. Лансло пишут: «В моем сознании проходят три суждения, заключенные в этом предложении. Ибо я утверждаю: 1) что Бог невидим; 2) что он создал мир; 3) что мир видим. Из этих трех предложений второе является основным и главным, в то время как первое и третье являются придаточными..., входящими в главное как его составные части; при этом первое предложение составляет часть субъекта, а последнее — часть атрибута этого предложения. Итак, подобные придаточные предложения часто присутствуют лишь в нашем сознании, но не выражены словами, как в предложении примере. Но часто мы выражаем эти предложения в речи. Для этого и используется относительное местоимение» (с. 130).

Такое высказывание действительно кажется очень современным, если отвлечься от архаических для нашей эпохи терминов вроде «суждение». Авторы «Грамматики Пор-Рояля» здесь четко различают поверхностную и глубинную или, в других терминах, формальную и семантическую структуры. Отталкиваясь от объяснения поверхностных явлений французского языка (в данном разделе Грамматики речь идет только об одном этом языке), они переходят к описанию их семантики, не имеющей прямых формальных соответствий. Еще в XVII в. они пришли к тем же выводам, что и современные лингвисты, указывающие, что в предложении *Невидимый Бог создал видимый мир* содержатся три предиката со своими агентами.

В некоторых других местах книги говорится о синонимах языковых выражений, из которых одно признается более соответствующим логике (хотя остается неизвестным, идет ли речь о полном соответствии), а другое может употребляться вместо него ради «желания людей сократить»

речь» (наречия вместо сочетания имени с предлогом, с. 146) или для изящества речи (добавление излишних по смыслу слов, с. 209). Добавление слов (плеоназм) вместе с эллипсисом и изменением «естественного порядка слов» рассматривается в числе «фигур конструкций», о которых говорится: «По отношению к грамматике они, безусловно, представляют собой ее нарушения, но в отношении языка они выступают его украшением и подчас открывают нам его совершенство» (с. 209—210). При этом и в отношении наречий, и в отношении «фигур конструкций» за исходную принимается структура французского языка: «Наверное, не существует языка, который использовал бы фигуры меньше, чем наш французский язык, ибо он особенно чтит ясность в выражении мыслей, предпочитая обороты наиболее естественные» (с. 211—212). Именно в такого рода высказываниях Н. Хомский видит аналог трансформационных правил [5, с. 35]. Подобный аналог им признается и в связи с трактовкой причастий [5, с. 43]. Конечно, говорить в таких случаях о «трансформационных правилах» — явная модернизация, но определенное сходство здесь есть. Впрочем, о синонимии некоторых исходных и неисходных выражений говорилось тем или иным образом едва ли не всегда. В этой связи можно указать на явление эллипсиса, с античности рассматривавшееся именно так.

Говоря о недостатках «Грамматики Пор-Рояля», Н. Хомский пишет, что в ней нет ясного понимания различия между абстрактной структурой предложения и самим предложением [5, с. 58]. Это, конечно, так. Логическая структура понимается у А. Арно и К. Лансло как языковая, но из известных им структур языков отбираются далеко не все. Какие-либо критерии для отбора определенных структур в грамматике отсутствуют; их авторы скорее всего исходили из интуиции носителей французского языка, кое-где корректируя ее сопоставлением французского языка с другими¹.

До конца XVIII в. традиции «Грамматики Пор-Рояля» оставались актуальными, особенно во французской науке [48]. При этом описание французского языка становилось адекватнее и освобождалось от латинского эталона, а общий подход к языку в своей основе сохранился; это хорошо видно из включенных в московское издание отрывков из сочинения Ш. П. Дюкло. Но открытие санскрита и общее усиление историзма в европейской науке привели к формированию в начале XIX в. новой научной парадигмы — сравнительно-исторической. Идеи «Грамматики Пор-Рояля» временно оказались на периферии языкознания (во Франции меньше, чем в других странах). Ученых XIX в. не удовлетворяли ни невнимание авторов универсальных грамматик к конкретным фактам, ни отсутствие какого-либо историзма в их работах (например, во всей «Грамматике Пор-Рояля» при многочисленных сопоставлениях французского языка с латинским ни разу даже не сказано о происхождении второго от первого; вряд ли А. Арно и К. Лансло этого не знали, но для них это не было существенно, оба языка рассматривались на одной временной плоскости). Идея сопоставления языков в XIX—XX вв. приняла совершенно иной характер и даже типология надолго стала исторической дисциплиной. В большей степени традиции универсальных грамматик переняли практики: педагоги, миссионеры, во многом, однако, упростив их, вовсе перестав отделять, в отличие от авторов «Грамматики Пор-Рояля», универсальные свойства языка от категорий своего родного языка. «Грамматика Пор-Рояля» стала восприниматься сквозь призму такого рода неадекватных описаний, что и привело к ее несправедливым оценкам

¹ Не нашлось таких критериев и в генеративной лингвистике при всем ее формальном аппарате. Едва ли не большая часть работ по конкретным языкам, например, японскому, в рамках этой концепции посвящена спорам о том, какие явления следует относить к глубинной структуре, а какие нет.

у лингвистов первой половины XX в. Новое возвращение к синхронной лингвистике поначалу не привело к оживлению интереса к универсальным грамматикам не только из-за указанного выше изменения в представлениях о них, но и из-за значительно расширившейся базы фактического материала. Стало очевидным, что теория языка не может строиться на материале лишь индоевропейских языков Европы.

В то же время в науке XIX в. и первой половины XX в. во многом установилось представление о тождестве формальных и семантических структур, отчасти произошло (конечно, на более высоком уровне) возвращение к аналогичным представлениям модистов. Н. Хомский излишне категоричен, говоря, будто наука того времени изучала только поверхностные структуры и к языку как средству выражения мысли подходила лишь там, где глубинная структура совпадает с поверхностной [5, с. 51]. Об автономности семантики в том или ином виде говорили многие. Можно вспомнить и идеи О. Эсперсена, и «понятийные категории» И. И. Мещанинова. В некоторых случаях несовпадение формальных и семантических структур было общепризнанным: всегда, например, различали семантические роли подлежащего в активных и пассивных конструкциях. Но мысль о том, что в предложениях *Я читаю* и *Я болею* значение подлежащего неодинаково, часто отвергалась, а у нас после 1950 г. даже признавалась марристовской. С другой стороны, каждое формальное явление получало семантическую интерпретацию. А. А. Холодович, вспоминая в 1971 г. свою написанную в конце 40-х годов докторскую диссертацию, указывал: «В диссертации все наши усилия были направлены на то, чтобы „примирить“ синтаксис с семантикой и увидеть за каждым синтаксическим пируэтом его семантический аналог» [19]. Это касалось, конечно, не только синтаксических исследований. Всего несколько лет назад нам пришлось услышать во время обсуждения лингвистической работы в Институте востоковедения АН СССР выступление, где было сказано, что цель семантики — давать соответствующую интерпретацию формальным явлениям языка. При этом не учитывалось, что «обобщенные семантические представления являются лингвистической фикцией — эквивалентом грамматических классов в языковом сознании носителей языка» [20]. Наряду с этим некоторые лингвистические направления, особенно в США, вообще пытались обойтись без семантики.

Независимо от отношения к концепции Н. Хомского, в частности, к понятию глубинной структуры, нельзя не признать, что он был первым ученым, четко и последовательно заявившим об автономии семантического уровня и предложившим разработанный научный аппарат для его описания. И закономерно, что в полемике с ближайшими предшественниками он обратился к «Грамматике Пор-Рояля», где имплицитно содержится представление о такой автономии. Пусть даже эта Грамматика не столь уникальна в своем роде, как это утверждал Н. Хомский, но зато она является хорошим образцом такого подхода.

Идея автономии семантики в последние десятилетия стала одной из основополагающих в лингвистике: без нее семантика как особая дисциплина не могла бы развиваться. И нельзя считать, что ее разделяют лишь комскианцы. Показателен здесь пример советской лингвистики, где по ряду причин хомскианская модель в ее классическом виде почти не разрабатывалась, но идея однозначного соответствия между семантическими (глубинными) и формальными (поверхностными) структурами получила значительное развитие. Много сделали для развития этой идеи И. А. Мельчук и его последователи, разрабатывавшие модель «Смысл ↔ Текст». Если их можно считать генеративистами в широком понимании этого термина, то вряд ли сюда может быть причислен, например, А. А. Холодович, который вслед за приводившимися выше словами самокритики пи-

сал: «Теперь мы решительно отказываемся от этой идеи, приняв то более естественное воззрение, согласно которому несколько синтаксических деревьев могут иметь одно и то же значение и что предложению „Он затаянут в нелепый мундир“ семантически абсолютно тождественно предложение „Он затаянут в нелепость мундира“ и даже, разумеется, в японском „Он затаянут в мундир в нелепость“², хотя от второй и третьей синтаксических структур к семантике путь не прямой. Но иначе и быть не может. В противном случае синтаксис просто совпадал бы с семантикой и один из этих терминов оказался бы лишним» [19].

Но такое высказывание прямо перекликается с идеями «Грамматики Пор-Рояля» (речь, конечно, не идет о непосредственном влиянии). Там также говорится о семантическом тождестве формально различных конструкций, путь от которых к семантике может быть более или менее прямым (мы отвлекаемся от того, что в «Грамматике Пор-Рояля» речь чаще идет о морфологии, чем о синтаксисе, и семантика предстает в логической оболочке). Не менее актуальны (не только для хомскианцев) и идеи сочетания в предложении нескольких предикатов (не обязательно обозначенных глаголами), активно развивающиеся в современной лингвистике [21].

Многое в «Грамматике Пор-Рояля» принадлежит истории. Вряд ли какое-либо значение, кроме чисто исторического, может иметь, например, классификация звуков французского языка или глава «О новом способе, облегчающем обучение чтению на разных языках». Однако, как это весьма часто случается, многие идеи книги, пусть даже высказывавшиеся ее авторами попутно и вскользь, оказываются на новом витке развития науки актуальными и плодотворными. Такова «Грамматика Пор-Рояля», и Н. Хомский весьма своевременно привлек к ней внимание лингвистов. Русские издания Грамматики несколько запоздали по сравнению с пиком интереса к ней на Западе, но в то же время прошедшие два с лишним десятилетия показали, что внимание к труду А. Арно и К. Лансло было не случайным. Русские переводы помогут нашему читателю отказаться от предрассудков, все еще связанных с представлениями о «Грамматике Пор-Рояля», и почерпнуть из нее актуальные для нашего времени идеи. И можно только поблагодарить переводчиков и авторов предисловий за осуществленный на высоком научном уровне полезный труд.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля / Общ. ред. с вступ. ст. Степанова Ю. С. М., 1990.
2. Грамматика Пор-Рояля / Отв. ред. Маслов Ю. С. Л., 1991.
3. *Lakoff R.* // *Language*. 1969. V. 45. № 2. Rec.; *Grammaire générale et raisonnée* / Ed. by Brekle H. E. 1—2. Stuttgart, 1966.
4. *Borodina M. A.* *Zagandienia logiki i gramatyki w Grammaire générale et raisonnée Port-Royalu* // *Kwartalnik neofilologiczny*. 1959. T. VI. № 3. S. 236.
5. *Chomsky L.* *Cartesian linguistics. A chapter in the history of rationalist thought*. N. Y.; L. 1966.
6. *Chomsky N.* *Language and mind*. N. Y.; L., 1968.
7. *Хомский Н.* *Язык и мышление*. М., 1972.
8. *Aarsleff H.* *The history of linguistics and professor Chomsky* // *Language*. 1970. V. 46. № 3.
9. *Breckle H. E.* // *Linguistics*. 1969. V. 49. Rec.; *Chomsky N.* *Cartesian linguistics. A chapter in the history of rationalist thought*. N. Y.; L., 1966.
10. *Зевгинцев В. А.* *Предисловие* // *Хомский Н.* *Язык и мышление*. М., 1972.
11. *Mathiesen R.* // *Language*. 1970. V. 46. № 1. Rec.; *Arnault A., Lancelot C.* *Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal* / Ed. by Brekle H. P. 1—2. Stuttgart, 1966; Rec.: *Grammaire générale et raisonnée. 1660* by Lancelot C. and Arnault A. Menston 1967; Rec.: *A general and rational grammar. 1753* by Lancelot C. and Arnault A. / Transl. by Nigent T. Menston, 1968; Rec.: *Grammaire générale et raisonnée de Port-*

² Речь идет о дословной передаче древнеяпонской синтаксической конструкции

Royal. Réimpression de l'édition de Paris 1846. Genève, 1968; Rec.: Oeuvre de Messire A. Arnault 1—43. Bruxelles, 1964—1967.

12. *Robins R. H.* A short history of linguistics. Bloomington; London, 1968.
13. *Алпатов В. М.* О сопоставительном изучении лингвистических традиций (К постановке проблемы) // ВЯ. 1990. № 2.
14. *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958.
15. *Иванов А. И., Поливанов Е. Д.* Грамматика современного китайского языка. М., 1930.
16. *Robins R. H.* Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe with particular reference to modern linguistic doctrine. L., 1951.
17. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
18. *Бокадорова Н. Ю.* Французская лингвистическая традиция XVIII — начала XIX века. Структура знания о языке. М., 1987.
19. *Холодович А. А.* Некоторые вопросы управления в японском языке. Вопросы японского языка. М., 1971. С. 132.
20. *Леонтьев А. А.* Фиктивность «семантического критерия» при определении частей речи // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1965. С. 34.
21. Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985

© 1992 г. КРИВОНОСОВ А. Т.

МЫШЛЕНИЕ — БЕЗ ЯЗЫКА?

ЭКОНОМИЯ ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИИ — ЗАКОН ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ

1. Проблема связи абстрактного, логического мышления с формами естественного языка принадлежит к так называемым «вечным вопросам» языкознания. Л. В. Щерба писал в этой связи: «Я з о в у наблюдать и изучать те связи, которые существуют между всевозможными и тончайшими оттенками мысли и чувства и знаками, их выражающими» [1]. Некоторые философы и лингвисты никогда не сомневались в том, что мышление не может существовать вне форм языка. «Одна из черт м а т е р и а л и с т и ч е с к о г о (разрядка наша.— К. А.) подхода к языку — признание единства языка и мышления» [2]. В. З. Панфилов пишет, что понятийное мышление «... не может протекать в н е и п о м и м о е с т е с т в е н н о г о языка или других знаковых систем, язык и мышление н е о т д е л и м ы друг от друга как в своем возникновении, так и в своем существовании — таковы те основные принципиальные моменты, которые являются исходными при решении проблемы о характере взаимоотношения языка и мышления или отдельных ее частных аспектов с позиций д и а л е к т и ч е с к о г о м а т е р и а л и з м а» (разрядка наша.— К. А.) [3, с. 16]. В названных работах единственный аргумент в пользу неизбежности мышления в формах языка состоит в том, что этот тезис лишь декларируется как «материалистический» подход к языку, в правильности которого никому не позволено сомневаться. Существует и другая аргументация. Например, Д. П. Горский пишет, что «мысль, к а к и з в е с т н о (разрядка наша.— К. А.), находится в неразрывной связи с языком. И процесс формирования мыслей, и процесс оперирования готовыми мыслями невозможен без языка» [4]. Метод эмпирического анализа подменяется здесь методом априорного утверждения далеко не бесспорного мнения («как известно»). Г. В. Колшанский избрал иной путь доказательства «неразрывной» связи мышления и языка: идеальность мышления означает лишь его вторичность, но отнюдь не «нематериальность» и «несуществование»; именно его материальное существование и есть не что иное, как его вербальное существование [5, с. 21]. Следовательно, материальность мышления, по теории Г. В. Колшанского, проявляется только в языке и нигде более, как будто сам язык есть мыслящий субъект, мыслящий мозг, в котором осуществляется мышление. Тем самым язык был отождествлен с человеческим мозгом, был превращен в субъект мышления и познания. Неудивительно, что главное доказательство в пользу только вербального мышления у Г. В. Колшанского сводится к следующему: «... все мыслительные операции, получающие я з ы к о в о е выражение, проходит на понятийном уровне, что свидетельствует об их в е р б а л ь н о м характере» (разрядка наша.— К. А.) [5, с. 24]. В этом тезисе «вербальный» характер мышления доказывается на основании мыслительных операций, получающих «языковое» выражение, т. е. доказывается то же посредством того же: в основе этого «доказательства» лежит логическая ошибка *circulus vitiosus* («порочного круга»).

Как видим, в вопросе о соотношении мышления и языка некоторые философы и лингвисты не опираются на конкретный анализ грамматико-семантической структуры языков и как следствие этого решают философские вопросы соотношения мышления и языка чисто умозрительно. Идя в своем анализе от языка к мышлению, мы обязаны констатировать: в языке всегда отражается мышление. Однако это реляционное суждение не является симметричным, как, например, суждение «Иван — родственник Петра», следовательно, «Петр — родственник Ивана». Поэтому суждение «в языке всегда отражается мышление» как несимметричное не может быть преобразовано в суждение «мышление всегда осуществляется в формах языка». Из несимметричного суждения «в языке всегда отражается мышление» нельзя сделать вывод ни о том, что «мышление всегда вербально», ни о том, что «мышление всегда невербально» [6, с. 90]. Таким образом, некоторые философы и лингвисты рассматривают проблему соотношения мышления и языка слишком декларативно, допуская логическую ошибку *petitio principii* (вывод из положения, которое само требует доказательства). Здесь необходим только эксперимент.

Среди отечественных и зарубежных лингвистов наибольшая заслуга в изучении взаимоотношения мышления и языка принадлежит В. З. Панфилову, в работах которого эта сложнейшая проблема исследуется в самых различных аспектах. Однако при анализе работ В. З. Панфилова мы обнаружили, что его тонкий лингвистический анализ языковых фактов не всегда подтверждает его же априорный тезис о «неразрывной» связи мышления и языка. Покажем это на основе его а) анализа структуры одночленных предложений, б) сопоставления двух типов логической структуры одного и того же предложения, в) теории предикативности.

а) По мнению В. З. Панфилова, в одночленных фразах мы имеем дело с «бессубъектными суждениями», так как в самом акте данной конкретной мысли, выраженной соответствующим предложением (*Пожар!*, *Светает. Вечер. Тишина.*), нет субъекта суждения [3, с. 158]. «Бессубъектное суждение» В. З. Панфилов не подводит под категорию обычных суждений, а считает его «одночленом» и аргументирует это тем, что оно не может быть включено в силлогистические дедуктивные умозаключения, которые строятся только на основе суждений с субъектно-предикатной структурой. Однако факты языка и логики не подтверждают мнение В. З. Панфилова о том, что «одночлены» не могут быть одним из суждений силлогистического умозаключения, и, следовательно, о том, что одночленное предложение не выражает субъектно-предикатного суждения. Например, в предложении *Пожар!* есть субъект суждения (он выделен курсивом): «*То, что я сейчас вижу*, это — пожар!» Однако он представлен не в языке, а в нашем непосредственном восприятии, т. е. в чувственном мышлении (в первой сигнальной системе) как непосредственное отражение мозгом реальной действительности. Но если в чувственном мышлении, — значит, и в абстрактном, логическом мышлении (во второй сигнальной системе), потому что наше чувственное восприятие сразу же становится фактом нашего сознания. Сам процесс коммуникации подразумевает элиминацию таких языковых форм, которые отражают вещи или явления, находящиеся в поле непосредственного ощущения, но которые, будучи «пересажены» в человеческий мозг и преобразованными в нем идеально, соприкасаются в форме логических понятий, не отягощенных языковой материей. В. И. Ленин пишет: «... Ощущение есть действительно непосредственная связь сознания с внешним миром, есть п р е в р а щ е н и е (разрядка наша. — К. А.) энергии внешнего раздражения в факт сознания» [7]. Поэтому одночленное предложение типа *Пожар!* благодаря восстановленному субъекту суждения «*То, что я сейчас вижу...*» (см. выше) имеет субъектно-предикатную структуру и может быть включено в логи-

ческий силлогизм: «Все люди, видящие пожар, должны вызвать пожарников. То, что я сейчас вижу, — это пожар. Я должен вызвать пожарников». Логика оперирует только правильными двусторонними схемами логических суждений, для нее, как указывает А. С. Мельничук, «неполные» суждения не соответствуют логическому суждению. Логика должна подвести его под двусоставную схему, дополнить субъект «из обстановки», который имеется в сознании, превратив его в понятие, способное выполнять роль субъекта в логическом суждении [8, с. 10—11]. Значит, в одночленных предложениях типа *Пожар!* непосредственное восприятие субъекта суждения реализуется в форме *б е с л о в е с н о г о* логического мышления¹.

б) В. З. Панфилов различает два уровня структуры суждения как формы мысли: в качестве второго уровня он различает субъектно-предикатную структуру, обусловленную субъективной стороной познавательной деятельности человеческого мышления, структуру, являющуюся *о б я з а т е л ь н ы м* компонентом познавательного процесса [10, с. 130]. Эта структура суждения состоит из двух центров — логического субъекта и логического предиката и присуща только полным, двусоставным предложениям, т. е. только предложениям с явным логическим субъектом и логическим предикатом [10, с. 126]. Если это так, то одночленные предложения (по В. З. Панфилову, «одночлены») не должны отражать мышления, не должны участвовать в познавательной деятельности человеческого мозга. Это, однако, не может быть подтверждено реальным функционированием языка: одночленные предложения наравне со всеми другими типами предложений суть инструменты познавательной деятельности человека. Субъективная сторона познавательного процесса является обязательным компонентом субъектно-предикатной структуры предложения, поэтому эта логическая структура должна иметь два центра: «в сознании фиксируется наличие или отсутствие у определенного *о б ь е к т а* (логического субъекта.— *К. А.*) некоторого *п р и з н а к а* (логического предиката.— *К. А.*)» [6, с. 75]. Таким образом, рассмотрение одночленных предложений как равноправного средства познавательного процесса человека заставляет признать их суждениями, а это неизбежно ведет к их восприятию в качестве суждений с субъектно-предикатной структурой. Но так как в таких предложениях логический субъект формально отсутствует, то и с этих позиций мы должны признать его «безъязыковое» существование, существование только «в мысли».

в) Анализируя понятие предикативности, развиваемое В. З. Панфиловым, мы можем построить следующий силлогизм, приводящий нас к тем же результатам, — к отрицанию «неразрывной» связи мышления и языка. Предикативность, по мнению В. З. Панфилова [10, с. 152—154], — это акт отнесения содержания предложения к действительности, т. е. это такой признак предложения, благодаря которому предложение есть относительно законченный акт высказывания о действительности. Этот акт отнесения содержания предложения к действительности включается в субъективную сторону познавательного процесса. А субъективный познавательный процесс осуществляется в субъектно-предикатной структуре предложения через субъектно-предикатное суждение. Предикативность, по мнению В. З. Панфилова, свойственна всем типам предложений, в том числе и односоставным, одночленным, бессубъектным и т. д. Следовательно, мы должны прийти к выводу: односоставные, бессубъектные одночлен-

¹ П. В. Копнин пишет: «...субъект может быть понят из ситуации, а это означает, что в мысли он обязательно есть (иначе не может состояться суждение) и выражается определенными, общепонятными средствами (разрядка наша. — *К. А.*)» [9, с. 340].

ные типы предложений, участвующие в процессе предикативности как акте соотношения мысли с действительностью, включаются в субъективную сторону познавательного процесса, т. е. должны иметь субъектно-предикатную структуру. Но в связи с тем, что в этих предложениях представлен лишь предикат суждения, эксплицитно выраженный в языке, он должен связываться в предикативном отношении с однородным, однопорядковым термином — логическим субъектом. Поскольку же предикат суждения в языке не выражен, значит, он «держится» в уме как само собою разумеющееся понятие. Следовательно, в некоторых структурных типах предложений, как об этом свидетельствует теория предикативности предложения, не избежи и пропуск того, что для слушающего и говорящего очевидно, но что остается лишь в мысли, а не в языке.

II. Как показал Л. С. Выготский [11], мышление и речь имеют в онтогенезе различные корни. В развитии речи ребенка он констатирует «доинтеллектуальную стадию», а в развитии мышления — «доречевую стадию»². До определенного момента то и другое развитие идет по разным линиям, независимо одно от другого. В известном пункте (в возрасте двух лет) обе линии пересекаются, после чего мышление становится речевым, а речь — интеллектуальной [14, с. 162]. С этого же момента, по мере роста языкового автоматизма, линии развития мышления и языка расходятся. Известный советский психолог А. Р. Лурия пишет, что при высоко развитом мышлении «... кодирование речевого сообщения проходит сложный путь от мысли к развернутому высказыванию. Он начинается с возникновением мотива (разрядка наша. — К. А.), рождающего потребность что-то передать другому человеку; эта потребность воплощается в замысле, или мысли, которая представляет собой лишь самую общую схему сообщения. С помощью механизма внутренней речи мысль и ее семантическое представление перекодируются в глубинно-синтаксическую структуру будущего высказывания, которая далее превращается в поверхностно-синтаксическую структуру и, наконец, в линейно упорядоченное развернутое высказывание» [15]. Многие советские и зарубежные психологи и лингвисты пришли к выводу о структурном несоответствии между кодовыми системами мышления и внешней речи. Эти работы, как пишет Н. И. Горелов, «... представляются предельно четким выражением идеи не вербальности собственно мыслительного процесса» [16, с. 37].

III. Если возможность невербального мышления заложена в самой природе человеческого мозга, то это свойство мозга не может не отразиться и действительно отражается в структуре языковых построений (в тексте). Мысль о возможности невербального мышления возникла в языкознании в связи с изучением разного рода эллиптических, одночленных, односоставных предложений и в связи с проблемой «подтекста». Отметим, что и полные, распространенные предложения содержат в себе смыслы, непосредственно не представленные в единицах этих предложений. Простое распространенное предложение может быть порождено рядом самостоятельных предложений, т. е. является трансформом нескольких предложений с такой глубинной структурой, которая представляет собой «спрессованный» вариант нескольких предложений: они выступают лишь

² Н. И. Жинкин пишет: «Смысл... начинает формироваться до (разрядка наша. — К. А.) языка и речи. Надо видеть вещи, двигаться среди них, слушать, осязать — словом, накапливать в памяти всю сенсорную информацию, которая поступает в анализаторы. ... Уже язык „язык“ вестественно повятен ребенку и принимается универсальным предметным кодом» [12, с. 83]. Попытка моделирования процессов построения естественного дискурса приводит к убеждению, что наиболее существенный компонент синтеза — это мыслительный компонент. и р е д ш е с т в у ю щ и й собственно вербальной деятельности [13, с. 61].

в «свернутом виде» в качестве второстепенных членов данного предложения. Например, простое распространенное предложение *При посадке в Ереване потерпел аварию транспортный самолет* представляет собой редуцированный вариант четырех простых нераспространенных предложений (пропозиций): 1) *Самолет прилетел в Ереван.* 2) *Самолет — транспортный.* 3) *Самолет потерпел аварию.* 4) *Это случилось при посадке.* Из итогового трансформации «выпали» следующие, содержащиеся в нем в свернутом виде суждения (пропозиции): 1) Нечто прилетело. 2) Это был самолет. 3) Это был самолет. 4) Это случилось (эти исходные пропозиции не выделены курсивом). А выделенные курсивом слова составляют итоговое предложение, трансформации: *самолет... в Ереван, транспортный, потерпел аварию, при посадке.* Происходит превращение исходных предложений в отдельные члены трансформации путем устранения из них повторяющихся или само собой разумеющихся, т. е. излишних для человеческого мышления элементов (см. выше). В первом исходном предложении элиминируется слово «прилетел» на основе очевидного следствия из логического силлогизма (modus Barbara): (1) «Всякий самолет, терпящий аварию при посадке, откуда-то должен прилететь. (2) Этот самолет потерпел аварию. (3) Он откуда-то прилетел»³. Во втором и третьем исходных предложениях, легших в основу трансформации, элиминируется слово «самолет», т. к. оно уже упоминалось в первом исходном предложении. В четвертом исходном предложении элиминировано целое суждение «Это произошло» также на основе заключения логического силлогизма (modus ponens): (1) Если происходит авария, то об этом факте можно сказать, что нечто случилось. (2) Авария произошла. (3) Нечто случилось. Возможность выражать простые суждения путем их свертывания в виде второстепенных членов предложения можно объяснить законами мышления, памяти и как следствие этого — существующими в логике сокращенными умозаключениями (энтимемами). В естественном языке эти законы мышления оборачиваются законами экономии языковой материи, законами лаконизации языковых средств, согласно которым в языке (в тексте) элиминируются только те знания, которые выступают как «общий фонд знаний» говорящего и слушающего, как «само собой разумеющееся», как вытекающее автоматически из эксплицитно выраженного⁴. С этими свойствами человеческого мышления связано такое широко распространенное явление в языке, которое в современном языкознании именуются «пресуппозицией» («презумпцией»), входящей в семантику предложения как фонд общих знаний собеседников, как их «предварительный договор»: в предложениях избылуют такие смысловые компоненты, которые сами по себе могут составлять предложения (предикации, пропозиции)⁵.

Некоторые сторонники «лингвистики текста» пишут о том, что одно из основных свойств текста проявляется в «компрессии информации». О. И. Москальская приводит пример, когда одно предложение может со-

³ Цифры в скобках обозначают: (1) — большую посылку силлогизма, (2) — меньшую посылку силлогизма, (3) — заключение силлогизма.

⁴ Например, А. А. Брудный пишет, что при чтении текста у читающего подразумеваются знания двойного рода: а) опущены сведения, которые предполагаются известными читателю; б) читатель находит второй слой семантического значения, о существовании которого он судит по специфическому способу изображения первого, внешнего слоя [17, с. 155—156]. К. А. Долинин различает подтекст референциальный и коммуникативный, т. е. знания о мире должны быть дополнены знаниями о речи [18, с. 38, 45—46].

⁵ Например, Т. М. Николаева сформулировала тенденцию языкового развития («язык стремится к передаче все большего количества информации в единицу времени»), которая осуществляется двумя способами: а) компрессией и б) суперсегментацией. Компрессия — это «уменьшение числа значимых единиц в пределах большей единицы», «это все больший отход от близкого к иконичности прагматического кода», «суперсегментностью на содержательном уровне являются п р е с у п о з и ц и и» (разрядка наша. — К. А.) [19].

держат четыре пропозиции, а предложно-именной оборот — три (это предложение и этот оборот О. И. Москальская развертывает в указанное количество пропозиций) [20]. На самом же деле в исходных примерах, приводимых О. И. Москальской, нет никакой «компрессии информации», а есть лишь «компрессия языковой формы» (номинализация, свертывание структур). Если бы мы действительно имели дело с «компрессией информации», которую надо понимать как «редукцию», «элиминацию» некоторой информации, мы бы не смогли увидеть в исходных синтаксических построениях соответственно ни четырех, ни трех пропозиций: эти пропозиции уже существуют в исходных синтаксических построениях (предложениях) в виде номинализации и свернутых структур. Поэтому они сохранились и в серии развернутых предложений, но в более полной, эксплицитной, т. е. субъектно-предикатной форме (подлежащее — сказуемое — второстепенные члены). Произошло лишь восстановление языковой формы выражения пропозиции. Следовательно, мы наблюдаем здесь не компрессию информации, мысли, а компрессию языковой формы ее выражения, т. е. компрессию текста. Человеческое сознание обладает таким свойством, что любая мысль не привязана «наглухо» к одной какой-либо языковой форме: для выражения мыслей, в том числе и сложных мыслей, для их идентификации достаточно самой минимальной языковой формы, чтобы «оживить» или выразить всю мысль в целом. Если все преднамеренно свернутые «тупиковые» информации (в том числе и в целях художественного описания) преобразовать в обычные субъектно-предикатные пропозиции, то мы не получим художественного произведения (и даже научного текста). Объем текста значительно возрастет, приобретет монотонную форму, будет однообразным в синтаксических построениях. Свертывание пропозиций надо связывать не с компрессией информации, а со стремлением к краткости языковой формы, разнообразию синтаксических построений, со стремлением избежать однообразия. Число предложений в тексте всегда меньше их пропозициональных содержаний. Поэтому явление компрессии, уплотнения вербального состава текста (*Verdichtung*) — одна из сущностных характеристик текста.

Надо особо подчеркнуть, что текст — это не только линейное следование предложений, но и линейное следование свернутых пропозиций. Если раньше мы полагали, что только в видимых и слышимых формах языка реализуется мышление, то сейчас должны признать, что мышление реализуется не только непосредственно в формах языка, но и опосредованно, косвенно, «между строк», между строго определенными словами и строго определенными предложениями. Существуют как бы два «этажа» текста: мысль, выраженная явно, и мысль, выраженная неявно. Отсюда понятно, почему в последние годы столь пристальный интерес лингвистов обращен к когнитивной лингвистике, к лингвистике смыслов. В этом плане особого внимания заслуживает книга Ю. Н. Караулова, который доказал, что даже в небольшом фрагменте текста между двумя репликами «...объем информации достаточно велик — именно за счет использования средств языка мысли, т. е. промежуточного языка» [21, с. 195], который «...выступает посредником между биологическими, имеющими физико-химическую природу, языками мозга, т. е. языками взаимодействия нейронов, и артикулируемым человеческим языком» [21, с. 9]. Исследовав типы элементов промежуточного языка, Ю. Н. Караулов пришел к выводу, что нельзя «...говорить о знаковости этих единиц, единиц языка мысли. ...Знак отливается в свою чеканную форму, становится знаком, только выйдя из промежуточного языка во внешнюю речь...» [21, с. 208]. Отсюда мы можем заключить, что знак шире того, что он обозначает, если он вступает в связь с другими, но строго определенными знаками. Знак как бы проецирует в тексте дополнительную информацию, явно в знаке не выра-

женную. Сознание, таким образом, «...оперирует крупными блоками информации, лишенными... всяких признаков знаковости и являющимися уже не единицами в собственном смысле слова, а скорее процессами» [21, с. 182]. Эти вопросы внутреннего свертывания некоторых блоков мысли в речевой цепи еще раньше и в несколько ином контексте рассматривались в работах некоторых отечественных лингвистов. Л. П. Якубинский писал, что наше понимание чужой речи апперцепционно: оно определяется не только внешним речевым раздражением, но и всем нашим внутренним и внешним опытом. Мы тем легче понимаем и воспринимаем чужую речь в разговоре, чем больше общность нашей апперцепционной массы с апперцепционной массой нашего собеседника [22]. Вот что писал, например, Е. Д. Поливанов: «...в сущности все, что мы говорим, нуждается в слушателе, понимающем „в чем дело“. Если бы все, что мы желаем высказать, заключалось бы в формальных значениях употребленных нами слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в действительности. Мы говорим только необходимыми намеками» (разрядка наша. — К. А.) [23].

IV. Последняя фраза Е. Д. Поливанова («Мы говорим только необходимыми намеками») во всей полноте подтвердилась экспериментально при анализе текста, написанного на немецком языке [24]. Неожиданно было обнаружено очень большое количество умозаключений в естественном языке, представленных в художественной прозе: 1943 умозаключения на 400 страницах, т. е. в среднем 5 умозаключений на одну страницу художественного текста! Это значит, что человек мыслит не только суждениями, связанными друг с другом «цепочечной» связью, но и в значительной степени такими предложениями, которые вступают друг с другом в иерархическую семантическую и в конечном счете — логическую связь, образуя более сложные, по сравнению с суждениями, формы мысли — умозаключения⁶. Но еще более неожиданным оказалось следующее, более важное обстоятельство: говорящий (пишущий), строя логические умозаключения в формах естественного языка, делает это только в сокращенной форме — в форме энтимем⁷.

Если теперь поставить вопрос о том, что же в естественном языке закономерно и регулярно элиминируется, то мы приходим к выводу: совершенно определенные фрагменты тех синтаксических построений, которые выражают большую посылку логического силлогизма. Вот, например, некоторые энтимемы, выраженные в формах русского языка⁸. Модус *Barbara*: (3) Он говорил зычно, (2) *так как* был туговат на ухо

⁶ Соотношение количества «текста», представленного отдельными суждениями-образующими умозаключений, и суждениями, образующими умозаключения, таково — 62% : 38%. Ю. Н. Караулов верно подчеркнул эту закономерность естественного языка, заметив, что в авербально-тезаурусной сети (в языке мысли, в промежуточном языке) «...преобладают не прямые отношения, выводные знания и импликация (если *a*, то *b*) и вероятностные зависимости» (разрядка наша. — К. А.) [21, с. 173]. Формулы как единицы языка мысли являют собой «...определенную логическую структуру, рамку зависимостей... формула связывает друг с другом причину следствия, условия и результат, посылку и вывод» (разрядка наша. — К. А.) [21, с. 203—204].

⁷ Например, В. Ф. Асмус считает, что «в повседневном мышлении далеко не всегда необходимо воспроизводить в мысли и выражать в речи все звенья доказательства» [25]. Экспериментальные исследования позволили психологам также установить, что свертывание речевых высказываний происходит за счет выпадения достаточно усвоенных общих положений по типу логических энтимем [26, с. 65—66, 101]. «Свернутые умозаключения... ускоряют максимально выполнение всех мыслительных операций» (разрядка наша. — К. А.) [27].

⁸ Элиминированное суждение в силлогизме, т. е. большая посылка, берется в квадратные скобки, знак → обозначает перевод синтаксической конструкции на язык силлогистики.

(М. Шолохов) — (1) [Все туговатые на ухо говорят зычно]. (2) Он был туговат на ухо. (3) Он говорил зычно. Модус Celarent: (3) Глаз *не* было видно. (2) *потому что* он их все время держал опущенными (А. Куприн) → (1) [Глаз, которые опущены, *не* видно]. (2) Его глаза были опущены. (3) Его глаз *не* было видно. Модус Camestres: (3) *Оттого* нам *не* весело и смотрим мы на жизнь так мрачно, (2) *что не* знаем труда (А. Чехов) → (1) [Весело всем, кто знает труд]. (2) Мы *не* знаем труда. (3) Нам *не* весело⁹.

Любой правильно построенный простой категорический силлогизм (кроме непосредственного умозаключения) всегда состоит из трех суждений, т. е. логические исчисления невозможны, если отсутствует хотя бы одно звено в этой цепи. В естественном, тем более в разговорном языке одно логическое звено (большая посылка) всегда отсутствует. И тем не менее любая энтимема, выраженная формами естественного языка, строится по правилам одного из модусов, т. к. логическая связь в энтимеме между меньшей посылкой и заключением осуществляется в мозгу неосознанно, а priori, автоматически, вне языковой опоры, без внутреннего «проговаривания», как связь между двумя посылками и заключением, т. е. так, как будто общая, большая посылка выражена в языке de facto. Однако логическая форма умозаключения, как бы она ни была выражена в естественном языке, не может нарушаться. Иначе «исчезает» мысль (умозаключение) и, следовательно, нарушается взаимопонимание. Это происходит именно в силу свойства человеческого мозга — способности сохранять опущенное суждение без языковой опоры, «незримо» для точных физических приборов, но совершенно «зримо» для собеседника (читателя), владеющего тем же естественным языком. Следовательно, умозаключение, выраженное в формах естественного языка, есть такая языковая форма логической формы, т. е. такая «форма формы», в которой остается лишь основной и необходимый костяк, несущий в себе основу умозаключения. Эта «форма формы» ведет автоматически к осознанию, а значит — к неосознаваемому подразумеванию опущенной большей посылки силлогизма. Тем самым «форма формы» представляет в сознании все умозаключение. Основой всего умозаключения служит связь меньшей посылки и заключения, в которых содержатся уже все три термина (S — субъект, P — предикат, M — средний термин), обязательно наличествующие в каждом полном силлогизме. Меньшая посылка и заключение и являются, собственно, тем достаточным языковым основанием для элиминации большей посылки, в которой нет новых терминов (понятий), отличных от терминов меньшей посылки и заключения.

Большая посылка	M—P: [«Все <i>туговатые</i> на ухо (M) — говорят зычно»] (P)
Меньшая посылка	S—M: «Он (S) — был <i>туговат</i> на ухо» (M)
Заключение	S—P: «Он (S) — говорил зычно» (P)

В речи можно изъять тот отрезок, который выражает, например, большую посылку силлогизма (возможны изъятия и меньшей посылки, и заключения), которая, однако, не изымается из мысли, потому что простой категорический силлогизм — это законченная сложная трехчленная мысль (три суждения), каждый член которой поддерживается двумя остальными и находится с ними в логической связи по определенным логическим правилам. Только на фоне двух других суждений можно восстановить третье: большая посылка восстанавливается тогда, когда есть меньшая посылка и заключение, уже содержащие в себе те термины, которые «воссоздают» большую посылку. Поэтому можно утверждать, что имплицитный смысл,

⁹ Здесь показаны лишь простейшие случаи выражения силлогизмов — с помощью формальных маркеров (в данном случае — причинных союзов).

непосредственно не представленный в формах языка (в форме большей посылки), косвенно все же заложен в самой форме языка. И в этом смысле можно говорить о том, что элиминированное общее суждение в функции большей посылки имеет косвенную языковую форму выражения. Дело в том, что та мысль, которая *ad hoc* «пробуждена» в мозгу, хотя и неосознанно, не может не иметь хоть какую-нибудь форму выражения в языке. Мысль скрытая, имплицитная, материально не выраженная в физически воспринимаемых звуках (символах, знаках), присутствует только тогда, когда для нее существует соответствующая форма, представленная в данном случае не прямо, а косвенно, через взаимодействие других форм — двух семантически связанных предложений, оформленных или как два самостоятельных предложения, или как одно сложное предложение (в нашем примере), или как одно простое предложение, в котором взаимодействуют два семантически связанных члена предложения, образуя логическую энтимему. В этом смысле можно изъять лишь непосредственно осязаемую языковую материю, но не самый процесс протекания мысли у говорящего (пишущего) в каких-то потенциалах мозга, т. е. в какой-то материальной форме, скрытой от прямого наблюдения. Любое предложение в тексте по смыслу больше, чем это предполагает его языковая форма. Таким образом, соотношение текста с процессом мышления можно представить в виде языковой формы этого текста вместе с «невостребованным» в тексте смыслом «между строк». «Текст... отличается ... определенными типами деформации относительно нормы. Эти деформации мы называем „невербальными следами“, так как последние локализируются в тех местах, где вербальные компоненты как бы замещаются невербальными» [16, с. 70].

Если бы существовало «осознаваемое подразумевание» большей посылки, то мы должны были бы прийти к выводу, что сокращенные умозаключения (энтимемы) существовать не могут (это противоречило бы всей логике), что все элементы сознания должны лежать на поверхности сознания, должны быть проговариваемыми. Мы интуитивно чувствуем перегруженность фразы из-за присутствия большей посылки силлогизма (в приводимых ниже примерах она дана курсивом): *«Все туговатые на ухо говорят зычно. Он говорил зычно, так как был туговат на ухо; Весело всем тем, кто знает труд. Оттого нам не весело и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда»*. Если бы существовало «осознаваемое подразумевание», то отпала бы и надобность в различении сознания и подсознания)¹⁰, являющихся главным объектом исследования в психологии, и надобность в различении энтимем и полных силлогизмов, являющихся объектом исследования в логике. Если бы мысли всегда присутствовали на поверхности сознания, были осознаваемыми, во внутренней речи всегда «проговариваемыми» и никогда бы не присутствовали в подсознании, то наука о мышлении была бы предельно простой наукой и все ее загадки были бы давно разгаданы. Выявить отсутствующую в формах языка мысль (суждение) экспериментально, на данной ступени развития физиологии мозга можно, по-видимому, только путем постановки вопроса относительно отсутствующей большей посылки силлогизма к тому, кто ее опускает: «Значит, вы полагаете, что все туговатые на ухо говорят зычно?» (см. выше умозаключение модуса *Barbara*); «Значит, вы полагаете, что глаз, которые опущены, нельзя видеть?» (см. выше умозаключение модуса *Celarent*); «Значит, вы полагаете, что весело всем тем, кто знает труд?» (см. выше умозаключение

¹⁰ «Проблема соотношения осознаваемого и неосознаваемого является в психологии одной из важнейших» [28]. Под неосознаваемым понимают «способность к неосознаваемой переработке информации, происходящей так, что субъекту становится известным (осознается им) только конечный ее результат, в то время как процесс этой переработки совершается частично или даже полностью неосознанным образом» [29].

модуса *Camestres*). Как справедливо пишет В. Н. Мороз, на этот вопрос (у него другой, но аналогичный для большей посылки силлогизма: «Значит, вы полагаете, что все металлы электропроводны?») обязательно последует утвердительный ответ [30, с. 16—17]. Все это может свидетельствовать только об одном: существует неосознаваемое подразумевание (в данном случае — большей посылки силлогизма), причем оно встречается не только в предложениях, репрезентирующих логические силлогизмы, но и в любом предложении (см. выше анализ предложения: *При посадке в Ереване потерпел аварию транспортный самолет*).

Наличие свернутых силлогизмов в повседневном мышлении — лучшее подтверждение того, что процесс мышления не связан «наглухо» с языком. Некоторые психологи провели логический эксперимент и показали, что как в научном, так и в повседневном мышлении человека наличествует процесс невербального мышления, т. е. пришли к тому же, что и мы в логико-лингвистическом эксперименте. Например, когда испытуемый говорит в физическом эксперименте, что размеры пламени зависят от длины фитиля, то в этом предложении заданы все элементы соответствующего силлогизма: обе посылки и вывод. Здесь в рассуждениях испытуемого «...частное и общее сомкнулись в силлогизме» [31, с. 83]. «Любые силлогизмы не чисто внешне присоединяются к живому мыслительному процессу, а в нем самом (разрядка наша. — К. А.) имеются внутренние предпосылки для их построения...» [31, с. 137].

Необходимо подчеркнуть, что элиминированная мысль в форме большей посылки во «внутренней речи» никогда не проговаривается, и, следовательно, скрытые артикуляции не могут быть зарегистрированы никакими современными приборами. При употреблении языковых форм, выражающих логические энтимемы, мы как бы «перескакиваем» через опущенные, но строго определенные мысли (суждения) как через само собой разумеющееся, причем мы субъективно не ощущаем никаких мыслительных «следов» в мозгу. Если они и будут когда-либо зарегистрированы точными приборами (может ли прибор зафиксировать свертывание пропозиций в члены предложения или, например, обнаружить, что опущен логический субъект, или зафиксировать опущенную большую посылку силлогизма?), то, по-видимому, только тот материальный процесс, те химические и электрические потенциалы мозга, которые эквивалентны опущенной в языке мысли, отражающей большую посылку силлогизма. Элиминированные в энтимеме мысли не витают в безвоздушном пространстве, а, являясь функцией мозга, присутствуют только в мозгу в какой-то, пока для науки не известной, материальной форме. Допустить же, что элиминированная мысль в форме большей посылки «проговаривается» во внутренней речи и, следовательно, может быть зарегистрирована точными приборами, совершенно неправдоподобно¹¹, ибо такое понимание взаимодействия мыш-

¹¹ Реальность невербального мышления и отсутствие какого бы то ни было «проговаривания» про себя можно проиллюстрировать путем решения простейшей математической задачи. «Три ученика А, В, С сдают последовательно экзамены. На каждом экзамене ученик, сдавший лучше всех, получает n_1 очков, второй — n_2 очков, а сдавший хуже всех — n_3 очков (n_1, n_2, n_3 — натуральные числа). После всех экзаменов А набрал 22 очка, В и С — по 9 очков, причем В был лучшим их всех по алгебре. Кто был вторым по литературе?» [32]. Это типичная математическая задача, для решения которой не требуется каких-либо специальных знаний. Ознакомление с условиями задачи может вызвать недоумение, основанное на впечатлении, что данных для решения этой задачи мало. На самом же деле смысленный ученик тут же решит эту задачу, не прибегая к ее экспликации в терминах условно-категорического умозаключения *modus ponens*: «Вторым по литературе был С». Почему? Вот эксплицитное решение этой задачи: 1) Так как речь идет об алгебре и литературе, то ученики должны были сдавать только два экзамена. 2) Ученик А набрал очков больше, чем ученики В и С, вместе взятые. 3) Если В — лучший среди трех учеников по алгебре, то А, набравший больше всех

ления и языка предполагало бы «нагромождение» предложений, усложнение языка, что привело бы к полному нарушению взаимопонимания и к разрушению языка как средства общения. Допустить мысль о наличии «внутреннего проговаривания» значит допустить, что мы постоянно «переключаем» наши речедвигательные и речемыслительные механизмы с внешней речи на внутреннюю и наоборот: вся коммуникация превратилась бы в преодоление сплошных препятствий. Если, далее, учесть, что одно умозаключение следует за другим, одно умозаключение входит в состав другого как его составная часть (ср. логические «эпихейремы»), то даже при титаническом усилии человек не мог бы «про себя» (и тем более вслух) проговорить все элиминированные мысли, не нарушив процесса взаимопонимания. Поэтому лингвист, исследующий логические умозаключения в формах естественного языка, а в более широком плане — экспериментально исследующий взаимоотношение мышления и языка, может сказать, что определенные мысли не нуждаются в языковой экспликации. Другое дело, что элиминированные мысли в какой-то, пока для науки не известной материальной форме воплощаются в естественном языке лишь косвенно, опосредованно, через другие формы языка, о чем мы, собственно, и узнаем по элиминированной большей посылке силлогизма. В двухчленной энтимеме, состоящей из меньшей посылки и заключения, в имплицитной форме присутствуют все три суждения силлогизма, связь между ними осуществляется в мозгу на основе наличных в формах языка трех терминов силлогизма, достаточных для репрезентации полного умозаключения (только они и никакие другие не присутствуют в полном умозаключении). Но как осуществляется эта связь или, точнее, — как выпадает одно из звеньев логической цепи в естественном языке, — это проблема для будущего науки, в частности для нейролингвистики, нейрофизиологии, нейропсихологии. Одно можно лишь с уверенностью утверждать: в естественном языке выкристаллизовались совершенно устойчивые, регулярные модели и стереотипы предложений, которые уже в своей семантико-синтаксической форме отражают эту закономерность человеческого мышления — способность элиминировать некоторые промежуточные мысли, служащие отражением наиболее общих положений, добытых человечеством («общим фондом знаний» собеседников, их «общей апперцепционной массой»). Все это свидетельствует только об одном: логико-лингвистический эксперимент показал, что теория о «неразрывном единстве» мышления и языка — это вчерашний день языкознания. Сегодня необходимо говорить не только о возможности, но и о неизбежности, наряду с языковым, также безъязыкового мышления. Ю. Н. Караулов пишет: «...попытка реконструирования единиц гносеологического уровня... заставляет поставить вопрос о необходимости рассмотрения операции компрессии, информационного сжатия... текста... как естественных лингво-когнитивных преобразований, постоянно осуществляемых человеком в процессе коммуникативно-познавательной деятельности» (разрядка наша. — К. А.) [21, с. 184].

В умозаключениях элиминируются самоочевидные и само собою разумеющиеся, покоящиеся на огромном человеческом опыте и многократно проверенные жизненной практикой общие суждения, которые не доказываются в собственном смысле слова, но тем не менее опираются на рацио-

очков, — лучший по литературе. 4) Если В, набравший одинаковое количество очков с С, — лучший по алгебре, значит С — по отношению к нему лучший по литературе. 5) Если А — лучше всех по литературе, то С — второй по литературе.

нальные и считающиеся достаточными основания ¹². К ним относятся суждения, констатирующие факты, доступные непосредственному, чувственно-му восприятию, разнообразные прагматические критерии. Более того, человеческое мышление столь подвижно, что и эти два суждения, т. е. меньшая посылка и заключение силлогизма, выраженные в форме сложноподчиненного и сложносочиненного предложений, представляющих целое умозаключение, часто свертываются до одного суждения, выраженного простым предложением с второстепенными членами, например: (3) «Алеша побледнел (2) *от испуга*» (Ф. Достоевский) → (1) [Всякий испугавшийся человек бледнеет]. (2) Алеша испугался. (3) Алеша побледнел. Возможность выражать энтимему в простом предложении различных лексико-синтаксических моделей обусловлена синонимическими отношениями между главным и придаточным предложениями, с одной стороны, и определенными категориями членов предложения, с другой. Они связаны с процессом «внутренней» трансформации, «внутреннего» свертывания предложений (resp. суждений) в семантически соответствующие им члены предложения, выступающие в виде логических понятий [34]. Но энтимемы могут быть выражены также словосочетаниями и сложными словами. Понятие, переходящее в умозаключение, в языке реализуется, как правило, словосочетаниями каузального типа, которые «...могут быть по грамматической природе опорного слова глагольными, адъективными, субстантивными; по наличию служебных элементов — предложными, союзными» [35]. Например, нем. *ungeliebt einsam* = *einsam, weil ungeliebt*; *ungeliebt, deshalb einsam*. Полная структура умозаключения: (1) [Ungeliebte Menschen sind einsam]. (2) Der Mann ist ungeliebt. (3) Der Mann ist einsam. Силлогизм может быть выражен также сложными словами (простое слово не дает опоры для экспликации двух терминов, необходимых для энтимемы). Из трех входящих в класс каузальных композитных подклассов (субстантивных, адъективных, глагольных) энтимемы могут быть выражены всеми композитными словами.

Диалектика взаимоперехода форм мышления друг в друга не признает резких границ между понятием, суждением, умозаключением. Способность некоторых сверхфразовых единств, сложных и простых предложений, а также словосочетаний и сложных слов выражать целое умозаключение, которое формально должно состоять из трех суждений, есть проявление законов мышления, осуществляющихся в формах естественного языка и заключающихся в максимальной редукции языковых средств. Недостающую информацию слушатель выводит сам, опираясь на контекст, ситуацию, «общий фонд знаний» говорящего и слушающего. Наличие в тексте «общего фонда знаний» есть такое свойство текста, которое является производным от мышления, сознания, т. е. фактов, находящихся в первую очередь в мозгу человека. Как верно отмечает М. Р. Майенова, взаимопонимание, даже в письменной форме, не может превысить определенную степень эксплицитности [36]; см. также [37]. «Отсюда следует, что построение слушающим естественного языкового вывода требует привлечения экстралингвистических знаний, учета контекста и ситуации, необходимости планирования стратегии взаимодействия участников коммуникации и многое другое. Было бы замечательно, если бы мы имели такую общую модель построения вывода» [38].

Итак, о неизбежности авербального мышления, т. е. процесса, разрывающегося в «черном ящике», говорят ко с в е н н о данные психологии, формальной логики и естественного языка. Тот факт, что умозаключения в естественном языке представлены исключительно в форме сокра-

¹² «...практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, аксиоматический характер именно (я только) в силу этого миллиардного повторения» [33].

ценных силлогизмов, позволяет ставить вопрос о том, что человеческое мышление может осуществляться также вне форм естественного языка, может быть авербальным, что ведет к экономии языковой материи¹³ при полном сохранении мысли. Это значит, что речь всегда сопровождается процессом мышления, но обратное не обязательно: мышление как процесс отражения объективной действительности может осуществляться также вне языковых форм. Следовательно, в споре о возможности или невозможности авербального мышления смешиваются две проблемы: 1) язык всегда выражает мысль в конкретном акте общения и 2) процесс мышления не всегда связан с материей языка. Из обязательности первого неправомочно выводится обязательность второго.

Здесь была сделана попытка показать, что сами формы естественного языка свидетельствуют о неизбежности авербального мышления: эта неизбежность безязыкового мышления была показана на примерах логических силлогизмов. А ведь силлогизмами не исчерпываются возможности авербального мышления. Возникают следующие вопросы: какие мысли формально элиминируются вообще между смежными предложениями, не образующими логических энтимем, какие типы синтаксических построений, словосочетаний, сложных и простых слов [41] несут в себе невыраженные мысли, каково семантическое наполнение этих единиц языка? Как показывает анализ естественных языков, именно в области семантических значений слов¹⁴, словосочетаний, предложений, сверхфразовых единств заложена богатейшая возможность элиминации языковых форм для выражения различных форм мысли. Проблема каталогизации и систематизации косвенных языковых форм для выражения авербального смысла в тексте, для выражения «приращения значения» в самых различных языковых построениях, выявление их структурно-формальной типологии — одна из насущных проблем языковедения. Надо подчеркнуть лишь, что в данном случае речь должна идти не об абсолютном авербальном абстрактном мышлении без обращения к формам языка (такой тип мышления возможен, пожалуй, лишь как познавательное мышление), а о таком авербальном абстрактном мышлении, которое осуществляется косвенно, через другие и предназначенные для других целей формы (такой тип мышления возможен, по-видимому, только как коммуникативное мышление). Вербально-семантический и авербально-тезаурусный уровни организации языковой личности функционируют в тесной связи. Понять какую-нибудь фразу или текст означает «пропустить» их через свой тезаурус, соотнести со своими знаниями и найти соответствующее их содержанию «место» в собственной картине мира [21, с. 172—173]. Особо подчеркивая тот непреложный факт, что между семантикой и познавательным процессом (гносеологией) лежит промежуточный уровень — уровень организации знаний о мире, выраженный в его тезаурусе, промежуточном языке, языке мысли, который не признается некоторыми философами и лингвистами, можно ответить на вопрос, почему эти философы и лингвисты настаивают на «неразрывной» связи мышления и языка: «большинство философов и лингвистов склонны связывать семантический

¹³ «Принцип экономии в языке — одно из частных проявлений инстинкта самосохранения. Это своеобразная реакция против чрезмерной затраты физиологических усилий, против всякого рода неудобств, осложняющих работу памяти, осуществление некоторых функций головного мозга, связанных с производством и восприятием речи. Отрицание принципа экономии в языке равносильно отрицанию всех защитных функций человеческого организма» [39]. Ср. противоположную точку зрения: «...язык не подчиняется „закону экономии“, как не подчиняется ему и сам человек» [40].

¹⁴ Скрытые синтаксические отношения присущи также производным словам. Так, Р. З. Мурысов считает возможным постулировать наличие у последних «внутреннего синтаксиса», под которым понимается не что иное, как внутрисинтагматические отношения, выявляемые при развертывании производных слов в синтаксические структуры (трансформы или перифразы) [42].

уровень непосредственно с гносеологическим, минуя промежуточный язык, язык мысли, рассматривая значения как одновременно языковые и познавательные структуры и аргументируя таким путем связь языка и мышления» (разрядка наша.— К. А.) [21, с. 175]. Как пишет В. З. Панфилов, связь мышления с языком с позиций «философского идеализма» (Ж. Вандриес, Л. Витгенштейн, Б. Рассел) не рассматривается как необходимая и может протекать в чистом виде, без языка [3, с. 16—17]. Однако эмпирические факты психологии, логики и языкознания, напротив, в наши дни совершенно однозначно свидетельствуют о том, что в трактовке возможности невербального мышления «философские идеалисты» гораздо ближе к истине, чем тот «диалектический материализм», под флагом которого иногда проповедаются философские догмы, мешающие объективно осмыслить истинное взаимоотношение мышления и языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щерба Л. В. О задачах лингвистики // ВЯ. 1962. № 2. С. 98.
2. Гецадаг И. О. О соотношении логических и грамматических категорий // Логика и язык. М., 1985. С. 13.
3. Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971.
4. Горский Д. П. Логика. М., 1958. С. 42.
5. Колшанский Г. В. О вербальности мышления // ИАН СЛЯ. 1977. № 1.
6. Сеиццов В. И. Логика. М., 1987.
7. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. соч. Т. 28. С. 46.
8. Мельничук А. С. Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках. Киев, 1958. С. 11.
9. Копнин П. В. Природа суждения и формы выражения его в языке // Мышление и язык. М., 1957.
10. Панфилов В. З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982.
11. Выготский Л. С. Мышление и речь. М.; Л., 1934.
12. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М., 1982.
13. Кибрик А. А. О некоторых видах знаний в модели естественного диалога // ВЯ. 1991. № 1.
14. Выготский Л. С. Мышление и речь // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. 1981.
15. Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. М., 1975. С. 51.
16. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.
17. Брудный А. А. Подтекст и элементы внетекстовых языковых структур // Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976.
18. Долинин К. А. ИмPLICITное содержание высказывания // ВЯ. 1983. № 6.
19. Николаева Т. М. Дихотомия или эволюция? (Об одной тенденции развития языка) // ВЯ. 1991. № 2. С. 16—17, 19.
20. Москвальская О. И. Грамматика текста. М., 1981. С. 151.
21. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
22. Якубинский Л. П. О диалогической речи // Русская речь / Под ред. Щербы Л. В. Вып. 1. Пг., 1923. С. 147, 156.
23. Поливанов Е. Д. По поводу звуковых жестов японского языка // Поэтика. Пг., 1919. С. 27—28.
24. Mann H. Im Schlaraffenland. В., 1957.
25. Асжус В. Ф. Логика. М., 1947. С. 227.
26. Соколов А. Н. Внутренняя речь и мышление. М., 1968.
27. Шеварев П. А. Обобщенные ассоциации в учебной работе школьника. М., 1959. С. 171.
28. Ломов Б. Ф. Ответ профессору Ф. В. Бассину // Психологический журнал. 1982. № 6. С. 152—153.
29. Прангишвили А. С., Бассин Ф. В., Шошин Б. П. Существует ли дилемма «бессознательное или установка»? // Вопросы психологии, 1984. № 6. С. 97.
30. Мороз В. Н. Мысль и предложение. Ташкент, 1960.
31. Есенгазиева Б. О. Взаимосвязь психологических и логических характеристик мышления // Мышление: процесс, деятельность, общение / Под ред. Брушлинского А. В. М., 1982.
32. Бабинская И. Л. Задачи математических олимпиад. М., 1975. С. 43.
33. Ленин В. И. Философские тетради // Полн. собр. соч. Т. 29. С. 198.
34. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 459.
35. Кожаров А. П. Система средств выражения причинно-следственных отношений в современном немецком языке: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1973. С. 30.

36. *Майнова М. Р.* Теория текста и традиционные проблемы поэтики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978. С. 425—441.
37. *Strawson P. F.* Identifying reference and truth-values. Cambridge, 1971. P. 87—88
38. *Павилёнис Р. И., Петров В. В.* Язык как объект логико-методологического анализа: новые тенденции и перспективы // ВФ. 1987. № 7. С. 60.
39. *Серебренников Б. А.* Роль человеческого фактора в языке // Язык и мышление. М., 1988. С. 95.
40. *Будагов Р. А.* Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка? // ВЯ. 1972. № 1. С. 36.
41. *Милославский И. Г.* О регулярном приращении значения при словообразовании // ВЯ. 1975. № 6.
42. *Мурашов Р. З.* Грамматика производного слова (на материале суффиксальных существительных немецкого языка): Автореф. дис ... докт. филол. наук. Л., 1990 С. 21—23.

© 1992 г. БАРАНОВ А. Н., КРЕЙДЛИН Г. Е.

ИЛЛОКУТИВНОЕ ВЫНУЖДЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ДИАЛОГА

1. Постановка задачи

«Только в диалоге в полной мере обнаруживается сущность языка», — утверждал М. Хайдеггер [1]. Развитие теоретических представлений о строении и функционировании языковой системы в последние десятилетия с несомненностью подтверждает мнение Хайдеггера. Диалог, будучи одной из форм существования языка, является едва ли не важнейшей областью проявления языковых закономерностей. Отличие диалога от других сфер функционирования языка заключается прежде всего в сложной картине взаимодействия интенций коммуникантов. Нормальный ход диалога предполагает согласование иллокутивных намерений участников, которое заключается в удовлетворении их взаимных претензий. Участвуя в диалоге, мы и сами вынуждены выполнять разнообразные речевые и неречевые действия и заставляем партнера реагировать на них определенным образом. Каждое такое речевое и неречевое вынуждение получает ответную реакцию со стороны другого участника (ср. у М. Бахтина представление о смене речевых субъектов и о выполнении взаимных обязательств участников как об основной особенности диалога в сравнении с монологом [2, с. 251, 255]). Комплекс взаимных реакций участников образует сложную структуру, которая может быть задана в виде системы правил (ср. одну из попыток построения такой системы в работе [3]).

Однако ни формальное описание взаимодействия в диалоге, ни построение лингвистических моделей каких-то его фрагментов заведомо не достижимо, если достаточно четко не определен набор исходных единиц и не выявлено их строение. Новейшие исследования в теории диалога дают основание предполагать, что выделение исходных единиц во многом зависит от целей и задач анализа. В частности, для лингвистического описания взаимодействия в диалоге естественно выделить в качестве базовой такую единицу, которая отражала бы коммуникативную деятельность всех его участников на некотором минимальном отрезке общения. Мы называем это важнейшее понятие теории диалога «минимальной диалогической единицей».

Механизмы речевого взаимодействия тесно связаны с конкретными формами диалога. Последние же зависят от целого ряда факторов: от тематики общения, состава участников коммуникации, их социальных ролей, намерений, представлений партнеров друг о друге, знаний о мире, ценностных ориентаций и т. д. На начальном этапе работы разумно остановиться на наиболее простой форме диалога с двумя участниками ситуации общения. При этом приходится пренебрегать такими «возмущающими» факторами, как социальный статус говорящих, их фоновые знания и представления о мире, аксиологические установки. Конечно, в идеальном случае хотелось бы анализировать реально протекающий диалог во всех его проявлениях, в том числе и невербальных. Однако, к сожалению, мы не располагаем сколько-нибудь значительным фондом записей диалогических

текстов, очищенных от разговорных наслоений, речевых сбоев и прочих посторонних шумов¹, поэтому материалом работы послужили тексты пьес, а также диалоги, представленные в других типах художественных произведений. Разумеется мы ограничились анализом «нормальных» текстов, оставив в стороне абсурдные диалоги, имитации диалогов и языковые игры.

Текст диалогов в пьесах обладает целым рядом особенностей, на которых мы остановимся чуть ниже, однако основные утверждения о лингвистической структуре литературно обработанных диалогов безусловно могут быть перенесены и на живой диалог. Более того, не исключено, что литературно обработанный диалог непосредственно соответствует так называемому каноническому диалогу, под которым имеется в виду текст, восстанавливаемый самими коммуникантами в процессе восприятия и осмысления обработки получаемых речевых сообщений (игнорирование неточностей и сбоев в речи, элиминация шумов и т. п.) [6].

Мы начинаем изучение речевого взаимодействия с построения определения минимальной диалогической единицы (МДЕ). Это определение строится в несколько этапов. Сначала вводится понятие иллокутивного вынуждения, которое формирует внутреннюю структуру МДЕ. Затем рассматриваются некоторые противопоставления, задающие типы иллокутивного вынуждения. Иллокутивное вынуждение связывает речевые акты в реальном диалоге, и последние в силу этого получают новые содержательные характеристики, отражающие их функционирование в естественной языковой коммуникации. Имеются в виду пары категорий — зависимый vs. независимый речевой акт и абсолютно зависимый vs. абсолютно независимый речевой акт.

Все эти категории и отношения лежат в основе понятия МДЕ. Совокупность различных МДЕ вместе с их связями в тексте образуют статическую иллокутивную структуру диалога, подобно тому, как единицы блок-схемы алгоритма вместе со своими структурными связями являются компонентами статического описания алгоритма. Очевидно, однако, что структура пьесы заведомо не может быть представлена на языке одних только МДЕ. Не говоря уже о том, что в пьесе обычно участвует более двух персонажей, в ней содержится авторский комментарий, без учета которого моделирование сколь угодно глубокого понимания пьесы оказывается невозможным. Автор не только определяет прагматические переменные диалога (место, время действия, предварительный ввод персонажей — т. е. те параметры, которые объединены в принятом в западной нарратологии термине «сеттинг» [7]), но и уточняет вербальные реплики персонажей (ср. комментарий *он замолчал, с гневом, запинаясь*), описывает невербальное поведение говорящих (ср. *он кивнул, отходит в сторону, появляется в углу сцены*), поясняет свои интенции, замысел или ход пьесы (вспомним хотя бы фрагмент пролога в «Обыкновенном чуде» Е. Шварца: «Начинается наша сказка просто. Один волшебник женился, и занялся хозяйством... И вот вязался он в любовную историю... И все запуталось, перевернулось — и наконец распуталось — так неожиданно, что сам волшебник, привыкший к чудесам, и тот всплеснул руками от удивления. Горем все окончилось для влюбленных или счастьем — узнаете вы в самом конце сказки») ². Таким образом, представление иллокутивной структуры диа-

¹ Заметим, что в зарубежных проектах по изучению диалога широко используются видеозаписи, что позволяет сопоставлять речевые и неречевые действия коммуникантов. При этом банки записей легко доступны любому пользователю (ср. опыт исследований Бирмингемской школы [4, 5]).

² Исследованию функций ремарок в тексте пьесы была посвящена работа А. А. Реформатского [8]. Последователи А. А. Реформатского особое внимание обращали на разработку типологии ремарок как в содержательном, так и в формальном аспектах [9].

лога в виде системы минимальных диалогических единиц является известной идеализацией.

Некоторые языковые выражения в тексте диалога служат показателями границ МДЕ (ее начала или конца). В этом смысле роль этих выражений в диалоге может быть охарактеризована как метатекстовая, аналогичная той, которую берут на себя в монологе другие элементы (ср. описание А. Вежбицкой слов *во-первых, во-вторых, с одной стороны, с другой стороны*, характеризующих последовательность обсуждения проблем и маркирующих переход от одной темы к другой [10]). Выявление и анализ всех метаязыковых единиц, обслуживающих диалог (возможно, наряду с другими типами текстов), представляет собой отдельную лингвистическую задачу.

2. Иллокутивное вынуждение и самовынуждение

2.0. Исходные понятия. Зафиксируем некоторые важные понятия теории диалога, которые обычно принято считать элементарными. Это в первую очередь категория речевого высказывания, или реплики. Всякая реплика как коммуникативная единица имеет содержательную и формальную стороны. С содержательной точки зрения речевое высказывание включает в себя пропозициональную (собственно смысловую) и иллокутивную составляющие (иллокутивную функцию). Типу иллокутивной функции высказывания соответствует определенный речевой акт (утверждение, вопрос, побуждение и т. п.), сфера функционирования которого задается специфическими условиями успешности [11, 12]. Формальная сторона реплики — это ее фонетическая, морфологическая и синтаксическая структуры.

Как уже говорилось ранее, мы рассматриваем диалоги лишь с двумя участниками. В зависимости от типов речевых актов, используемых в конкретном такте диалога, эти участники могут получать разные, но соотносимые друг с другом наименования (говорящий vs. слушающий, спрашивающий vs. отвечающий и т. п.). Поскольку диалог, как правило, характеризуется постоянной сменой ролей участников, введем обобщающие названия для речевых партнеров, не связанные с конкретными типами речевых актов, — **адресант и адресат**.

Подавляющее большинство работ по лингвистическому описанию речевого взаимодействия в диалоге так или иначе опиралось на анализ конкретных речевых актов, выраженных в репликах собеседников, т. е. изучались пары реплик типа «вопрос-ответ», «просьба-согласие или отказ», «приветствие-ответное приветствие» и т. п. При этом оставалось без внимания то общее, что объединяет все эти конкретные типы взаимодействий и является конституирующим для диалога как такового. Между тем выявление подобного инварианта представляет особый интерес. Дело в том, что только отвлекаясь от иллокутивных особенностей частных диалогов, и можно определить минимальную диалогическую единицу. В свою очередь без ее выделения невозможно, как нам кажется, формально описать многие аспекты коммуникативного взаимодействия партнеров — а именно, те, которые в силу принимаемых теоретических предпосылок (ориентации не на диалог вообще, а на его конкретные типы) не изучались ни в теории речевых актов, ни в теории диалога.

2.1. Иллокутивное вынуждение. Независимый и зависимый речевые акты. Исследователю, приступающему к изучению диалога, сразу бросаются в глаза многочисленные связи отдельных реплик друг с другом. В качестве формальной экспликации одной из таких связей мы предлагаем термин «иллокутивное вынуждение», т. е. будем говорить, что одна реплика (или соответствующий ей речевой акт) и л л о к у т и в н о в ы н у ж

да е т д р у г у ю (или другой речевой акт)³. Этот термин мы предпочитаем другим, отдавая дань русской филологической, и прежде всего литературоведческой, традиции, в которой диалог рассматривается как система взаимных обязательств участников и их выполнение (ср. работы М. Бахтина, Ю. Тынянова, В. Шкловского, Л. Щербы, Л. Якубинского)⁴. Кроме того, сама внутренняя форма вводимого термина подсаживает основную особенность диалога — динамический характер речевого взаимодействия, который в полной мере не может отразить ни одно статическое описание (ср. представление диалога как разворачивающегося процесса осуществления вынуждаемых действий у Дж. Остина [11, с. 37, 46]). Речевые акты, связанные в данном речевом контексте отношением иллокутивного вынуждения, мы будем называть, соответственно, иллокутивно независимым и иллокутивно зависимым. Другими словами, и л л о к у т и в н о н е з а в и с и м ы й р е ч е в о й а к т (в д а н н о м о т р е з к е д и а л о г а) — это речевой акт, иллокутивное назначение которого на данном шаге определяется исключительно интенциями самого говорящего, а и л л о к у т и в н о з а в и с и м ы й р е ч е в о й а к т (в д а н н о м о т р е з к е д и а л о г а) — это речевой акт, иллокутивное назначение которого всецело определяется иллокутивным назначением какой-либо предшествующей реплики (из данного речевого отрезка). Соответственно, можно говорить об и л л о к у т и в н о н е з а в и с и м о й и и л л о к у т и в н о з а в и с и м о й р е п л и к а х⁵.

Рассмотрим пример из пьесы А. С. Грибоедова «Студент»: *«Иван: Кого вам надобно-с? Беневольский: Я уже отвечал на этот вопрос неоднократно <...> так называемоу швейцару, а тебе повторяю: мне надобно господина здешнего дома. Иван: Барина самого? Беневольский: Да, да, барина твоего <...>. Ведь это дом его? Иван: Его-с»*. Первая реплика Ивана — вопросительная по форме — независима, а ответ Беневольского является иллокутивно зависимым. Без удовлетворения коммуникативных претензий Ивана, передаваемых семантикой вопроса, действие пьесы не получило бы дальнейшего развития. Что касается второй реплики Ивана, то, хотя ее пропозициональное содержание несомненно связано со словами Беневольского, в иллокутивном смысле она независима: Иван был свободен в выборе конкретного типа речевого акта, предшествующая реплика вовсе не вынуждала его прибегнуть именно к вопросу для выражения своих коммуникативных намерений. Таким образом, второй вопрос Ивана — это независимая реплика, вынуждающая ответ.

Связь между независимым и зависимым речевыми актами и особенности ее проявления определяются разнообразными факторами. Прежде всего — это конструктивные характеристики диалога. Структура диалога опирается на отношение иллокутивного вынуждения, подобно тому как структура предложения формируется на основе синтаксических связей. Между тем иллокутивное вынуждение не тождественно синтаксической связи. Если такая связь, как, скажем, синтаксическая зависимость, основывается исключительно на категориальных свойствах языковых единиц, то вынуждение, действуя на пространстве речевых актов, формируется не только под влиянием иллокутивной функции речевых высказываний, но и находится под воздействием общих законов функционирования диалога. К последним, в частности, принадлежат социально обусловленные законы — известные максимы Грайса [14] и принцип вежливости Ли-

³ Речь идет о качественной характеристике связи, а не о количественной: сила вынуждения может быть самой разной — от сильной до весьма слабой.

⁴ Иллокутивное вынуждение — это одно из проявлений законов сцепления, действующих на пространстве диалога. Ср. термин «законы сцепления» и изучение их действия в художественном произведении у В. Шкловского [13].

⁵ В дальнейшем, говоря о независимых и зависимых речевых актах (репликах), мы будем иметь в виду иллокутивную зависимость.

ча [15], а также универсальные психологические закономерности, определяемые свойствами речевого раздражения как такового (известно, например, что речевое раздражение с необходимостью влечет за собой ответное реагирование). Эта, так сказать, психологическая вынужденность нередко сочетается с вынужденностью иного рода — обязательностью появления ответной реакции в некоторых типах ситуации общения. Так, довольно четко различаются ситуации контактного и дистантного диалогов. Дистантный диалог осложнен возможностью сбоев в канале передачи информации: при трансляции по телефону цифровых знаков от адресата требуется повторение каждой записываемой цифры или группы цифр. Если повторения по каким-либо причинам не происходит, то адресант, как правило, настаивает на нем. Появление ответных реакций могут вынуждать и некоторые социально клишированные ситуации общения — безразлично, контактного или дистантного диалогов. Обязательное реагирование предполагает воинский приказ; официант ресторана, принимающий заказ от клиента, также этикетно обязан повторять за клиентом слова заказа; наконец, приветствие, не получившее ответного отклика, создает конфликтную ситуацию.

З а м е ч а н и е (А). На самом деле отношение иллокутивного вынуждения может связывать друг с другом не только речевые действия, но и речевые с неречевыми. Однако здесь мы сознательно упрощаем определения, ограничиваясь лишь речевыми действиями.

Отдельно упомянем интересную проблему соотношения вынуждающей речевой реплики со значимым отсутствием какой бы то ни было — вербальной или невербальной — реакции со стороны адресата, ср. характерную реплику начальствующего лица *Передай Николаю Николаевичу, чтобы зашел ко мне в кабинет (Выходит)*. При формальном представлении этого текста следует, на наш взгляд, отразить тот факт, что перед нами минимальный диалог с реализованным отношением иллокутивного вынуждения. В качестве формального средства, фиксирующего значимое отсутствие реплики адресата, мы предлагаем ввести нулевую лексему, выражающую согласие или фатический сигнал, что информация принята к сведению. Эта нулевая лексема входит в одну парадигму со словами *так, хорошо, ладно, понял, есть* и подобными, выступающими в функции ответных реакций. Заметим попутно, что негативная реакция со стороны адресата всегда бывает материально выраженной.

Введенные противопоставления имеют смысл только в рамках диалога, поскольку отношение иллокутивного вынуждения — это характеристика речевого взаимодействия двух (и более) лиц. Приведем пример диалога, состоящего из двух реплик, первая из которых передает независимый речевой акт, а вторая — зависимый речевой акт (такие реплики можно было бы назвать иллокутивно вынуждающей и иллокутивно вынуждаемой, соответственно): *„Вы — писатели?“ — в свою очередь спросила гражданка. „Безусловно“, — с достоинством ответил Корольев»* (М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»).

2.2. Иллокутивное вынуждение vs. «стимул-реакция». Отношение иллокутивного вынуждения, хотя и стоит близко, но не совпадает с выделяемым в теории диалога и лежащим в иной — психологической — плоскости отношением типа «стимул-реакция» (см. [4, 16]). Кроме того, с формальной точки зрения реплика-стимул, побуждающая ответную речевую реакцию, может отсутствовать в данном речевом отрезке и даже во всем диалоге и тем самым не выражать независимый речевой акт. Ср. запись живого диалога: — *Здравствуйте, профессор. — Добрый вечер. — Я вот, хотел вам возразить на ваше утверждение, вчера которое сделали.* Последняя реплика в нем, конечно, является реакцией, но выражает независимый речевой акт. На реплику-стимул здесь имеется лишь намек в виде отсылки. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что в нормальном случае реплика-стимул является вынуждающей, а реакция — вынуждаемой.

Вынуждение ч.с. самовынуждение. Отношение иллюкутивного вынуждения следует также отличать от отношения иллюкутивного самовынуждения. В него входят две реплики данного речевого отрезка диалога, принадлежащие одному и тому же участнику, и такие, что вторая вынуждается первой. Так, в речи одного из персонажей современной пьесы О. Кучкиной *Чего я вам скажу... Я сейчас в магазине была. Народ там толпится, палтус привезли* две последние фразы непосредственно связаны с первой отношением вынуждения (обещание предполагает выполнение). А поскольку все эти реплики принадлежат одному человеку, то данная связь есть не что иное, как отношение самовынуждения. Вообще реплика участника диалога, которая вызывает его же комментарий для уточнения ее иллюкутивной силы, является самовынуждающей репликой (а комментарий — самовынуждаемой). Ср. последующее развертывание приведенного речевого отрезка в той же пьесе: *Зачем это я палтус-то брать буду? У меня и денег таких нет*⁶.

В ряде социально маркированных ситуаций принято употреблять жестко фиксированные этикетные формулы, состоящие из нескольких речевых актов, связанных отношением самовынуждения. Примером такой ситуации может, в частности, служить конвенциональный, этикетно обусловленный вход присяжных или народных заседателей в зал суда. Эта ситуация оформляется посредством языкового клише — последовательности реплик *Встать! Суд идет!*, которые связаны отношением самовынуждения.

Еще один интересный пример диалогов, в которых усматривается отношение иллюкутивного самовынуждения, дают расчлененные ответные реплики особого типа, ср.: — *Скажи немедленно, кто тебе вчера звонил? — Так и быть, скажу. Татьяна.* Семантическое содержание ответа здесь оказывается распределенным по двум репликам. В первой, факультативной, эксплицируется реакция на побудительную часть высказывания адресата (*Скажи немедленно*). Этот смысл представляет собой часть условия успешности речевого акта ответа — «отвечающий намерен сообщить спрашивающему требуемую информацию». Вторая реплика является непосредственной реакцией на вопросительную часть того же высказывания и вынуждается как самим вопросом, так и первой ответной репликой.

Функциональные особенности отношений вынуждения и самовынуждения можно продемонстрировать на примере коммуникативно неудачных диалогов. Рассмотрим сначала, что произойдет, если не реализовано отношение вынуждения. Так, если на вопрос не последовало ответа, то это означает, что со стороны спрашивающего была попытка начать диалог, которая по каким-то причинам (возможно, не только внутренним, но и внешним, в частности, из-за помех канала передачи информации) осталась без внимания. (Ср. тезис Дж. Остина о необходимости выполнения речевых процедур всеми участниками полностью. В противном случае диалог прерывается: «Например, попытка заключить пари с помощью высказывания *Держу пари на шесть пенсов* останется бесплодной, если вы не ответите *Идет!* или еще что-нибудь в этом роде» [11, с. 46]). Принцип кооперации должен был бы заставить адресанта в той или иной форме повторить свою попытку завязать диалог или принять меры к устранению обнаруженных препятствий. Мы не вправе предъявить свои обвинения

⁶ Заметим, что иллюкутивному вынуждению здесь сопутствует семантическая каузальная связь реплик. Это обстоятельство еще более усиливает необходимость отвечать на свой вопрос. Ср. у М. Бахтина: «Очень часто говорящий (или пишущий) в пределах своего высказывания ставит вопросы, сам на них отвечает, возражает себе самому и сам же свои возражения опровергает и т. п. Но эти явления не что иное, как условное разыгрывание речевого общения...» [2, с. 251].

в некооперативности адресату, если не предприняли повторной попытки установить вербальный контакт, ср. характерные выражения-стимуляторы контакта *Еще раз повторяю / Сколько можно повторять. Ты меня слышишь?, Оглох что ли?*

С иным перлокутивным эффектом мы сталкиваемся в случае невыполнения отношения иллокутивного самовынуждения. Здесь возможны по крайней мере два случая.

Если самовынуждающая реплика принадлежит лицу, вроде бы пытающемуся начать диалог или очередную его порцию, то в случае отсутствия самовынуждаемой реплики начала диалога так и не последовало. Это похоже на то, как если бы говорящий не заполнил валентности во фразе *Я бы взял...*, которая ощущается неполной и грамматически неправильной (в отличие от законченной и правильной реплики *Я бы взял*) в диалоге — *Ты возьмешь сына на футбол? — Я бы взял*). В качестве наиболее вероятного перлокутивного эффекта тут можно ожидать недоумение, удивление странным поведением партнера, а вовсе не обиду. В таких ситуациях вполне естественно услышать реплики типа *Ну, (так) что же ты?, И что же?, Ну* — побуждающие к продолжению диалога (ср. одну из максим вежливости «начал, так говори»). Если бы в последовательности реплик из уже упомянутой пьесы фраза «Чего я вам скажу...» присутствовала без какого бы то ни было продолжения (речевого или неречевого), то эта заявка на вступление в новый такт диалога осталась бы нереализованной⁷.

Если же самовынуждающая реплика принадлежит адресату (ср. *Скажи немедленно, кто тебе вчера звонил? — Так и быть. Скажу*), то невыполнение взятых им речевых обязательств может сразу повлечь отрицательную реакцию. Дело в том, что здесь оказываются нереализованными сразу два отношения — и отношение вынуждения, вводимое вопросом-побуждением, и отношение самовынуждения, вводимое фразой *Так и быть, скажу*. Отрицательная реакция является следствием попытки адресанта завязать диалог, а также не имевшим никакого продолжения обязательством со стороны адресата принять в нем участие.

Заметим, что в рассматриваемых нами текстах вынуждение и самовынуждение могут быть реализованы в виде авторских ремарок. Так, в приведенной ранее ситуации, происходящей в зале суда, если автор хочет описать ее в форме диалога, то ему следует дать свой авторский комментарий в виде ремарки типа *Все встают*, которой в актуальной ситуации отвечает соответствующее действие со стороны адресата. Тем самым окажется выполненным отношение иллокутивного вынуждения.

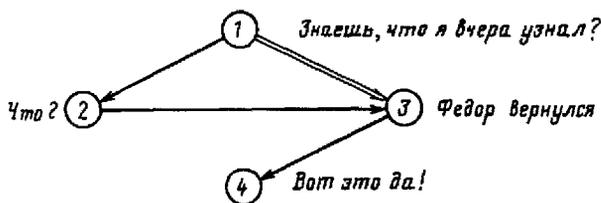
Невыполнение отношений иллокутивного вынуждения и самовынуждения не следует путать с нестандартными речевыми реакциями на вынуждающую реплику типа непрямого или неинформативного ответа на вопрос. Последние часто функционируют в качестве вынуждаемой реплики в абсолютно правильных диалогах, ср.: — *Где вы живете?* — *Адреса не дам, все равно не напишете, только обещаете*.

Одна и та же реплика может одновременно вводить и отношение вынуждения и отношение самовынуждения. В этом случае следует говорить о совмещенном выражении двух разных отношений вынуждения. Например, в диалоге — *Знаешь, что я вчера узнал? — Что? — Федор вернулся. — Вот это да! первая реплика не только вынуждает ответную (Что?), но и фиксирует обязательство инициатора диалога сообщить адресату некоторую новость, тем самым иллокутивно самовынуж-*

⁷ Эту ситуацию не следует смешивать с ситуацией значимого отсутствия в диалоге ответной реакции, о которой речь шла выше в З а м е ч а н и я х А.

дается реплика *Федор вернулся*, которая, в свою очередь, будучи неожиданной, предполагает ответную реакцию. Специфика данного способа выражения отношения иллокутивного самовынуждения состоит не только в том, что оно совмещено в диалоге с отношением вынуждения, но и в том, что самовынуждающая и самовынуждаемая реплики прерываются словами собеседника. Заметим, что инициирующие интеррогативы такого рода нельзя рассматривать как вопросы в точном смысле, поскольку на них ожидается не ответ, а ответная реакция заинтересованности, ср. шероватость или некоторую невежливость ответа *Не знаю* на первый вопрос рассматриваемого диалога. В то же время вопросы с совмещением различных отношений вынуждения не могут быть отнесены и к риторическим, поскольку они требуют ответной реакции собеседника. Их функция чисто диалогическая — установление контакта и пробуждение заинтересованности партнера по коммуникации. Структура отношений вынуждения и самовынуждения в обсуждаемом диалоге представлена на схеме 1 (двойная стрелка обозначает отношение иллокутивного самовынуждения, а обычная — отношение вынуждения).

Схема 1.



3. Понятие минимальной диалогической единицы

3.0. Диалог и речевой акт. Вплоть до настоящего момента мы описывали взаимодействие в диалоге, отвлекаясь от конкретных типов речевых актов, вовлеченных в коммуникацию. В теории речевых актов принято рассматривать преимущественно независимые акты вместе с их условиями успешности. Эти условия успешности контекстно свободны и определяются самим актом, т. е. их источник — исключительно его семантика и прагматика. В то же время условия успешности зависимого речевого акта формируются не только на основе его семантики и прагматики, но и испытывают существенное влияние иллокутивного назначения «вынуждающего речевого акта». Иными словами, зависимый речевой акт — это речевой акт, в предварительные условия которого входит информация об осуществлении некоторого независимого речевого акта. Если признавать исшед за Д. Гордоном и Дж. Лакоффом, что условия успешности всякого речевого акта — это не что иное, как фрагменты семантического разложения соответствующего перформативного глагола с его актантами [17], то следует уточнить, что такая интерпретация применима лишь к независимому речевому акту. Для зависимого акта представление с помощью перформативного глагола наталкивается на определенные трудности. По крайней мере, в европейских языках мало глаголов, близких по смыслу соответствующим зависимым речевым актам. Так, в русском языке есть глагол *обещать*, но нет, например, глагола «выполнять обещание», есть глагол *приказывать*, но нет глагола «реализовать приказ», или «принять приказ к исполнению», есть глагол *настаивать*, но нет глагола, указывающего на реализацию соответствующего действия. Одним из редких исключений является лексема *отвечать*, однако и ее семантическая структура включает семантический актанта, указывающий на вынуждающий

Тип речевого акта	Условия успешности речевого акта		
	Предварительные и существенные условия	Условия искренности	Условие назначения
Речевой акт ответа (на обычный вопрос)	1. Спрашивающий задал вопрос <i>A</i> . 2. Отвечающий считает, что спрашивающий не знает ответа на <i>A</i> .	Отвечающий намерен сообщить нужную спрашивающему информацию и считает ее истинной.	Данный акт рассматривается как сообщение информации, нужной спрашивающему и отражающей реальное положение дел.

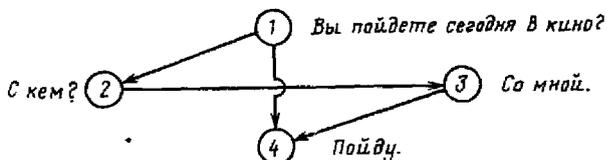
независимый речевой акт. Так, в выражении *A отвечает B на C* переменная *C* обозначает ранее заданный вопрос, тогда как в структурно близком выражении с глаголом, передающим независимый речевой акт — *A обещает B C*, переменной *C* соответствует содержание сообщения, а не имя речевого акта. Иными словами, семантика глагола, обозначающего зависимый речевой акт, содержит анафорическую отсылку к независимому. Если бы в естественном языке для каждого типа зависимого речевого акта нашелся бы описывающий его отдельный перформативный глагол, то определить зависимость одного речевого акта от другого можно было бы проще: речевой акт *B* зависит от речевого акта *A*, если семантическая структура представляющего его перформативного глагола содержит анафорическую отсылку к *A*.

Описание речевых актов вместе с их условиями успешности иногда дается в виде таблицы. Это описание и конкретные формы его реализации (таблицы) должны быть расширены за счет зависимых речевых актов, что уточнит представление о реальном функционировании речевых актов в диалоге. Например, строчка такой таблицы (ср. табличную форму представления иллокутивной семантики в [18]), имеющая вход в виде речевого акта ответа на обычный вопрос, могла бы выглядеть так (см. табл.).

Следует иметь в виду, что для некоторых типов речевых актов (часто особой модальной окраски) первичным является монологическое, а не диалогическое употребление. В этой исходной функции они не несут иллокутивного вынуждения и тем самым противопоставление независимого и зависимого речевого акта для них бессмысленно. К таким речевым актам можно отнести риторический вопрос, выражение общей сентенции или максимы, аналитическое суждение, акты именованья и крещения и т. п. Естественно, что в конкретном диалоге исходная монологическая функция этих речевых актов иногда модифицируется: они могут интерпретироваться участниками как диалогические. Например, на вопрос, задуманный как риторический, может неожиданно последовать ответ; более того, ответ может дать сам спрашивающий (реализовав тем самым отношение самовынуждения). Те речевые акты, для которых первичным является функционирование в диалоге, назовем диалогическими в противоположность монологическим, исходно функционирующим в монологе. В дальнейшем мы рассматриваем только диалогические речевые акты, а также монологические речевые акты во вторичной функции.

3.1. Абсолютно независимый и абсолютно зависимый речевые акты. Введем еще одно важное противопоставление на множестве речевых актов. Назовем речевой акт иллокутивно абсолютно неза-

Схема 2.



в и с и м ы м, если в диалоге нет такой реплики, которая бы его вынуждала. Например, первый речевой акт в диалоге — абсолютно независимый. Будем говорить, что речевой акт иллокутивно абсолютно независим, если в диалоге нет такой реплики, которую он бы иллокутивно вынуждал. Ср.: «Всякое высказывание (— отрезок диалога, по Бахтину. — *Б. А., К. Г.*) — от короткой (однословной) реплики бытового диалога до большого романа или научного трактата — имеет, так сказать, абсолютное начало и абсолютный конец» [2, с. 250].

Рассмотрим следующий диалог: — *Вы пойдете сегодня в кино?* — *С кем?* — *Со мной.* — *Пойду.* В нем четыре реплики. Первая, по форме вопросительная, является абсолютно независимым речевым актом: в диалоге нет такой реплики, которая бы его вынуждала. Появление вопроса вызвано одними только внутренними намерениями адресанта. Вопросительная форма второй реплики как уточняющего вопроса иллокутивно вынуждается вопросительной формой первой — основного вопроса (см. ранее разбор фрагмента из пьесы Грибоедова). Третья реплика *Со мной*, в свою очередь, иллокутивно зависит от второй и иллокутивно вынуждает последнюю. Дело в том, что присутствие третьей реплики в рассматриваемом диалоге необходимо как ответ на уточняющий второй вопрос, в противном случае его нельзя было бы осмыслить как уточняющий. Кроме того, отсутствие такового препятствует ответу на основной, первый, вопрос. В силу этого последняя реплика является абсолютно зависимой, причем она одновременно вынуждается и предпоследним и первым речевыми актами. Структура отношений иллокутивного вынуждения в рассмотренном диалоге изображена на схеме 2.

Таким образом, противопоставление абсолютно зависимых и независимых речевых актов вводится на пространстве диалога в целом, а оппозиция зависимых и независимых речевых актов определена для конкретного актуального отрезка диалога. Например, в разобранном диалоге реплика *Со мной* в отрезке *С кем?* — *Со мной* является иллокутивно вынуждаемой, а в другом отрезке *Со мной* — *Пойду* — иллокутивно вынуждающей (то же можно сказать и о второй реплике).

Из определения абсолютно независимого (зависимого) речевого акта следует, что он является также просто независимым (зависимым) речевым актом. Обратное, как мы уже видели выше, неверно.

Более сложное соотношение прослеживается между абсолютно независимым речевым актом и стимулом, с одной стороны, и абсолютно зависимым речевым актом и реакцией, с другой. Так, неверно было бы считать, что абсолютно независимый речевой акт — это всегда стимул, с началом диалога: — *Настаиваю на вашем отъезде в Англию, сударь!* — *Когда?* Глагол *настаивать* имеет в своей смысловой структуре компонент отсылки к уже высказанному требованию и потому первая реплика диалога является реакцией. В то же время абсолютно зависимый речевой акт уже в силу своего определения оказывается реакцией на одну из предшествующих реплик.

З а м е ч а н и е (Б). Интересным представляется вопрос о связи введенного противопоставления абсолютно независимых и абсолютно зависимых речевых актов с конкретными типами речевых актов, в частности, выяснение того, какие из конкретных речевых актов всегда абсолютно независимы, а какие всегда абсолютно зависимы. Боль-

шая часть известных речевых актов относится к таким, которые могут быть как зависимыми, так и независимыми, как абсолютно зависимыми, так и абсолютно независимыми. Таковы, например, вопрос, совет, обещание, ответ и многие другие, хотя, например, для ответа, настаивания, возражения, выражения согласия и др. более естественно быть зависимым (хотя это и не обязательно) и даже абсолютно зависимым — ведь крайне редко можно встретить диалог, начинающийся с ответа на невысказанный вопрос, с выражения согласия с чем-либо, что никак не представлено в данном диалоге. Между тем есть речевые акты, которые всегда абсолютно независимы, и есть речевые акты, которые всегда абсолютно зависимы. К первым относятся инициальные приветствия, военные команды, акты привлечения внимания к сообщению и др. Ко вторым принадлежат финальные приветствия, языковое выражение окончания некоторых ритуальных процедур и отдельные социально маркированные случаи выражения благодарности, которыми автоматически завершается диалог (ср. неуместность реакции *Пожалуйста* на выражение благодарности *Спасибо за внимание* в конце академического доклада). Вспомним, что Дж. Остин отмечал возможность перехода от использования слов в роли финальных маркеров к перформативному употреблению. Например, слову *конец* в конце романа соответствует выражение *Сообщение закончено* в конце радиопередачи или выражению *Сим я завершаю свое выступление*, сказанному адвокатом в конце прений сторон на судебном заседании [11, с. 65].

3.2. Понятие минимальной диалогической единицы. Теперь на основе введенных понятий попробуем дать определение минимальной диалогической единицы, при этом мы хотим построить его так, чтобы оно отражало совместный речевой вклад в диалог партнеров по коммуникации и не было привязано к конкретным типам речевых актов, отражая то общее, что есть во всех речевых взаимодействиях участников диалога. **Минимальная диалогическая единица**, или **минимальный диалог** — это последовательность реплик двух участников диалога — адресанта и адресата — характеризующаяся следующими особенностями:

- (i) все реплики в ней связаны единой темой;
- (ii) она начинается с абсолютно независимого и кончается абсолютно зависимым речевым актом;
- (iii) в пределах этой последовательности все отношения иллокутивного вынуждения и самовынуждения выполнены;
- (iv) внутри данной последовательности не существует отличной от нее подпоследовательности, которая удовлетворяла бы условиям (i) — (iii).

Комментарии к определению:

1) Условия (i) — (iii) обеспечивают статус этой последовательности реплик как диалогической единицы, а условие (iv) отражает ее минимальность.

2) Определение МДЕ сознательно построено нами таким образом, что оно оставляет известную свободу в членении текста на минимальные диалоги (впрочем, оно не оставляет места и для полного произвола). Такая относительная свобода, во-первых, соответствует интуитивным представлениям о нежестком характере границ МДЕ. Во-вторых, в ее пользу говорит сходная ситуация, возникающая при расстановке синтаксических связей в пределах предложения. Как в том, так и в другом случае при неединственности решения выбор определяется дополнительными факторами иной природы по сравнению с рассматриваемыми, а нередко и чисто условными соглашениями.

Впрочем, задачу построения формального определения МДЕ следует отделить от другой задачи — от разработки процедуры членения текста на минимальные диалоги. Установление границ МДЕ в каждом конкретном случае может зависеть от многих, даже не относящихся к внутреннему устройству текста, характеристик — таких, как тип решаемой прикладной задачи, ориентация на компьютер или на человека, особенности обрабатываемого материала. «Свободным» диалогам противопоставлены диалогические речевые жанры с жестко фиксированной структурой илло-

кутивных вынуждений и самовынуждений. Таковы интервью, анкетирование, политические дебаты и др.

Неоднозначность определения границ минимального диалога прежде всего связана с двумя моментами. Во-первых, признаем ли мы в неочевидных случаях иллюкутивную доминацию одной реплики над другой, и, во-вторых, приписываем ли мы признак единства темы кандидатам в МДЕ. В ситуации неоднозначности важным дополнительным соображением в пользу отнесения рассматриваемой последовательности реплик к одной МДЕ следует считать возможность приписать речевым актам в ней тип иллюкутивной функции из некоторого заданного заранее репертуара. Так, в проанализированном выше диалоге — *Вы пойдете сегодня в кино? — С кем? — Со мной.* — *Пойду* можно было бы не усматривать иллюкутивное вынуждение между предпоследней и последней репликами, и тогда последовательность — *С кем? — Со мной* удовлетворяла бы определению МДЕ. Последнее, однако, противоречило бы интерпретации вопроса *С кем?* как уточняющего. Ведь разумно считать, что в условия успешности уточняющего вопроса входит отсылка к основному, а в условия успешности ответа на уточняющий вопрос — отсылка к ответу на основной, что предполагает наличие соответствующих иллюкутивных связей в диалоге. В этом смысле правильнее было бы говорить о разных типах иллюкутивных актов — простой вопрос, уточняющий вопрос, вопрос-недоумение и др., а также простой ответ, ответ на уточняющий вопрос и т. п.

Если мы хотим сохранить отвечающую языковой интуиции интерпретацию той же последовательности реплик как содержащей уточняющий вопрос с ответом на него, то мы должны восстановить все оправдывающие это решение иллюкутивные вынуждения и самовынуждения, а в качестве МДЕ выделить весь диалог в целом; последняя реплика в нем замыкает отношение иллюкутивного вынуждения, индуцированное как основным вопросом, так и ответом на уточняющий вопрос.

Что же касается единства темы реплик, входящих в МДЕ, то оно составляет органический признак ее целостности как отдельной единицы и зачастую воплощается в виде своей предметно-смысловой исчерпанности или законченности. Эта исчерпанность различна для разных сфер диалога. Она может быть полной в некоторых сферах быта (ср. вопросы фактического характера и такие же ответы на них), в области военных и производственных команд, где диалоги максимально стандартизированы и творческий момент почти отсутствует. Напротив, как показал М. Бахтин, в творческих сферах возможна лишь относительная предметно-смысловая исчерпанность. Однако (что для нас весьма существенно) становясь темой минимального диалога, объективная неисчерпаемость предмета получает известную завершенность и законченность, ср. [2, с. 255, 256].

3) Поскольку определение МДЕ базируется на отношении иллюкутивного вынуждения, обуславливающего наличие по крайней мере одной пары реплик, минимальное число реплик в составе МДЕ равно двум.

4) Принципиальным моментом является открытость верхней границы числа реплик в составе минимального диалога. В целом ряде исследований по теории диалога [19—22] эта верхняя граница задается и, в частности, может совпадать с нижней. Фиксация точного числа реплик в описаниях МДЕ, содержащихся в перечисленных работах, не случайна и детерминирована исследовательской установкой на рассмотрение не речевых актов вообще, а их конкретных представителей и природой анализируемого языкового материала. Например, формальное отличие обычных вопросов от так называемых экзаменационных связано не только с различием их условий успешности, но и (в общем случае) с наличием третьей реплики в ситуации экзаменационного вопроса, выражающей отноше-

ние к ответу адресата. Абстрагирование от частных речевых актов позволяет обобщить понятие МДЕ для диалогов любой природы, а вопрос о количестве реплик, входящих в МДЕ, решать в каждом конкретном случае отдельно. В частности, в составе диалога можно встретить довольно длинные МДЕ: « — Будет лучше, если Лили останется у меня. — Зачем? — удивился Метти. — Она мне нужна. — Зачем? — переспросил Метти. — Я уже вам ответил. Она мне нужна. Я стану следить, чтобы она исправно посещала школу» (Дж. Олдридж).

Инициальная реплика представляет собой оценочное суждение, иллюкутивно предполагающее указания причин («почему будет лучше») и целей («зачем Лили должна остаться у адресанта»). Их неясность и вызывает (вынуждает) вопрос Метти. Неинформативность третьей реплики-ответа (немотивированность цели — по-прежнему остается неясным, для чего Лили должна остаться) вынуждает переспрос. И только финальная реплика завершает текст, речевые высказывания которого составляют единую МДЕ.

В какой степени введенный теоретический конструкт — МДЕ — соответствует интуитивному представлению о минимальности и законченности диалога? Рассмотрим ряд примеров, оценивая их с точки зрения минимальности и законченности.

- (1) — *Кем ты хочешь стать, Кит?*
— *Хочу работать в газете* (Дж. Олдридж).
- (2) — *Что хотел сказать Гоголь этими словами?*
— *Гоголь здесь пытался раскрыть жадность Собакевича.*
— *Хорошо* (Запись диалога на уроке литературы).
- (3) — *Второй первой любви не бывает.*
— *Я это знаю. Но хотела бы сама разобраться в себе* (А. Битов).
- (4) — *Принеси другую лампу.*
— *Какую?*
— *Ту, что висела в прошлый раз у тебя в комнате* (Запись диалога из телеспектакля).

Очевидно, что при разнообразии тем диалогов и способов их языкового оформления каждый из них воспринимается как единый законченный текст на свою тему и притом минимальный. Эту минимальность можно пояснить, применяя к диалогу операцию последовательного усечения. На поверхностном уровне такое усечение предстает как отбрасывание отдельных реплик диалога. С содержательной же точки зрения происходит локальное нарушение структуры отношений вынуждения и самовынуждения. Априори здесь имеются две возможности — в зависимости от степени обязательности (сильной или слабой) языкового выражения вторых членов этих отношений. В обоих случаях в результате усечения мы приходим к прагматической неправильности диалога, однако в первом случае эта неправильность устраняется лишь вербализацией второго члена, а во втором — его языковое выражение не является обязательным. Отметим, что по этому признаку пары конкретных речевых актов, внутренне связанных между собой отношением иллюкутивного вынуждения (типа «вопрос-ответ», «просьба-согласие/отказ», «обвинение-оправдание» и др.), отчетливо различаются. Так, ответ иллюкутивно связан с вопросом сильнее, чем, например, обещание и принятие обещания к сведению, а команда и ее выполнение связаны сильнее, чем жалоба и выражение сочувствия. Это означает, что в прагматически правильном диалоге ответ на вопрос, как правило, вербализован, а реакция на жалобу может быть чисто фатической (покачивание головой, междометные реплики, служащие лишь для поддержания контакта, и пр.).

Очевидно, что начинать усечение следует с финальной реплики. Инициальная реплика вообще не может редуцироваться, поскольку без нее

диалога нет, а промежуточные реплики интуитивно воспринимаются как менее подверженные усечению, чем последние. Начнем с первого диалога:

(1) ... → (1') — *Кем ты хочешь стать, Кит?*

Вопрос (1') выглядит как неполный текст или как незамкнутый вопрос [23]. Иллокутивная сила вопроса вынуждает заполнение валентности оператора вопроса, которая тем не менее в данном примере остается незаполненной, т. е. диалог не получился. Более сложным для анализа является диалог (2). Проведем усечение:

(2) ... → (2') — *Что хотел сказать Гоголь этими словами? — Гоголь здесь пытался раскрыть жадность Собакевича.*

Здесь редукция третьей, финальной реплики (редукция второй реплики дает очевидно аномальный результат) приводит хотя и к правильному со всех точек зрения диалогу, но относящемуся к совершенно иному прагматическому типу, т. е. от экзаменационного диалога мы переходим к обычному. Казалось бы, нарушено условие (iv) определения МДЕ: ведь мы нашли подпоследовательность реплик, которая, на первый взгляд, и есть МДЕ в данном отрезке диалога. Однако это нарушение кажущееся, условие (iv) выполнено, поскольку ответная реплика в диалоге о Гоголе не является абсолютно зависимым речевым актом. Она является носителем, первым членом отношения иллокутивного вынуждения между нею и репликой *Хорошо*, т. е. в подпоследовательности реплик (2'), взятой относительно (2), остается незамкнутым отношение иллокутивного вынуждения. Иное дело, диалог (2'), рассматриваемый безотносительно к (2). В нем, в отличие от последовательности (2'), омонимичной части (2), лишь одно отношение иллокутивного вынуждения. Этот пример показывает, сколь важным оказывается различие диалога с его структурой отношений вынуждения и самовынуждения и омонимичной ему подпоследовательности реплик в составе другого диалога.

Диалог (3) отличается от первых двух лишь тем, что первая реплика представляет собой утверждение-констатацию. Между тем и она в силу внутренней специфики любого диалога вынуждает ответную реакцию: ее редукция уничтожает диалог.

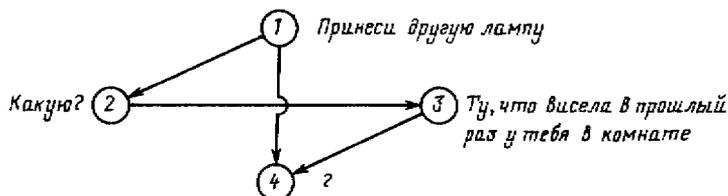
Куда более сложным для анализа предстает диалог (4). Отбрасывание третьей реплики очевидно приводит к аномалии. Попробуем теперь выбросить вторую реплику, показывающую, что адресату не ясен референт, о котором идет речь в первой реплике. Фактически диалог разрушается, мы получаем одну реплику-просьбу, ср. (4').

(4) ... → (4') — *Принеси другую лампу. Ту, что висела в прошлый раз у тебя в комнате.*

Коль скоро данная просьба, как и всякая просьба вообще, предполагает реальное осуществление, формальное выражение согласия или же отказ в ее осуществлении, то опять-таки имеет место невыполнение отношения иллокутивного вынуждения. Иными словами, перед нами случай, близкий к (1').

Означает ли, однако, что приведенная в (4) последовательность реплик есть МДЕ? Чтобы ответить на этот вопрос, представим все отношения вынуждения между репликами диалога (4) в явном виде на схеме 3.

Схема 3



Из схемы 3 мы видим, что одного члена отношения не хватает: акт просьбы не получил вербального отклика. В соответствии с За м е ч а н и е м А (см. выше) значимое отсутствие должно получить формальное выражение в виде нулевой реплики со значением согласия. Таким образом, для нахождения МДЕ в реальном тексте необходим катализ — восстановление всех членов отношений иллокутивного вынуждения и самовынуждения. Соответственно, анализ следовало бы начинать не с последовательности (4), а с модифицированного диалога (4'), отличающегося от последовательности (4) наличием нулевой реплики. И тогда именно с нее нужно было бы начать операцию усечения, что привело бы к подпоследовательности реплик (4), не являющейся по нашему определению МДЕ.

Приведем еще примеры фрагментов диалогов из пьес, которые по тем или иным причинам не составляют МДЕ в нашем смысле. Впрочем, и интуитивно их не хочется считать минимальными диалогическими структурами. Следующие ниже четыре сконструированных диалога иллюстрируют нарушение условий объединения реплик в одну МДЕ.

(i) *Н а р у ш е н и е у с л о в и я « о б щ е й т е м ы ».*

(5) *Татьяна Петровна: С нервами совсем плохо, все время боюсь сорваться.*

Василий Васильевич: Тогда я спрошу у вас впрямую. Почему вы так странно одеты?

(ii) *Н а р у ш е н и е у с л о в и я « ф о р м а л ь н о й к о н т е к с т н о й н е з а в и с и м о с т и М Д Е »* (первая речевая реплика не является абсолютно независимой; т. е. не выполняется отношение иллокутивного самовынуждения).

(6) *Нина Петровна: Понимаете?*

Ира: А чего же непонятного! То есть нет, не понимаю.

Очевидно, что в диалоге (6) отношение вынуждения, индустрированное вопросом Нины Петровны, выполнено в ответе Иры. Между тем реплика Нины Петровны не является иллокутивно (как, впрочем, и семантически) абсолютно независимой. На это, во-первых, указывает сама языковая форма первой реплики: вопрос *Понимаете?* может возникнуть только после предварительного речевого акта с иллокутивной силой утверждения (который в данном примере отсутствует). Также ведут себя и вопросы-уточнения типа *Ну и что?*, *Что с того?*, *Откуда вы это взяли?*, *С чего это вдруг?*. Во-вторых, об этом свидетельствует прагматический контекст приведенного обмена репликами. Рассмотрим минимальное расширение примера (6):

(6') *Нина Петровна: У меня очень сложная ситуация: дело в том, что у меня есть дочь, а у дочери — дочь. Понимаете?*

Ира: А чего же непонятного! То есть нет, не понимаю.

Этот диалогический текст уже удовлетворяет определению МДЕ: все реплики связаны здесь общей темой, первая фраза Нины Петровны (рассказ о ее жизненных затруднениях) — абсолютно независимый речевой акт, вызванный одними только ее намерениями; заключительная реплика Иры очевидным образом абсолютно зависима. Все отношения вынуждения, а также условие минимальности выполнены. Здесь важно, что вынуждаемая реплика *Понимаете?* «замыкается» вместе с первой репликой Нины Петровны, реализуя незамкнутое в диалоге (6) отношение иллокутивного самовынуждения.

4. Заключение

В заключение еще раз подчеркнем, что введенные понятия являются, на наш взгляд, необходимым инструментом описания структуры речевых взаимодействий в диалоге. Они позволяют представить диалогический текст в виде связанной структуры минимальных единиц, формирующих статическую иллокутивную структуру диалога. Тем самым реплики в составе минимальных диалогов связаны не только семантически и синтаксически, но и прежде всего иллокутивно. В качестве возможного формального аналога такой связи были предложены понятия иллокутивного вынуждения и иллокутивного самовынуждения. Их универсальный характер, не зависящий от природы конкретных диалогических текстов, позволил не только описать внутреннее устройство минимальных диалогов, но и определить их границы. В свою очередь это дает возможность поставить вопрос о наличии формальных показателей начала и конца МДЕ, а также выделить конкретные лексические типы таких показателей. В их семантике в максимальной степени отражено речевое взаимодействие между участниками диалога. Авторы надеются посвятить описанию таких единиц отдельную работу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Heidegger M. Being and time. N. Y., 1982. P. 264.
2. Бахтин М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. М., 1979.
3. Heritage J. Recent developments in conversational analysis // Warwick working papers in sociology. Coventry, 1984.
4. Sinclair J. McN., Coulthard M. Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. L., 1975.
5. Studies in discourse analysis / Ed by Coulthard M., Montgomery M. L., 1981.
6. Laver J. The production of speech // New horizons in linguistics / Ed by Lyons J. Harmondsworth, 1970.
7. Дейк Т. А. ван. Язык, познание, коммуникация. М., 1989.
8. Реформатский А. А. (при участии Кушанского М. М.). Техническая редакция книги: Теория и методика работы. М., 1933.
9. Пеньковский А. Б., Шварцкопф Б. С. Типы и терминология ремарок // Культура речи на сцене и на экране. М., 1986.
10. Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII: Лингвистика текста. М., 1978.
11. Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII: Теория речевых актов. М., 1986.
12. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII: Теория речевых актов. М., 1986.
13. Шкловский В. Тетива. М., 1983.
14. Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. М., 1985.
15. Leech G. N. Principles of pragmatics. L.; N. Y., 1983.
16. Stubbs M. Motivating analysis of exchange structure // Studies in discourse analysis / Ed by Coulterhard M., Montgomery M. L., 1981.
17. Гордон Д., Лакофф Д. Постулаты речевого общения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI: Прагматика. М., 1985.
18. Падучева Е. В. Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 1985.
19. Баранов А. Н., Кобозева И. М. Модальные частицы в ответах на вопрос // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988.
20. Крейдлин Г. Е., Разилина Е. В. Семантический анализ вопросно-ответных структур со словом какой // ИАН СЛЯ. 1984. № 5.
21. Падучева Е. В. Прагматические аспекты связности диалога // ИАН СЛЯ 1982. № 4.
22. Беллани Н., Стил Т. Логика вопросов и ответов. М., 1984.

© 1992 г. УШАКОВ В. Д.

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРИЯЗЫКОВОГО
СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕЧЕНИЙ
АРАБСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО ЯЗЫКА**

*Памяти дорогих учителей
проф. Х. К. Баранова (1892—1980)
и проф. К. В. Оде-Васильевой (1892—1965)*

1.1. Сравнительно-сопоставительный метод описания и изучения языков является одним из основных в лингвистической науке [1; 2, с. 5]. Он применяется как в ходе всестороннего, глобального исследования двух или более языков, так и в процессе сопоставления их «отдельных подсистем» [3, с. 8], — например, синтаксической [4], семантической [5] и других [6—11].

Что касается фразеологического аспекта, то пути его сравнительно-сопоставительного исследования впервые были намечены Л. И. Ройзензоном и Ю. Ю. Авалиани [12], а первая монография, специально посвященная сопоставительному анализу фразеологии двух языков (немецкого и русского), была написана А. Д. Райхштейном [7]. Сопоставление фразеологии различных языков проводилось также в специальных разделах монографий [6, с. 198—215; 2, с. 245—247; 13; 14, с. 38—40], в диссертациях и других публикациях¹.

В сфере фразеологии осуществляются и внутриязыковые сопоставления: одних фразеологических единиц (ФЕ) с другими, а также с нефразеологическими образованиями — отдельными лексемами, переменными словосочетаниями, структурно-семантическими схемами и т. п.

Что касается данной статьи, то она посвящается внутриязыковому сопоставлению фразеологических образований, встречающихся в различных разновидностях речи арабского классического языка (АКЯ). Главная цель такого сопоставления заключается в изучении структурных, семантических и стилистических особенностей фразеологии АКЯ и в определении употребительности ее различных разрядов в тех или иных речевых сферах. Кроме того, в наши задачи входит выявление стилистического своеобразия фразеологии Корана относительно некоранических фразеологических выражений и ее роли в формировании художественных характеристик этого литературного памятника.

Рассматриваемые в статье разновидности речи не тождественны функциональным стилям. В качестве образцов речевых произведений на АКЯ нами были использованы текст Корана, примеры из арабской поэзии, из лексикографических источников, образцы ораторской речи, различного рода цитации, пословично-афористические речения и образцы «бытовых» фразеологизмов классического периода развития арабского языка (VI—XII вв.).

1.2. В связи с тем, что данное исследование носит прежде всего фразеостилистический, а не фразеографический характер, в процессе отбора и

¹ Библиографию работ по сопоставительной фразеологии см. в [15—19].

анализа фразеологического материала мы обращаемся как к регулярным, воспроизводимым, т. е. языковым, так и к окказиональным, единичным, т. е. речевым, образованиям.

Следует заметить, что выполняемые в рамках современного языкознания фразеологические исследования в основном ориентированы на изучение инвентарных, словарных ФЕ, принадлежащих системе языка (см. [20]), тогда как акад. В. В. Виноградов, стоявший у истоков становления фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины, рассматривал ее как раздел языкознания, не только «обслуживающий» лексикографическую и фразеографическую практику, но и охватывающий область «речевой деятельности» [21]².

Фразеология, являясь «исторически вторичным отделом» языкознания [14, с. 8; 25], появилась на свет, выйдя из недр стилистики и лексикологии. На «генеалогическую» связь фразеологии с указанными дисциплинами обращали внимание многие ученые. Так, А. В. Кулин, с одной стороны, указывает на то, что термин «фразеология» был введен для обозначения «раздела стилистики», а в другом случае утверждает, что фразеология выделилась в отрасль языкознания из «раздела в лексикологии» [26]. Подобным образом В. Н. Телия подчеркивает, что «лингвистическая наука шла к выделению фразеологического состава языка из общей системы его выразительных (т. е. стилистических.— У. В.) средств» [27, с. 22], а, с другой стороны, указывает на то, что «именно лексикографическая практика во многом способствовала развитию фразеологии как особой лингвистической дисциплины» [27, с. 30]. В связи с тем, что исторически «языковая фразеология» связана с лексикологией и лексикографией, а речевые фразеологические образования представляют интерес прежде всего для риторики, естественно наше обращение к трудам арабских филологов IX—XV вв. по лексикологии (ильм аль-луга) и «науке о красноречив» (ильм аль-балага), в которых представлены переосмысленные и/или клишированные словосочетания и предложения, так или иначе коррелирующие с речевыми и языковыми фразеологическими речениями (фразеоречениями — ФР)³.

Термин ФР мы будем употреблять для обозначения как речевых, так и языковых фразеологических образований, поскольку термины «фразеологизм», «фразеологическая единица» традиционно утвердились за языковыми единицами. В то же время следует иметь в виду, что «в области синтаксиса нет резкой границы между фактом языка, запечатленным коллективным обычаем, и фактом речи, зависящим от индивидуальной свободы» [28].

В результате исследования структурно-семантических свойств ФР АКЯ и исходя из положения о том, что «пути развития сопоставительной фразеологии надо искать на основе широкого понимания объекта фразеологии» [29], мы подразделили ФР на следующие разряды: а) собственно фразеоречения — полностью или частично переосмысленные словосочетания, а также предложения неопословичного характера; б) глагольные перифразы, в которых глаголы оформляют грамматические связи и выражают абстрактные типовые значения инициативности, операционности, каузации и т. п.; в) пословично-афористические речения; г) образные сравнения.

2.1. Среди собственно ФР АКЯ одной из наиболее распространенных моделей является именное словосочетание «определяемое + несогласованное определение в родительном падеже» (идафа). В качестве первого

² Вопросы речевого и языкового подходов к фразеологии рассматривались нами ранее в [22, с. 91—92; 23, с. 109—110; 24, с. 2, 4, 5, 8].

³ В некоторых наших работах [23, 24] для обозначения как речевых, так и языковых фразеологических выражений мы использовали термин «фразеобразование». Однако поскольку отглагольные существительные в русском языке имеют значение как результативности, так и процессуальности, в данной статье мы пользуемся термином «фразеологическое речение», который, с одной стороны, ассоциируется с понятиями «речь», «речевой», а с другой — применим и к устойчивым образованиям.

члена идафы преимущественно выступают имена существительные, но наблюдается и препозиция прилагательных.

Идафные фразеосочетания (ИДФС) конструкции (N + N) распространены в поэтической и ораторской речи, в составе «классической» афористики и в Коране. Поэтические ИДФС отличаются от ИДФС других разновидностей речи большей конкретностью «объектов описания» (вторых членов идафы), в качестве которых выступают явления природы, судьба и т. п. (*yadu š-šamāli* «рука северного ветра», *rahā l-manīyūa* «жернова судьбы», *sayfu š-subḥi* «меч утра»). Для поэтической и, в меньшей степени, для других разновидностей речи характерна персонализация [30, с. 156] «объектов описания», создаваемая «наделением» их такими квазинатрибутами, как части тела, предметы и орудия быта, виды оружия и др.

«Объекты описания» в ИДФС Корана, в составе афоризмов и в ораторской речи отличаются большей абстрактностью по сравнению с ИДФС в поэзии. В Коране это «благочестие», «смирение», «милость», «сокровенность», а также «жизнь», «смерть», «страх» и др.; в «классических» афоризмах это в основном этические категории: «ложь», «тщеславие», «раскаяние», «любовь», «страсть», «разум», «зло» и др., хотя встречаются и понятия религиозной сферы: «вера», «прегрешения» и др. Чтобы дать представление об употреблении ИДФС в ораторской речи, приведем в качестве примера прескрипцию, приписываемую правоверному халифу Али ибн Аби Талибу (656—661 гг.):

*'ayyuhā n-nās (u) šuqqū 'amwāja l-fitan
bi-sufuni n-naǰātī wa-^carriḥū 'an tarīqī
l-munāfara wa-^qā'ū 'an tījāni l-mufāhara [31].*

О люди, разбейте волны смут
кораблями спасения, сойдите с пути
расрей и отбросьте короны тщливости⁴.

ИДФС конструкции «A + N_{род}» употребляются преимущественно в поэтической речи с целью описания, характеристики объекта высказывания. Адъективный компонент в таких фразеосочетаниях (ФС), как правило, характеризует субстантивный компонент — либо качественно, либо количественно: *kašīru ramādi l-qidri* (букв. «обильный золой [под] котелком»), «гостеприимный»; *šawīlu n-niǰādi* («длинный перевязью для меча») «высокий ростом» [32, с. 52; 33, с. 276—278; 34, с. 376—380]; *šafru l-wi-šāh* («пустой поясом») «с пустым желудком, голодный» [35, с. 315]. В Коране примеры на ИДФС «A + N_{род}» единичны: *qāširātu l-ṭarfi* (37, 48—49; 38, 52; 55, 56)⁵ («укорачивающие, ограничивающие взор») «с потупленными взорами», «скромные, стыдливые» [33, с. 275; 37; 38]. В то же время следует указать, что в Коране частотны словосочетания «A + N_{род}», в которых наблюдается идиоматичность синтаксического уровня и которые выполняют в этом произведении свою стилистическую роль, например — *šadīdu l-^ciqābi* «жесток в наказании» и т. п. (см. [22, с. 94]).

В различных разновидностях речи встречаются и переосмысленные (полностью или частично) адъективные конструкции «N | A». В Коране

⁴ Подобные ИДФС характерны и для песен и псалмов в Библии. Так, в «Хвалебной песне Давида...» находим: *волны смерти, потоки беззакония, цепи ада, сети смерти, щит спасения* (2 Цар. 22, 5—36).

⁵ Здесь и далее первая цифра в скобках обозначает номер суры, а цифра после запятой — номер аята по каирскому изданию Корана [36].

Указания на номера суры и аятов помещаются после перевода примера на русский язык, если он принадлежит И. Ю. Крачковскому и приводится без изменений, а если же в перевод И. Ю. Крачковского внесены изменения либо если перевод выполнен нами, то эти указания располагаются сразу после текста оригинала.

их сравнительно немногo: *ṣirāṭun mustaqīmun* (1,6; 2, 142 и др.) «прямой путь» в значении *ad-dīnu* «вера, религия» [39, с. 49; 40]; в адвербиальной функции выступает *habā'an mansūran* «прахом развеванным» (25, 23), т. е. «ничем». В качестве примеров на некоранические адъективные ФС приведем: *lahu 'indī yad bayḏā'* [33, с. 211] («он имеет у меня белую руку») «он имеет заслугу передо мной, он оказал мне милость», *mawt 'ahmar* [41, с. 134] («красная смерть») «насильственная смерть», *al-ḡanīma al-bārīda* [35, с. 278] («холодная добыча») «легкая добыча».

2.2. Наряду с именными фразеосочетаниями в АКЯ распространены и именные фразеопредложения, которые подразделяются на собственно фразеопредложения (ФП) и на пословично-афористические речения (ПАР). В данном разделе рассматриваются непословичные именные ФП.

ФП (в отличие от ПАР — см. ниже) не обладают обобщающим значением, а указывают на какое-либо свойство или состояние субъекта описываемой ситуации, на тот или иной аспект обозначаемых явлений или процессов.

Коранические именные ФП непословичного характера имеют переосмысленные компоненты в субъектной и/или предикатной частях. Нами вычленены следующие структурные типы этих ФР: а) обстоятельственное сказуемое + подлежащее, б) подлежащее + именованное сказуемое, в) подлежащее + обстоятельственное сказуемое, г) эллиптическая конструкция.

Наиболее употребительное в Коране ФП разряда а): *ḫi qulūbihim taraḏun* «в их сердцах болезнь» (2, 10; 5, 52 и др. — всего 12 примеров). Идиоматичность этого ФП заключается в том, что *taraḏun* обозначает «болезнь» не в медицинском, физическом смысле этого слова, а в духовном, моральном, указывая на такие «недуги», как сомнение в отношении веры, неверие, лицемерие и т. п. [42, с. 4, 147].

Из примеров на ФП конструкции б) дважды встречается *qulūbunā ḡulḫun* «сердца наши не обрезаны» (2, 88; 4, 155), т. е. «неприкосновенны, недоступны (для веры)»⁶.

ФП *al-qulūbu ḫada l-ḡanājiri* (40, 18) «сердца — у гортаней» (от страха) представляет собой пример на конструкцию в). В нем чувство страха передано физическим движением сердца, которое якобы переместилось к гортани (ср. англ. *to have one's heart in one's mouth/throat* букв. «иметь свое сердце в своем рту / горле», русск. *душа в пятки ушла*). Пример на эллипсированное ФП: *ḡanī'an marḡ'an* «на здоровье и благополучие» (4, 4).

Большинство коранических именных ФП обозначает неприятие веры, бесчувственность, жестокость сердец неверных и т. п. В отдельных же ФП «сердце», напротив, выступает как средоточие твердости, надежности в вере: *wa-ḡalbulu miṭma'innin bi-l-īmāni* (16, 106) «а сердце его надежно в вере». См. также (3, 126; 5, 113 и др.). Из числа ФР, обозначающих «светские» характеристики субъекта, можно привести в качестве примера: *wa-ḡalati l-yahūdu yadu ḫāhi maḡlūlatun... bal yadāhu mabsūṭatāni* (5, 64) «И сказали иудеи: „Рука Аллаха в оковах (скупости)“... „Но нет! Руки Его простерты (в щедрости)“».

3.0. К глагольным относятся ФР, включающие в свой состав в качестве обязательного компонента глагол. Такие ФР в АКЯ в целом и в Коране в частности отличаются большим структурным разнообразием (см. [24, с. 14—16]). С точки зрения содержательной для коранических глагольных ФР характерно преобладание образных средств передачи душевного состояния человека, его переживаний и т. п. (см. [43]). Например: *'addū*

⁶ Ср. библейск.: *Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не по обрезанию, которое наружно, на плоти;*

Но тот Иудей, кто внутренне таков, и по обрезанию, которое в сердце, по духу, а не по букве: елика и полова не от людей, а от Бога (Рим 2, 28—29). См. также: (Быт. 17, 9—14; 17, 23—27; Иер. 4, 4; 6, 10; 9, 25—26; Лев. 26, 41; Втор. 10, 16; 30, 6; Рим. 2, 25—27; Деян. 7, 51).

l-'anāmīla minā l-ḡayzi «кусают от злости к вам пальцы» (3, 119); *wa-yaqbi-dūna 'aydiyāhum* (9, 67) «и сжимают руки в кулаки (от скупости)»⁷.

Из «поэтических приемов», встречающихся в Коране, можно указать на отдельные примеры персонификации «утра», «неба», «земли», «войны»: *wa-ṣ-ṣubḥi 'izā tanaffasa* «и зарей, когда она дышит» (81, 18); *ja-mā bakat 'alayhimu s-samā'u wa-l-'arḍu* «И не заплакали над ними ни небо, ни земля» (44, 29). Последний пример можно сопоставить с поэтическим описанием начала дождя: *ḡaḥika s-saḥābu bi-l-barqī wa-manna bi-r-ra'di wa-bakā bi-l-qatīri* [33, с. 212] «Засмеялись тучи молнией и пожаловали громом, и разрыдались каплями».

«Тематика» некоранических ФР весьма разнообразна. Она охватывает явления природы — *saḡata s-samā'u* [44; 33, с. 212; 35, с. 266; 39, с. 344; 34, с. 326] букв. «упало небо» в значении «выпал дождь»; душевное состояние человека — *'iswadda n-nahāru fī 'aynayya* [39, с. 198] «потемнел день в моих глазах»; различные бытовые ситуации — *'alqā ḡablaku 'alā ḡarībī-hi* [32, с. 330; 45, ч. 2, с. 210] («бросить свою веревку на его загривок»), «предоставить кому-л. полную свободу действий» (в основе ФР лежит сравнение с верблюдом, которого отпускают пастись на воле) и др.

Многие «поэтические» глагольные ФП включают в свой состав идафные ФС. Например, «приближение утра» передается с помощью ФП *šāba ra'su l-layli* «поседела голова ночи»; *sulla sayfu s-ṣubḥi min ḡimḍi z-zalāmi* [41, с. 586] «извлечен был меч утра из ножен мрака».

3.1. Частным случаем глагольных фразеоречений являются ФР, выражающие такие типовые абстрактные значения (лексические функции — ЛФ), как инцептивность, финитность, каузация, операционность, реализация, фактивность и др. [46, с. 45—55]. ЛФ могут быть переданы с помощью: а) полностью или частично переосмысленных ФР — *ja'ala 'alā qulūbihim 'akinnatan* (6, 25; 17, 46; 18, 57) («возложить на чьи-л. сердца покровы»), «поразить кого-л. невежеством, бесчувственностью» (каузативная ЛФ — Labor_{1,2}); *wa-šta 'ala r-ra'su šayban* (19,4) «и запылала голова сединой» (ЛФ Incep Pred Plus указывает на инцептивность процесса поседедения); б) слабо идиоматичных глагольных перифраз, выполняющих лексические функции (ГП — ЛФ), в которых глагольный компонент обычно обладает частичной идиоматичностью уровня означающего (семасиологической) или/и уровня означаемого (ономасиологической) — *'aḡāta ṣ-ṣalāta* «совершать молитву» (операционность — Oper₁) (см. [47]).

ГП—ЛФ разряда б) представляют большой интерес ввиду их широкой употребительности в Коране и той важной стилистической и «идейной» роли, которую они выполняют в этом памятнике. Некоторые из таких перифраз «не имеют четкого семантического содержания (за исключением того, что берут на себя выражение глагольных категорий) и выполняют по существу чисто синтаксическую функцию „оглаголивания“ существительных...» [46, с. 46]. Однако подобные ГП, выступая в качестве сверхсловных эквивалентов отдельных глаголов, выполняют и стилистическую роль, придавая высказываниям официально-торжественную окраску. Не случайно в Коране нередко отдается предпочтение аналитическому способу выражения того или иного значения перед однословным. Например, смысл «исполнения молитвы» в памятнике с помощью ГП *'aḡāta ṣ-ṣalāta* «совершать молитву» передан 47 раз, а глаголом *ṣallā* «молиться» — лишь 16 раз, т. е. почти в три раза реже.

Другие ГП—ЛФ, находясь друг с другом в конверсных отношениях и по-разному оформляя связи между названным описываемой ситуацией и ее участниками, «...представляют один и тот же смысл в разных направлениях» и с различной расстановкой акцентов» [46, с. 257]. В Коране син-

⁷ Ср. библейск.: и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим (Втор 15, 7).

таксическое варьирование представления одной и той же ситуации выполняет не только стилистическую, но и существенную «идейную» нагрузку. Такое варьирование позволяет изобразить человека пассивным, беспомощным перед тем или иным действием, событием, которое «постигает его, обрушивается на него» и т. п. (*yamassuhumu l-'azābu bi-mā kānū yafsuqūna* (6, 49) «постигнет их наказание за то, что они творили нечестие»); дает возможность представить его «подверженность» какому-л. действию либо непосредственно [*li-yazūqū l-'azāba* «чтобы они вкусили наказания» (4, 56)], либо в результате «активности» некоего субъекта, в качестве которого в Коране в подавляющем большинстве случаев выступает Аллах [23, с. 115; 24, с. 20] [*nuzīquhu 'azāba l-hariqi* (22, 9) «Мы заставим вкусить его наказание огнем»] и т. п. Для коранических ГП характерно чередование в них «отрицательных» и «положительных» ситуаций. Так, человеку не только может быть ниспослано «наказание», но и дарована «милость»: *sayu 'īnā ḥāku min faḍlihi* (9, 59) «дарует нам Аллах из милости Своей»⁸.

Разнообразие синонимических средств выражения ЛФ служит целям создания экспрессивности. Распространенность многих ГП—ЛФ, передающих идеи «реализации», «операционности», в формах императива свидетельствует о дидактичности, прескриптивности, свойственной тем или иным аятам и сурам.

4.0. Фразеопредложениям, описывающим частные аспекты ситуации, противопоставимы ФП, обладающие «сентенциозностью» [48], осуществляющие «дидактическую цель» [49], имеющие «обобщающе-назидательное значение» [50], т. е. пословично-афористические речения. ПАР подразделяются на пословицы, в которых наблюдается семасиологическая идиоматичность, и на афоризмы, для которых характерна ономасиологическая идиоматичность (см. [51, 52]).

4.1. Именно афористические речения характерны для Корана. Они представляют собой суждения религиозного, этического характера, предписания, назидания, обобщения жизненных наблюдений и т. п. Например: *'innamā l-hayātu d-dunyā la'ibun wa-lahwun* «Ведь ближайшая жизнь — только игра и забава» (47, 36); *wa-lā yahīqu l-makru s-sayyi'u 'illā bi-'ahlihi* (35, 43) «И оборачивается злое ухищрение против тех, кто задумал его»⁹; *man ya'mal s'ūan yujza bihi* (4, 123) «Кто совершит зло, тому злом и воздастся».

Важную текстообразующую роль в Коране играют афористические прескрипции (см. [22, с. 98]). Например: *ḥtanibū kaṣīran mina z-zanni 'inna ba'da z-zanni 'ismun* (49, 21) «Избегайте всяческих домыслов! Ведь некоторые домыслы — греховны».

4.2. Некоранические афористические речения с точки зрения их содержания можно подразделить на следующие разряды:

а) Афористические суждения, в которых, как и в Коране, излагаются этические и моральные нормы ислама; многие из них приписываются пророку Мухаммаду, его сподвижникам, правоверным халифам и др. Например: *an-nāsu sawāsiyatun ka-'asnāni l-muṣṭi lā faḍla li-'arabiyy 'alā 'afamiyy 'illā bi-t-taqwā* [53] «Люди равны, как зубья гребня, — нет у араба преимущества над неарабом ни в чем, кроме как в благочестии»; *abgādu l-halāli 'ilā ḥāhi at-talāq* [54] «Самое богопротивное из разрешенного (исламом) — развод».

⁸ Корану в целом свойственно «стягивание к контрастности сюжетов и образов» [30, с. 67], сочетание угроз, увещеваний, благих обещаний и т. п. В этой связи здесь уместно привести высказывание, приписываемое первому правоверному халифу Абу Бакру (632—634): *'inna ḥāna qarana wa'dahu bi-wa'idihī li-yakūna l-'abdu rāgīban rāhiban* «Понимаете, Аллах соединяет обещание с утешением, чтобы был раб (божий) алчущим, страшащимся» [45, ч. 2, с. 450].

⁹ Ср. библейск.: *да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют* (Псал. 9, 23), а также (Иов 5, 13; 1 Кор. 3, 19).

Отдельные афоризмы представляют собой коранические реминисценции. Например, афористическая прескрипция *'atbi'i s-sayyi'ata l-hasanata tamhuha* [45, ч. 2, с. 145] «После прегрешения сверши доброе дело, — и ты загладишь свой грех» ассоциируется с аятами (11, 114; 13, 22; 23, 96; 25, 70; 27, 11; 28, 54; 41, 34).

б) Афоризмы, представляющие собой обобщения человеческого опыта, содержащие имплицитные и эксплицитные оценки и предписания. Например: *hayru l-māl 'aynin sāhira li-'aynin nā'ima* [55, с. 20] «Наивысшее благо — око бдящее для oka спящего». Среди ПАР распространены компаративные афоризмы (аль-масаль ат-ташбихий): *an-nadamu 'ala s-sukūt hayr mina n-nadami 'ala l-qawl* [45, ч. 2, с. 346] «Лучше раскaiваться о том, о чем умолчал, чем о том, что сказал»¹⁰.

Многие афоризмы содержат имплицитную оценку — *man rakiba zahra l-bā'īl nazala dāra n-nadāma* [58, с. 7] «Кто взберется на хребет лжи, тот сойдет в обители раскаяния»; представляют собой прескрипции *'irhamū azīzan zalla 'irhamū ġaniyyan 'iftaqara 'irhamū 'āliman dā'a bayna juh-hāl* [55, с. 27] «Пожалейте достойного, если он унижен; пожалейте богато-го, если он разорен; пожалейте ученого, затерявшегося среди невежд» [использована стилистическая фигура «градация» (ат-тадарудж)].

Отдельные пословично-афористические речения восходят к поэтической речи, другие коррелируют с теми или иными строками из касыд таких известных средневековых поэтов, как Имруулькайс (500—540), Тарафа (VI в.), Набига аз-Зубьяни (ум. ок. 604), Джарир (ум. 737) и др. Например, вошедшее в поговорку *al-yawma hamrun wa-ġadan 'amrun* [45, ч. 2, с. 417] «Сегодня вино, а завтра дело» восходит к стиху Имруулькайса и т. п.

Для афоризмов характерно использование таких образных средств, как оппозиция, синтаксическая симметрия, паронимазия, аллитерация и др., «поддерживающих» их клишированность, устойчивость и выделяющих их из ряда других, тривиальных синонимических средств передачи одного и того же означаемого.

4.3. В ряду ПАР афоризмам противопоставляются пословицы, представляющие собой либо полностью, либо частично переосмысленные предложения с назидательным или в той или иной степени обобщающим значением.

Один и тот же смысл афоризм и пословица передают разными способами. Так, «тщеславие» осуждается с помощью «прямого высказывания», т. е. афористически, в предложении *ra'su l-ġahli l-ġitīrār* [45, ч. 1, с. 317] «Вершина невежества — тщеславие» и с помощью переосмысленного предложения — пословицы: *'anfun fi s-samā' wa-stun fi l-mā'* [45, ч. 1, с. 21] «Нос в небеса задирает, а задом в луже восседает», букв. «Нос в небесах, а зад в воде». В первом случае афоризм в обобщенной форме характеризует, оценивает многообразие частных проявлений «тщеславия». Пословица же оценивает ту или иную ситуацию «тщеславия» с помощью другой частной ситуации, которую принято использовать как идиоматичное средство обозначения этого порока [52, с. 140—144].

Пословицы обычно менее «философичны» и более конкретны, чем афоризмы. В качестве объекта их описания, как правило, выступают обыденные ситуации, служащие образным средством осуждения, назидания, предостережения и т. п. Например: *'inna li-l-ħitān 'azān(an)* «Воистину, стены имеют уши»; *'ummu l-kāzib bīkr* [45, ч. 1, с. 88, 89] «Мать лжеца — девственница». Среди пословиц, как и среди афоризмов, распространены прескрипции: *lā tadħul bayna l-basala wa-qi'srihā* [45, ч. 2, с. 260] «Не влезай

¹⁰ Распространенность компаративных афоризмов и пословиц (см. [56]) связана с делением оценок на абсолютные и сравнительные [57].

между луковицей и ее кожурой». Многие пословицы включают в себя условия реализации того или иного действия: *'izā ta'auwada s-sinnūr kašfa l-quḍūr fa-'lam 'annahu lā yašbiru 'anhu* [45, ч. 1, с. 88] «Если привыкла кошка лазить по горшкам, то знай, что [так просто] она от этого не отвадится».

Некоторые ПАР, содержащие отдельные переосмысленные компоненты, можно рассматривать как «переходные случаи» между афоризмом и пословицей: *'aydī l-'uqūl tumsiku 'a'innata n-nufūs 'ani l-hawā* [59, с. 84] «Руки разума удерживают поводья душ от безрассудства».

5.0. Среди сверхсловных средств выразительности как в Коране, в поэзии, так и в других разновидностях речи АКЯ широко употребляются образные сравнения — ОС (ат-ташбих). Отличие образных сравнений от «истинных» (*Она красива, как ее сестра*) заключается в том, что в ОС «один предмет описания приравнивается к другому... независимо от того, равны они между собой (в действительности. — У. В.) или нет» [33, с. 180]. Ат-ташбих в арабской классической науке о красноречии рассматривается не как разновидность тропа (аль-маджаз), а как одно из средств выразительности (махасину ль-калам), в котором не наблюдается «отклонения от исходного» значения и с помощью которого какое-либо качество, свойство передается от того, у кого/чего оно в избытке, тому, у кого/чего этого качества, свойства недостает [39, с. 78—80; 60]; см. также [61]¹¹.

5.1. Образные сравнения в Коране представляют собой одно из наиболее распространенных стилистических средств. Они весьма разнообразны с точки зрения их структуры, образности, содержания. Являясь оценочными суждениями, ОС служат целям устрашения, побуждения, осуждения, поощрения и т. п. и тем самым способствуют эффективности воплощения художественного замысла творца памятника. Большинство коранических сравнений — не тривиальны, достигают высокой степени выразительности.

С точки зрения структурной ОС можно подразделить на такие, в которых образ сравнения (мушаббах бихи) является: 1) нераспространенным, т. е. выраженным словом, словосочетанием или одним предложением; 2) распространенным, развернутым, составленным из нескольких предложений, обозначающих цепочки образов либо целостную картину. Например: *ka-'annahum jarādun muntaširun* «точно они саранча рассыпавшаяся» (54, 7); *masalu llazīna hummilū t-tawrāta summa lam yaḥmilūhā ka-masali l-ḥimāri yaḥmilu 'asfāran* «Те, кому было дано нести Тору, а они ее не понесли, подобны ослу, который несет книги» (62, 5). В качестве примера на развернутое ОС приведем несколько измененный нами перевод из (24, 35): «Аллах — свет небес и земли. Его свет — точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло — точно звезда жемчужная. Зажигается она от дерева оливкового, благословенного — ни восточное оно и ни западное. Масло его готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет и еще свет! Ведет Аллах к Своему свету, кого пожелает...»¹².

Заметим, что распространение образа сравнения в коранических ОС осуществляется обычно с помощью присоединения к его «стержневому» слову придаточного предложения, чаще всего — определительного, в основном — бессоюзного (14, 18; 14, 24—26; 74, 49—51), а также придаточного цели (13, 14), условия (7, 176) и др. Образ сравнения в развернутых ОС предстает либо в виде «цепочки», либо в виде «грозди». В последнем случае предмет сравнения описывается, характеризуется с помощью различных, не связанных друг с другом картин (см., например, 2, 16—20;

¹¹ Многие положения арабской теории ташбиха соотносятся с взглядами современных ученых, исследующих ОС. См. [62].

¹² Ср.: *Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет* (Псал. 35, 10).

24, 39—40). В распространенных ОС встречаются и вводные предложения, и отступления от основного хода мыслей, например — (24, 39—40). Нередко за ОС следуют назидания, выводы, предписания, угрозы; см. (10, 24; 18, 45; 42, 32; 2, 223; 62, 5; 45, 8); подробнее см. [22, с. 96—97].

5.2. ОС является одним из самых излюбленных художественных приемов в арабской классической поэзии. Структурные разновидности образных сравнений в поэзии разнообразны. В частности, «весьма характерно для древнеарабской поэтики сплетение сравнений, каждое из которых составляет отдельное звено, имеющее самостоятельную ценность, в длинную цепь сравнений» [30, с. 40, 41], которая «может быть построена и как ряд сравнений, относящихся к одному предмету» [30, с. 42]. Особо следует указать на употребительность в поэзии приема распространения отдельных слов или словосочетаний с помощью атрибутивных конструкций. Например:

wa-^currīta min mulkin wa-^hayrin jama^ctahu

katā ^curriyat mimmā tumirru l-magāzilu [58, с. 124].

И стащена с тебя власть и добро, которые ты собрал,
Как стаскивают с веретен то, что они свивают.

Аль-А^cша (VI—VII вв.) [59, с. 325].

*ka-^aanna muḡāra n-naḡⁱ fawqa ru'^usinā
wa-^asyūfanā laylun tahāwā kawākibuhu* [39, с. 151].

Столбы ныли над нашими головами
И наши мечи подобны ночи и падающим звездам.
Башшар ибн Бурд (уб. в 783 г.).

*wa-l-badru fī 'uḡi s-samā'i ka-dirhamin
malḡiyyin ^calā dībājatīn zarḡā'a* [63].

И полная луна на небосклоне подобна дирхему.
Брошенному на синюю парчу.

Ибн аль-Му^cтаз (861—908).

5.3. Среди некоранических ОС распространены афористические сравнения, которые частично были рассмотрены выше. Здесь отметим лишь, что некоторые из таких сравнений представляют собой коранические реминисценции, отличаются глубокомыслием, «философичностью». Известному филологу и переводчику Ибн аль-Мукаффа^c (721—757) принадлежит следующее сравнение: *ad-dunyā ka-l-mā'i l-milki kullamā zādta minhu šurban 'izdadta 'aṭāšan* [33, с. 185] «Этот мир, как соленая вода, — чем больше ты его пьешь, тем сильнее становишься жаждя». Оно явно перекликается с аятами (10, 24; 18, 45). Очевидно наличие коранической реминисценции и в ОС: *al-mu'mīnu li-l-mu'mīni ka-l-bunyāni yašuddu ba'ḡuhu ba'ḡan* [45, ч. 2, с. 449] «Правоверный для правоверного — как здание, одна часть которого поддерживает другую» — см. (61, 4). Некоторым нерифмованным кораническим ОС соответствуют рифмованные некоранические. Рифма в таких ОС создает их клишированность. Ср., например: *wa-lā uḡlab-bi'uka miḡlu ḡabīrin* (35, 14) «И никто не возвестит тебе так, как сведущий» и *laysa l-muḡīr ka-l-ḡabīr* [45, ч. 2, с. 257] «Сведущий [важнее], чем дающий указания».

5.4. Широко распространены в АКЯ и «бытовые» ОС. «Предмет сравнения» во многих из них непостоянен, что способствует метафоризации «образа сравнения». Так, о человеке, совершающем бесполезные действия, говорят: *hiwa ka-l-ḡābiḡ 'ala l-mā'* «он как хватящий воду руками». Многие из «бытовых» ОС отличаются нетривиальностью, оригинальностью образа сравнения, например: *ka-l-ḡādī laysa lahu ba'īr* «как погонщик, у которого нет верблюда»; *wa-^anta ka-man yajma'u s-sayḡayni fī ḡimḡin* [39, с. 86] «Ты подобен тому, кто вкладывает два меча в одни ножны».

В результате проведенного анализа фразеоречений арабского классического языка получены данные о распределении их различных разрядов в тех или иных функциональных сферах, об их структурно-семантических и стилистических особенностях.

Так, для текста Корана характерны: а) распространенность кинематических и соматических ФР; б) высокая встречаемость слабо идиоматичных глагольных перифраз; развитость синонимических средств передачи лексических функций; в) относительно широкое использование развернутых образных сравнений; г) выражение «обобщенно-назидательных» смыслов афористическими, а не пословичными средствами.

Кинематические и соматические ФР в памятнике используются в значительной степени для образной передачи душевного состояния человека, его чувств и переживаний. Таким образом, распространенность этого разряда ФР объясняется особым вниманием к внутреннему миру человека и, в частности, к его отношению к религии.

Многообразие перифрастических средств в Коране, широкое использование глагольных аналитических конструкций в формах императива придают многим местам памятника официально-торжественную окраску и черты дидактичности. Различные способы оформления субъектно-объектных отношений между участниками описываемой ситуации используются как важное стилистическое средство, выполняющее «идейную» нагрузку.

В то же время следует отметить, что «художественные» именные перифразы (*волны смут, рука ветра* и т. п.) в большей степени характерны для ораторской и поэтической речи, причем в поэтических перифразах широко используется прием персонификации субъекта. В Коране же преобладают перифрастические обозначения Аллаха, а также идиоматические средства конкретизации абстрактных понятий. Для именных перифраз, встречающихся в классической афористике, также характерна абстрактность «предметов описания» («вершина невежества», «хребет лжи» и т. п.).

Относительно высокая употребительность в Коране развернутых образных сравнений составляет одно из своеобразий этого литературного памятника. Использование таких ОС служит целям подробного, детального и как можно более убедительного описания предмета сравнения.

Использование в Коране афористических суждений и прескрипций, обладающих «прямым» значением, и практическое отсутствие в нем собственно пословиц — т. е. полностью или частично переосмысленных, образных фразеопредложений обобщенного характера — свидетельствует о недвусмысленной сентенциозности, назидательности многих мест этого памятника («И не ходи по земле горделиво...»; «Аллах не любит ликоующих» и т. п.).

Для классических афористических суждений (противопоставимых бытовым) характерно глубокое философское, этическое или религиозное содержание, а также широкое использование «клиширующих» стилистических приемов — таких, как структурная симметрия, антитеза, паронимия, рифма и др.

Бытовые фразеоречения, построенные на основе конкретно-образного восприятия мира, отличаются связью с повседневной действительностью, наглядностью и «предметностью» обозначаемых ими отрезков ситуации.

Для бытовых пословично-афористических речений характерна распространенность пословиц, с помощью которых конкретными идиоматичными средствами обозначаются абстрактные ситуации. Ситуации, описываемые афористическими и пословичными средствами, могут совпадать. Однако в большинстве случаев «смыслы», выражаемые пословицами, менее абстрактны и более «приземлены», чем «смыслы», обозначаемые классическими афоризмами. Различны и средства выразительности, используемые соответственно в бытовых и классических пословично-афористических речениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Солнцев В. М. Типология и тип языка // ВЯ. 1978. № 2. С. 26, 27.
2. Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков. М., 1989.
3. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. М., 1989.
4. Мецциниов И. И. Члены предложения и части речи. Л., 1978. С. 3.
5. Горюдецкий Б. Ю. К проблеме семантической типологии. М., 1969.
6. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. М., 1977.
7. Райхштейн А. Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии М., 1980.
8. Шерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 39.
9. Тезисы дискуссии «Типология как раздел языкознания». М., 1976.
10. Будагов Р. А. Сравнительно-семаснологические исследования (романские языки) М., 1963.
11. Будагов Р. А. Сходства и несходства между родственными языками. М., 1985
12. Ройзензон Л. И., Авалиани Ю. Ю. Современные аспекты изучения фразеологии // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей школе. Вологда, 1967
13. Копыленко М. М., Попова З. Д. Очерки по общей фразеологии. Воронеж, 1972 С. 34—36.
14. Копыленко М. М., Попова З. Д. Очерки по общей фразеологии. Воронеж, 1978
15. Ройзензон Л. И., Бушуй А. М. Материалы к общей библиографии по вопросам фразеологии // Тр. СамГУ им. А. Навои. 1970. № 186. Вып. II. С. 48—54.
16. Библиографический указатель литературы по вопросам фразеологии. Вып. III / Сост. Ройзензон Л. И., Бушуй А. М., Ройзензон С. И. Самарканд, 1974. С. 37—42.
17. Бушуй А. М. Библиографический указатель литературы по вопросам фразеологии. Вып. IV. Самарканд, 1976. С. 30—32.
18. Бушуй А. М. Библиографический указатель литературы по вопросам фразеологии. Вып. V. Самарканд, 1979. С. 30—36.
19. Гольмагомедов А. Г. Библиографический указатель литературы по вопросам сопоставительной фразеологии // Исследования по общей и дагестанской фразеологии. Махачкала, 1989.
20. Дубинский И. В. Приемы использования фразеологических единиц в речи: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Баку, 1964. С. 3.
21. Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // Виноградов В. В. Избр. тр.: Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 119.
22. Ушаков В. Д. Стилистическая функция фразообразовательных средств (на материале текста Корана) // ВЯ. 1984. № 4.
23. Ушаков В. Д. Фразеологизация в Коране и способы их перевода на русский язык // Народы Азии и Африки. 1988. № 1.
24. Ушаков В. Д. Фразеология арабского классического языка (на материале языка Корана): Автореф. дис. ...докт. филол. наук. М., 1989.
25. Телия В. Н. Фразеология // Теоретические проблемы советского языкознания М., 1968. С. 257.
26. Кунип А. В. Курс фразеологии современного английского языка. М., 1986. С. 9, 11.
27. Телия В. Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М., 1981.
28. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 157.
29. Копыленко М. М., Попова З. Д. Сопоставительная фразеология: состояние и перспективы // Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака. Воронеж, 1983. С. 154.
30. Шидфар Б. Я. Образная система арабской классической литературы (VI—XII вв.). М., 1974.
31. *Ar-Raḍīyyu. Nahju l-balāga. Bayrūt (6. r.). J. 1. S. 40.*
32. *Al-Jurjāni 'Abdalqāhir. Dalā'ilu l-'ijāz fi 'ilmi l-ma'āni. Bayrūt, 1982.*
33. *Al-'Askari Abū Hilāl. Kitābu ṣ-ṣinā'atayni al-kitābati wa-ṣ-ṣi'r. Istanbūl, 1903.*
34. *At-Taftazāni Sa'adaddin. Muhtaṣir al-ma'āni. Qizfāši, 1889.*
35. *Ibn Rašīf al-Qayrawāni. Al-'umda fī maḥāsin aṣ-ṣi'r wa-'adabihī wa-naqdihī. J. 1. Al-Qāhira, 1955.*
36. Коран / Перев. и коммент. Крачковского И. Ю. 2-е изд. М., 1986. С. 23.
37. *Ibn al-'Aḡir Diyā'addin. Al-maṣāl as-sā'ir fī 'adabī l-kātib wa-ṣ-ṣā'ir. J. 1. Al-Qāhira, 1939. С. 397.*
38. *As-Suyūṭī Jalāladdin. Kitābu l-'itqān fī tafsīr al-Qur'ān. J. 2. Al-Qāhira, 1888. S. 50.*
39. *Al-Jurjāni 'Abdalqāhir. Asrāru l-balāga fī 'ilmi l-bayān. Al-Qāhira, 1953.*
40. *Al-Qazwīni al-Ḥaṭīb. At-talḥīs fī l-kalām fī 'ulūmi l-ma'āni wa-l-bayān wa-l-badī'. Al-Qāhira, 1904. S. 204.*

41. *As-Sa'ālibi Abū Mansūr*. Fiqh al-luġa wa-sirru l-'arabiyya. Al-Qāhira, 1952.
42. Al-Qur'ān al-karīm. Tafsīr al-Jalālayān: *al-Mahallī wa-as-Suyūṭī*. Bayrūt, 1987.
43. *Верещанин Е. М., Костомаров В. Г.* О своеобразии отражения мимики и жестов вербальными средствами (на материале русского языка) // ВЯ. 1981. № 1.
44. *Al-Jāhiz Abū 'Ugmān*. Kitābu l-haywān. K. 1. J. 5. Al-Qāhira, 1943. S. 425.
45. *Al-Maydānī Aḥmad*. Majma' al-'amsāl. J. 1—2. Bayrūt, 1972.
46. *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1967.
47. *Ушаков В. Д.* Фразеологические сочетания в современном литературном арабском языке // Тр. СамГУ им. Алишера Навои. Новая серия. Вопросы фразеологии. 1976. VII. Вып. 277.
48. *Черкасский М. А.* Опыт построения функциональной модели одной частной семнотической системы (поговорки и афоризмы) // Паремнологический сборник. Пословица, загадка (структура, смысл, текст). М., 1978. С. 38.
49. *Кунин А. В.* Английская фразеология. М., 1970. С. 251.
50. *Рубинчик Ю. А.* Основы фразеологии персидского языка. М., 1981. С. 225.
51. *Ушаков В. Д.* Паремии арабского языка (опыт диахронического анализа) // Сб. статей по языкознанию. № 14 (18). М., 1983.
52. *Ушаков В. Д.* Арабские паремии (опыт функционально-стилистического анализа) // Сб. статей по языкознанию. № 14 (18). М., 1983.
53. *Az-Zayd Ḥalīd Sa'ād*. Min al-'amsāl al-'ammiyya. Al-Kuwayt, 1961. S. 9.
54. *Riḍā'uddīn ibn Faḥruddīn*. Jawāmi' al-kalim muntaḥabatan min kitāb al-jāmi' as-ṣagīr li-l-'imām as-Suyūṭī. Qazān, 1911. S. 6.
55. *Al-Jāhiz Abū 'Ugmān*. Al-bayān wa-t-tabayīn. Al-Qāhira, 1956. J. 2.
56. *Кунин А. В.* Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания. М., 1972. С. 256—257.
57. *Ивин А. А.* Основания логики оценок. М., 1970. С. 24 и сл.
58. *Ibn al-Mu'tazz 'Abdalla*. Kitāb al-badī'. L., 1935.
59. *Крачковский И. Ю.* Ибн ал-Му'таз // Крачковский И. Ю. Избр. соч. Т. VI. М.; Л., 1960.
60. *Ibn al-'Aḡir Diyā'addīn*. Al-jāmi' al-kabīr fī ṣinā'ati l-manzūm mina l-kalām wa-l-manzūm. Bagdād, 1956. S. 90—93.
61. *Ушаков В. Д.* Компаративные единицы в арабской классической филологии // Теоретические проблемы восточного языкознания. Ч. 3. М., 1982.
62. *Дюбуа Ж., Мэнге Ф., Эделин Ф., Пир Ф., Клиппенберг Ж.-М., Тринон А.* Общая риторика. М., 1986. С. 206—208.
63. *Ḥafāḡi Muḥammad 'Abdulmu'min*. Ibn al-Mu'tazz wa-turāsuhu. Al-Qāhira, 1949. S. 186.

© 1992 г. ЛАЛАЯНЦ И. Э., МИЛОВАНОВА Л. С.

**НОВЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ЯЗЫКОВОЙ
ФУНКЦИИ МОЗГА***

Наше понимание механизмов, лежащих в основе порождения мозгом речи и языка, еще далеко не полно. Несмотря на попытки провести нейролингвистический анализ компонентов языка [1], в частности синтаксиса, исследователи понимают, что они не полностью отвечают требованиям максимальной конкретности, предъявляемым им компьютерами. При этом не спасают ссылки на авторитеты ушедших десятилетий, например, А. Р. Лурия, проводившего нейропсихологический анализ у нейрохирургических больных, а также Л. С. Выготского, выдвинувшего концепцию речемышления. Действительность оказалась намного сложнее и интереснее.

Долгие десятилетия исследование нейропсихологических механизмов порождения языка ограничивалось в своих возможностях, так как не были разработаны методы непосредственного анализа данной функции мозга. Сегодня задача во многом облегчилась, поскольку в распоряжении исследователей появились методы прямого экспериментального анализа структур и функций мозговых отделов, ответственных за язык. Помимо генетического анализа на молекулярном уровне, исследователи получили в свое распоряжение новейшие томографы, позволяющие изучать функцию живого и здорового мозга в ходе решения тех или иных психологических и языковых задач. Большое значение имеет здесь существенный прогресс в анализе исторической эволюции языка.

Краткому освещению генетических и исторических данных с преимущественным упором на результаты, полученные в самое последнее время с помощью томографов (это позволяет углубить наше понимание механизмов возникновения и функционирования языка), посвящены три нижеследующих раздела статьи.

Генетические данные

Современные молекулярно-биологические данные указывают на то, что homo sapiens возник примерно 200 тысяч лет тому назад в районе Африки, прилегающем к Сахаре [2—6]. Подобное мнение базируется на данных исследования степени мутации так называемой митохондриальной ДНК, а также фрагмента ДНК из «мужской» Y-хромосомы [4—5]. В настоящее время нет, конечно, всеобщего признания этих новейших данных. В то же время необходимо отметить, что оппоненты молекулярно-биологического подхода не могут выдвинуть каких-либо строгих количественных аргументов против указанных положений.

* Предлагаемая читателям статья И. Э. Лалаянца и Л. С. Миловановой представляет собой дополненный вариант доклада, прочитанного на сессии Научного совета «Теория и методология языкознания» в феврале 1991 г. Публикацией этой статьи Редакция продолжает актуальную тему, начатую статьями Т. В. Гамкрелидзе «Р. О. Якобсон и проблема изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами» (ВЯ, 1988, № 3) и М. С. Гельфанда «Коды генетического языка и естественный язык» (ВЯ, 1990, № 6).

Антропологические данные указывают на то, что современный человек, которого традиционно принято называть «кроманьонцем», появился на Ближнем Востоке в пещере Кафзех (гора Кармел) уже 92 тыс. лет назад. Интересно, что неандерталец в этом районе немного «моложе» — всего 60 тыс. лет. Можно предполагать, что человек современного типа пришел из Африки по афро-азиатскому ближневосточному перешейку где-то около 100 тысяч лет назад, что ознаменовало собой первый афро-азиатский «раскол» всей современной человеческой популяции.

Подобный «сценарий» эволюции современного человечества был подтвержден результатами значительной работы в области генетики: на протяжении многих лет проводился популяционный анализ более ста генетических аллелей различной природы, включая белки крови, комплекс антигенов иммунной «защиты», а также митохондриальную ДНК. Этот анализ также показал наличие афро-азиатского расщепления на самом первом этапе развития человеческой популяции. Интерес данной работы для лингвистов состоит в том, что генетический анализ был как бы «наложен» на древо расхождения основных языковых семей. При этом генетический и языковой «кластеры» совпали [3, 6].

Думается, что подобный биогенетический подход вполне оправдан и закономерен и в лингвистике, поскольку он, при всей независимости его методов исследования и результатов, накладываясь на данные лингвистики, призван показать единство происхождения людей и их языков. Дальнейшая работа будет, по-видимому, уточнять детали этого единства и позволит более точно проследить генетическую эволюцию популяций.

Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с древним как мир вопросом о первопричине развития. Что было раньше — ген или анатомическая структура, насколько физиология первенствовала над анатомией, как анатомия и функция «отражалась» в мозгу, можно ли утверждать, что мозг был «впереди» в «программном обеспечении» функции, в частности говорения?

Все эти вопросы заданы не случайно. Дело в том, что совсем недавно была обнаружена гиоидная, или подъязычная, кость неандертальца [7—9]. Это очень важное открытие, так как оно свидетельствует о том, что речь могла существовать и у неандертальца, т. е. для функционирования языка не требуется слишком развитый — по сравнению с современным — мозг. Во многом это открытие позволяет перекинуть мостик между человеческим языком и «языком» животных, вопрос о котором остро дебатруется.

От языка «гавагай» до нестратического

Могут ли современные нам животные общаться, коммуницировать между собой и с человеком посредством языка? Споры вокруг этой проблемы не утихают даже после получения экспериментального подтверждения данной возможности [2, 10]. Сторонники существования языка животных, особенно у шимпанзе, усматривают у них наличие «логически последовательной образной компетентности» [1]. Критики же считают, что экспериментаторы неосознанно давали животным «подсказки».

Обнаружение подъязычной кости неандертальца заставляет по-новому взглянуть на проблему возникновения речи и языка. Не логично ли после этого допустить, что язык возник намного раньше, чем предполагалось? Было бы возможным межвидовое общение человека и человекообразных обезьян, если бы их мозг не был бы «настроен» на нечто общее? А поскольку язык есть средство коммуникации, то он более «задействован» у человека с его большим количеством контактов, нежели в значительно меньших по численности группах человекообразных. Интересно,

что опыт, полученный в экспериментах по «передаче» языка обезьянам, сегодня с успехом используется при обучении ретардантов и умственно отсталых людей [2]¹.

Наличие языкового потенциала мозга, никак не связанного с речью, показано за последние годы при изучении различных вариантов языка жестов [12—14], в частности американского и британского. Интересно, что в этих языках имеется грамматическая категория рода (его жестовый эквивалент). Род, как известно, в современном английском языке сохранен лишь в рудиментарном состоянии, влияя главным образом лишь на выбор тех или иных личных и притяжательных местоимений третьего лица. Когда же обладателям языка жестов приходится овладеть в процессе обучения английским, то их мозг «процессирует» последний как любой другой иностранный язык.

О центральном характере процессов, протекающих в мозгу при генерации речи, свидетельствуют исследования дислексии [15, 16]. Этим расстройством и во взрослом состоянии страдали такие известные литераторы, как Флобер и поэт Иейтс, а также известный изобретатель Эдисон в один из братьев Рокфеллеров — Нельсон. В литературе указывается, что дислексия имеет наследственный характер. Дети при «стрессовой» нагрузке не справляются с лексическими задачами, что является неплохим тестом на дислексию. Если таких детей просят выполнить тест в то время как они проходят по положенному на пол брусу, количество ошибок резко возрастает [15].

Еще одну возможность заглянуть в глубь мозга, генерирующего язык — в данном случае письменный, — представляет так называемое расстройство «одностороннего игнорирования» (ОИ). Совсем недавно была описана больная с поражением в области левой теменной доли, которая может читать только левую половину слов. При этом проблему для нее представляла правая половина слов независимо от их длины. Если ей предъявляли для прочтения слово *контраст*, она могла прочитать только *кон-* и не более. Если же длину слова увеличивали, предъявляя, например, слово *контрастность*, то она прочитывала *контраст* нормально, оставляя без прочтения *-ность*. В качестве проверки ей было дано задание нарисовать циферблат часов с расположением стрелок, указывающих время «без четверти 12». Она точно воспроизвела левую половину циферблата с цифрами от 6 до 12, оставив правую часть его совершенно чистой [17]. Исследователи сделали вывод, касающийся того, что при подобном рода расстройствах центр слова должен занимать в распознающих и «производящих» системах мозга некую фиксированную точку, что важно для процессинга информации, так или иначе связанной с написанием слов. При этом распознавание слова зависит от его презентации в памяти, где оно «зафиксировано» слева направо при фиксированном «центре». Поэтому левая половина слова распознается легче, нежели правая, которая идет после центральной точки. Выдвинуто предположение, что ОИ локализуется на центральном уровне, т. е. в коре, которая к тому же удалена от первичной зрительной в затылочных отделах полушарий.

В этой связи большой интерес представляет исследование кортикальной локализации языковой функции в левом доминантном полушарии 117 больных, подвергавшихся операции по поводу эпилептических судорог [18]. У 31 человека эти судороги были вызваны ростом доброкачественной глиомы во фронтальной и височно-теменных областях левого полушария. Локализация языковой функции осуществлялась с помощью точечного электрораздражения. Площадь раздражаемого участка не превышала 1—2 см. Такая площадь значительно меньше традиционных зон

¹ В приматологическом центре им. Р. Йеркса в г. Атланте (США) самец шимпанзе Канзи научился изготавливать каменные отщепы с помощью другого камня (см. [11]).

Брока и Вернике. Электрическое раздражение приводило к появлению ошибок в назывании предметов и других объектов, рисунки которых предъявлялись больным на слайдах в течение 4 сек. Амплитуда стимуляции не превышала 10 мАмпер, а время составляло 2,5 мсек.

У 67% больных было обнаружено два и более участков, раздражение точек в которых вызывало блок называния. Между этими точками располагается «неязыковая кора». Показано, что раздражение электрическим током ведет к инактивации популяций нейронов в результате их деполаризации. При этом точки вызванных «ошибок» не локализируются в первичной моторной или чувствительной коре вдоль роландовой борозды, поскольку больные ничего не ощущали. В качестве «подсказки» больным на слайдах писали начало фразы *это...*, которое они нормально читали. Таким образом, было показано, что восприятие стимулов и речь у них нормально сохранены. Нарушался при электростимуляции сам языковой процесс, процесс называния предметов.

Интересно, что чаще всего больные просто не могли воспроизвести название. Гораздо реже они употребляли жаргонные словечки и бессмысленные звукосочетания. Следует также отметить то, что ошибки не были специфичны для данного места раздражения. Наибольшее количество ошибок (79%) было отмечено в точке у основания роландовой борозды заднего отдела левой лобной доли («зона Брока»?). Однако нельзя сказать, что в этой точке процент ошибок увеличивался градуально: вокруг этой точки отмечались места с меньшим процентом ошибок, а вдали от нее — с большим. Выявлено некоторое отличие частоты ошибок по разным зонам между мужчинами и женщинами, особенно в группе людей с более низким уровнем интеллектуального языкового развития. Все это также свидетельствует о сложных генетических и физиологических механизмах, лежащих в основе функционирования мозга в процессе генерации языка.

Могли ли эти механизмы сложиться и начать адекватно функционировать за тот крайне короткий промежуток времени в 14 тысяч лет, которые отводят на развитие нестратического языка? Или правы те, кто говорит, что нестратическому языку не меньше 100 тысяч лет [19—23]? Если принять последнюю цифру, то она неплохо «ложится» на те новейшие данные, которые касаются наличия развитой подъязычной кости у неандертальцев, появления современного человека на Ближнем Востоке — в ближайшем соседстве к Анатолии, где предположительно располагался центр возникновения индоевропейских языков, а также на чисто генетические данные, свидетельствующие о миграции популяций из Африки в Азию.

Сказанное выше концентрирует наше внимание на мозге, который в самое последнее десятилетие стал особенно интенсивно изучаться благодаря возможностям нового поколения компьютеризированных приборов, получивших общее название «томографы».

Томографы²

Первый томограф был создан в 1973 г., за что его создатели, англичанин Г. Хаунсфилд и американец А. Кормак, были удостоены Нобелевской премии по медицине и физиологии. В самом начале 80-х годов был создан другой томограф, использующий для построения изображения принцип ядерно-магнитного резонанса (ЯМР-томограф). Еще через пять лет в строй вошел первый позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ). При этом виде томографии необходимо введение в организм больного или испытуемого короткоживущих радиоизотопов (по новой терминологии — «нуклидов»).

² Обширная литература приведена в статье [25].

Само слово «томограф» по своему происхождению восходит к двум греческим корням: *τομή* «среза, сечение, разрез» и *γραφή* «писать». В литературе по томографии часто встречается и латино-англоязычное «имэджинг» с тем же значением, что и «граф». Все три указанных вида томографии используются сегодня не только в клинике и не только при изучении поражений мозга. Их все активнее эксплуатируют «чистые» исследователи, а также исследователи, которые пытаются понять структуру, организацию и функционирование мозга, классифицируя огромные массивы данных, уже накопленных в разных местах [24—27].

Одним из подобных широкомасштабных исследований является попытка проанализировать томографические и клинические данные, полученные при анализе более чем полутора тысяч больных с различными поражениями головного мозга [26]. Интересен пациент по имени Босвел. Этот 50-летний мужчина способен удерживать какую-либо информацию не более 40 сек. Он вполне нормально может поддерживать разговор, но достаточно человеку, с которым Босвел разговаривал минуту назад, выйти за дверь, а потом вновь вернуться в комнату, больной воспринимает его как абсолютно незнакомого. ЯМР показал, что у Босвела совершенно разрушены полюса височных долей, а также знаменитая извилина морского коня, или гиппокамп (вследствие перенесения герпесного энцефалита). В результате потери этих важнейших областей Босвел не может формировать новую память и вспомнить что-либо о себе в прошлом или о своей семье. В этом отношении он абсолютно «безмолвен», хотя в остальном языковая способность у него сохранена.

В то же время Босвел сохранил память об определенных предметах, которые может вполне адекватно описывать словами, например, книгу, ее вес, кожаный переплет и стоимость. Таким образом, у него сохранены некоторые возможности категориального описания. Однако когда Босвелу показывают фотографию его жены, он отвечает, что это фото какой-то женщины примерно 50 лет. Полагают, что в данном случае мы имеем пример потери «конвергентных» зон, которые связывают память о прошлом опыте, но не затрагивают знание об объектах. В других случаях мозг теряет доступ к подобного рода информации, которую хранит в своих тайниках.

Сегодня возможности нейрохирургии настолько велики, что позволяют оставлять мозг в функционирующем состоянии даже после операций достаточно крупномасштабного характера. Так, компьютерный томограф (КТ) показал наличие фокального поражения левой височной доли после операции при избирательной неспособности дать категориальную характеристику тех или иных животных. Одного больного спрашивали, что такое «свинья», на что он мог ответить только, что это животное, и не более того. Таким образом, его «вход» на память был в результате поражения заблокирован при адресации со слуховой коры.

Если же этому больному показывали фотографию носорога, то он весьма полно описывал это африканское травоядное животное. Нарушение функции не отмечалось и при описании неодушевленных предметов. Таким образом, налицо мозаичность поражения языковой функции в коре мозга, о чем свидетельствуют и данные электрического раздражения, приводившиеся выше.

Другой больной с подобного рода поражением на вопрос о том, кто такой Солженицын, отвечал, что это русский писатель, живущий в настоящее время в США и т. д. Но если больному показывали фамилию писателя, напечатанную на листке бумаги, то он говорил, что это польский писатель конца XIX в., умерший до 1900 г. Подобные примеры приводились невропатологами и психиатрами и ранее, но впервые исследователи получили возможность анализировать и сравнивать все эти данные, опи-

раясь на прижизненный анализ структурной целостности живого функционирующего мозга с помощью томографов, что резко повышает ценность этих работ и наблюдений.

Постараемся теперь кратко охарактеризовать разные виды томографов. Для построения изображения в КТ используется просвечивающий ткань и кости рентгеновский излучатель. Поскольку костная ткань, мозговые структуры и желудочки мозга поглощают рентгеновские лучи в разной степени (кость — больше всего, спинно-мозговая жидкость в желудочках — меньше всего), компьютер анализирует спектры поглощения, строя на экране телевизионного дисплея послойные изображения различных срезов мозга. Наиболее часто в клинической практике используются срезы, параллельные плоскости, проходящей через середину глазных яблок и наружных отверстий слуховых проходов. Не менее часто можно видеть и фронтальные срезы (как бы «от уха до уха»). Реже всего — в рекламных или демонстративных целях, — изображение строится в продольном плане ото лба к затылку.

Толщина среза может не превышать 5 мм, хотя обычно такой высокой степенью разрешения не пользуются, увеличивая «шаг» до 1,5 см. Компьютер может выводить информацию на дисплей в цвете, что резко повышает информативность изображения. Разрешающая способность КТ повышается благодаря применению особых контрастных веществ, задерживающих рентгеновские лучи. Полученная информация может храниться на магнитных носителях и обычной рентгеновской пленке.

ПЭТ также использует для построения изображения источник излучения, но не внешний, а «внутренний» [27—30]. Для этого испытуемым или больным вводят внутривенно раствор короткоживущих изотопов, в частности воду или глюкозу с радиоактивным кислородом или углеродом, а также фтором, период полураспада которых равен 2—20 мин. При их распаде выделяются позитроны, или антиэлектроны, генерирующие кванты гамма-излучения. Сигнал подается в компьютер, который и строит изображение на экране.

Как отмечено в [29], ПЭТ показывает нейроны, которые участвуют в генерации языка. Особенность ПЭТа заключается в том, что он позволяет снимать динамические картины функционирующего языка, решающего ту или иную языковую или психологическую задачу. Короткое время полураспада нуклидов позволяет использовать их в качестве маркеров метаболических и физиологических процессов, которые протекают в работающих участках коры головного мозга человека, а также его подкорковых ганглиях.

При этом, конечно, фиксируется не сама работа нейронов, а изменения кровотока и метаболизма кислорода, которые важны для физиологии нейронных структур. Известно, что благодаря ауторегуляции кровотока в коре последний увеличивается для достаточного кровоснабжения работающих нейронных ансамблей. При этом нейрон получает свое главное «горючее» — глюкозу, а за счет окисления создается его энергия в виде молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).

Окисление глюкозы происходит при помощи кислорода воздуха, приносимого в данное место кровотоком. ПЭТ позволяет — при использовании разных радионуклидов, — регистрировать либо увеличение притока с кровью кислорода, его уменьшение и эффективность потребления, либо увеличение или уменьшение глюкозы. Так или иначе оба эти «маркера» уровня метаболизма позволяют достаточно адекватно оценить изменение активности нейронов в той или иной точке коры или подкорковых структур, которые участвуют в языковых процессах. На цветных ПЭТ-граммах участки повышенной активности показываются красным или белым цветом, резко отличая их от пассивного фона зеленого или синего цвета.

В отличие от КТ и ПЭТ ядерно-магнитный резонанс не использует никаких источников излучения. ЯМР основывается на интересном физическом принципе [26]. Известно, что ядра атомов вращаются вокруг своей оси со скоростью $16,7 \times 10^{15}$ об/мин. Протоны ядра несут положительный заряд, равный $+1$. Широко также известно, что движущиеся в пространстве электрические заряды в силу законов квантовой механики генерируют вокруг себя магнитное поле. Поскольку подобное вращение описывается английским словом *spin* (отсюда слова «спиннинг», «шпиндель»), то такой момент вращения получил название «магнитный спин».

Если к магнитным спинам протонов, т. е. ядер атомов водорода, приложить мощное внешнее магнитное поле — в 10 — 30 тысяч раз больше магнитного поля Земли, — то спины выстроятся вдоль силовых линий внешнего поля. Ядра водорода переходят в так называемое состояние с «высокой энергией», которое чрезвычайно нестабильно. Если теперь внешнее магнитное поле убрать, то ядра водорода начнут «релаксировать» и постепенно возвращаться в положение с исходной ориентацией спинов. При этом избыток энергии испускается в виде высокочастотного радиопулса. Этот радиопульс улавливается сверхчувствительными детекторами, преобразующими их в сигналы, совокупность которых подается в компьютер для построения изображения. Выстраивание ядерных спинов вдоль силовых линий внешнего магнитного поля можно сравнить с четкими рядами солдат на военном параде. Когда же дается команда «вольно», порядок нарушается и люди начинают двигаться хаотично.

На практике при ЯМР-томографии человека помещают в огромный соленоид, или трубчатый магнит. Затем на ядра атомов водорода подается радиопульс, частота которого равна прецессии осей магнитных спинов протонов (2000 об/сек). Прецессией называются круговые движения оси волчка или юлы, которые тем больше, чем больше отклоняющий ось импульс. Поскольку радиочастота соответствует частоте прецессии, то говорят о резонансе или, лучше, резонансной частоте. Приемная антенна как раз и улавливает эту самую резонансную радиочастоту сигнала, испускаемого ядрами, о чем говорилось выше. Это также объясняет, откуда в названии данного вида томографии появляется слово «резонанс». Полностью аббревиатура ЯМР расшифровывается следующим образом: «резонансное излучение при возвращении магнитного спина ядер атомов в исходное положение».

Атомы водорода входят в состав молекул воды, которой богата мозговая ткань. Белое и серое вещество различаются по содержанию воды: в белом веществе ее не более 75%, в сером — из-за большей плотности кровеносных сосудов (васкуляризации) — концентрация воды достигает 80%. Регистрация этого отличия делает ЯМР-томографию наиболее чувствительной разновидностью этих исследований. Недаром говорят о ЯМР высокого разрешения. Переходим к описанию конкретных результатов, полученных при лингвистических исследованиях с помощью различного вида томографов.

Выше уже указывалось важнейшее значение процессов памяти для нормального функционирования структур мозга, отвечающих за язык. У трех больных с известным началом амнезии (нарушения памяти) исследовали мозг на ЯМР-томографе высокой степени разрешения (у одного из них нарушения памяти начались после кратковременной остановки дыхания, произошедшей в результате эпилептического припадка). Как и у Босвела, у всех троих оказались пораженными нейронные структуры гиппокампа с обеих сторон, а также различные структуры неокортекса. На фронтальных ЯМР-томограммах показано уменьшение площади поперечного сечения гиппокампа на 49%, что говорит о его атрофии.

КТ и ЯМР позволяют визуализировать повреждения мозговой ткани

и соотносить их с динамикой функции мозга после ее поражения, например, в результате разрыва мозговых сосудов. ЯМР, в частности, был использован при исследовании 20 таких больных, наблюдавшихся в течение двух лет с момента сосудистого приступа. При этом показано, что в отдельных случаях дефект мозговой ткани на ЯМР-томограммах соответствует нарушению когнитивной функции. У 7 больных были выявлены инфаркты белого вещества. Нейропсихологические последствия оценивались по шкале умственного развития, при этом фиксировались нарушения памяти и пространственной перцепции, скорость зрительного восприятия, процессинга информации и степень сосредоточения внимания, а также его рассеяния, умение формулировать определения, вербальная способность, логичность мышления и т. д.

В другой работе была выявлена более четкая корреляция данных КТ и психологических тестов, включавших и лингвистические. В общей сложности было обследовано 118 больных, которых просили сделать прямой и обратный счет, определяли память на пары слов, задавали семантические задачи ориентирования, проверяли объективную память и способность распределить слова по категориям.

Наибольшие поражения данных функций отмечались при повреждении латеральных отделов левого полушария в бассейне средней мозговой артерии. При этом у больных фиксировали замедление речи, путаницу в определении цветов и назывании предметов, нарушение вербальной памяти, трудности в решении категориальных задач. Эти данные совпадают с упоминавшейся работой по электрическому раздражению точек коры левого полушария в районе роландовой борозды и височной доли.

При фронтально-медиальных поражениях отмечалось нарушение способности определить предмет на ощупь. Тяжелая форма амнезии наблюдалась при билатеральном поражении гиппокампа и латерального отдела зрительного бугра (таламуса).

Неоценимой важности информацию удается получить при исследовании с помощью КТ и ПЭТ больных и здоровых людей, у которых отмечаются те или иные расстройства речи, а также при решении лингвистических задач. Рассмотрим сначала те данные, которые были получены у нормальных испытуемых. При предъявлении им обычных слов, написанных печатными буквами, происходит существенное увеличение регионального кровотока в первичной зрительной коре затылочной области полушарий. Осмысление содержания слова приводило к появлению очага активности в нижнем отделе задней области левой лобной доли. Уровень активности особенно увеличивался при решении семантических заданий.

Не меньший уровень возбуждения отмечался в зрительной коре и при предъявлении словоподобных буквосочетаний (например, ПАНАТ), не имеющих смысла. Но оно практически отсутствовало, когда испытуемым предъявляли бессмысленные буквосочетания и буквоподобные рисунки. Естественно, что восприятие слов на слух приводило к возбуждению первичной слуховой коры в извилине Гешле (дно сильвиевой борозды, отделяющей височную долю). Более интересно различие локализации очагов повышения метаболической активности при «думании» словами и при произношении слов.

В первом случае очаг локализовался на основании левой лобной доли, а во втором в области моторного представительства прецентральной извилины, идущей спереди вдоль роландовой борозды. Эти данные представляют огромный теоретический и практический интерес. Важно было бы их сравнить с данными, полученными на обезьянах, которые овладели «языком» символов.

В этом отношении возможности ПЭТ просто неограниченны. ПЭТ поз-

воляет визуализировать физиологические процессы во времени. Одним из важных результатов, полученных с его помощью, было открытие сложных закономерностей при решении чисто лингвистических задач. ПЭТ показал, что при генерировании речи процесс возбуждения захватывает не какие-то ограниченные «центры», постулировавшиеся старыми гипотезами, но представляет собой многокомпонентную систему, зависящую от памяти, процессов мышления, концентрации внимания, а также внутренних «кодов» отдельных слов. Показано, что широко известная зона Вернике не возбуждается при проназании отдельных слов. Это было выявлено в ходе экспериментов, при которых испытуемых просили произносить предъявляемое слово вслух. При этом процесс возбуждения не захватывал зону Вернике. В ходе следующего эксперимента испытуемых заставляли односложно определять слово-стимул, что позволяло выявить семантические ассоциации (например: «кекс» — еда, есть). И здесь увеличения локального мозгового кровотока в структурах зоны Вернике не происходило. В ходе указанных экспериментов было сделано одно довольно неожиданное открытие. Оно заключается в том, что в правом контралатеральном полушарии тоже происходит увеличение локального мозгового кровотока, что свидетельствует о наличии очага возбуждения в полушарии, которое не участвует в генерации речи. Таким образом, торможение в симметричной области правого полушария тоже требует затраты энергии, чтобы не «мешать» работе зоны Брока в левом полушарии. Думается, что этот и другие описанные факты нуждаются в более детальном осмыслении [25, примеч. 37].

При всей важности исследования коркового представительства речевой и языковой функции необходимо учитывать его «размытость» и вариабельность, о чем говорилось выше. В этом отношении не меньшего внимания должно заслуживать подобное представительство в подкорковых ганглиях, где оно гораздо более компактно. И при его оценке томографы опять же играют существенную роль.

Кора, как известно, активируется импульсами, поступающими из зрительного бугра, или таламуса. У двух больных с выраженными нарушениями чтения и письма ПЭТ позволил выявить инфаркты, локализованные в переднем отделе левого таламуса. У больных сохранялась речь и понимание смысла того, что им говорят. Однако при написании под диктовку японских иероглифов (азбука «канджи») отмечалась визуальная подмена, семантическое искажение и подмена знака, а также неполное написание символа. Эти данные свидетельствуют о более локализованном виде указанной функции в таламусе, нежели в коре.

В другом случае дисграфия была отмечена у 46-летнего бизнесмена, который 1 сентября 1988 г. проснулся с нарушением памяти: он забыл, как пользоваться турникетом метро, открывать сейф на работе, жаловался на слуховые галлюцинации (слышал голоса, произносившие слова шепотом). После написания совершенно бессмысленного отчета по работе его отправили в психиатрическую клинику, откуда, разобравшись, перевели в неврологическое отделение. КТ на 6-й день заболевания обнаружил наличие локального субкортикального инфаркта в левом полушарии в области колена и головки хвостатого ядра, захватившего переднюю часть левого таламуса. Таким образом, поражению подверглась та же часть подкорковых структур, что и у описанных выше больных с нарушениями иероглифического письма. ПЭТ показал уменьшение локального мозгового кровотока и метаболизма кислорода, особенно в левой лобной и височной долях, а также в левом таламусе и правом полушарии мозжечка. Уменьшение достигало 10—26%. Психологическое тестирование по шкале оценки интеллекта Уэслера (для взрослых) показало, что повышение вербального коэффициента интеллектуальности началось с 16-го дня (хо-

тя неврологически больной восстановился уже к 7-му дню). К 27 дню этот коэффициент поднялся с 83 до 118. Речевая способность полностью восстановилась к 33 дню; то же относится и к парам связанных по смыслу слов. Тем не менее этот человек отмечал нарушение вербальной памяти. ПЭТ позволил предположить наличие дефекта в системе волокон, идущих от таламуса к корковым отделам левой лобной и височной коры и играющих очень важную роль [31]. Именно этим можно объяснить нарушения в написании пероглифов под диктовку, что также отмечалось и в этом случае.

Особое внимание обращает на себя нарушение кровотока и метаболизма в мозжечке на стороне, контралатеральной поражению таламуса. Это очень интересно в свете работы, в которой было выявлено наличие мутизма (немоты) после операций на задней черепной ямке ([32], ср. [34]). Задней черепной ямкой у нейрохирургов называется область черепа, в которой локализуются мозжечок и ствол мозга. В общей сложности наличие мутизма было проанализировано у 18 детей в возрасте от 2 до 11 лет.

«Мозжечковый» мутизм описан впервые только в 1985 г. До этого хорошо была известна моторная афазия, возникающая при поражении зоны Брока, акинетический мутизм, т. е. немота на фоне полной обездвиженности при поражении области третьего желудочка по средней линии мозга и т. д. Таким образом, выявлена роль мозжечка в «языкотворчестве», что несколько неожиданно (но к этому придется привыкать, поскольку нас ждут еще многие открытия в области изучения мозга, который мы еще не знаем). Правда, следует отметить, что мутизм, возникающий при затрагивании мозжечка, благополучно проходит через 18—72 часа после вмешательства, свидетельствуя тем самым, что это функциональное расстройство, а не органическое поражение.

Стоит напомнить и о дислексии, которая усиливается при прохождении дислектика по бревну, положенному на пол. Не есть ли это также отражение влияния мозжечка, наиболее ярко проявляющееся в постоперационном мутизме и подтвержденное позитронно-эмиссионной томографией?

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что языкознание в самые последние годы сделало огромный шаг в своем экспериментальном развитии, что приблизило нас к пониманию функции мозга, проявляющейся в генерации и процессинге языка как такового. При этом экспериментальные подходы дают свои результаты в самых неожиданных областях, которые еще несколько лет тому назад никак не ассоциировались с языком. Огромную роль играют и томографы, которые позволили заглянуть в живой и здоровый функционирующий мозг, генерирующий языковые реалии. И в этом смысле томографы просто неопределимы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азутина Т. В. Порождение речи. М., 1989.
2. Лаалаану И. Э. Шестой день творения. М., 1989.
3. Cavalli-Sforza L. Reconstruction of human evolution // Proc. the National Academy of sciences. 1988. V. 85. № 16.
4. Gibbons A. Looking for the father of us all // Science. 1991. V. 251. № 4992.
5. Smith J. The Y of human relationships // Nature. 1990. V. 344. № 6267.
6. Sutherland S. Genes and Babylon tower // Nature. 1988. V. 336. № 6200. P. 622.
7. Arensburg B., Tiller A., Vander B. A middle paleolithic human hyoid bone // Nature. 1989. V. 338. № 6218.
8. Bunney S. Neandertals weren't so dumb at all // New scientist. 1989. № 1671 P. 43.
9. Marshall J. Larynx of the language // Nature. 1989. V. 338. № 6218. P. 702.
10. Премак Д. «Гавагай», или будущая история дискуссий о языке животных // В мире науки. 1987. № 1.

11. *Lewin R.* Chimp learns stone-age use of tools // *New scientist*. 1991. № 1757. P. 21
12. *Petitto L. A., Marentette P. F.* Babbling in the manual mode: evidence for the ontogeny of language // *Science*. 1991. V. 251, № 5000.
13. *Gleason J.* Social signs // *Science*. 1990. V. 247. № 4946.
14. *Vines G.* Signs of change // *New scientist*. 1990. № 1740.
15. *Ferry G.* Dyslexia and psychology of the written word // *New scientist*. 1985 № 1475.
16. *Lloyd V.* «Lysdextia» // *Newsweek*. 1979. 12. March. P. 92.
17. *Sutherland S.* Unilateral neglect // *Nature*. 1990. V. 346. № 6281.
18. *Ojermann G. et al.* Cortical language localization // *Journal of neuro-surgery*. 1989. V. 71. № 3.
19. *Allman W.* The mother-tongue // *US news and world report*. 1990. 5. November
20. *Diamond J.* The talk of the Americas // *Nature*. 1990. V. 344. № 6267.
21. *Howlett R.* Between biology and culture // *Nature*. 1990. V. 347. № 6294.
22. *Lewin R.* Linguists search for the mother tongue // *Science*. 1988. V. 242. № 4882
23. *Morell V.* Confusion in earliest America // *Science*. 1990. V. 248. № 4954.
24. *Лалаянц И. Э., Милованова Л. С.* Томографы // *Вопросы психологии*. 1991. № 1
25. *Palca J.* Insights from broken brains // *Science*. 1990. V. 248. № 4957.
26. *Белова Т. В.* Новейшие томографы // *США*. 1990. № 5.
27. *Лалаянц И. Э., Белова Т. В.* На экране движение мысли // *Наука и жизнь*. 1990. № 8.
28. *Bylinsky G.* The inside story on the brain // *Fortune*. 1990. 3. December.
29. *Leblanc R., Meyer E.* Functional PET scanning in assessment of cerebral arterio-venous malformations // *Journal of neurosurgery*. 1990. V. 73. № 4.
30. *Longmore D.* MRI brings 3-D precision to cardiovascular imaging // *Documenta CIBA-Geigy*. 1990. № 3. P. 5-6.
31. *Lai C.* A case of left internal capsular infarction with auditory hallucination and peculiar amnesia and dysgraphia // *Brain and nerve*. 1990. V. 42. № 9.
32. *Ferrante L.* Mutism after posterior fossa surgery in children // *Journal of neurosurgery*. 1990. V. 72. № 6.

© 1992 г. БИЧАКДЖЯН Б. Х.

ЭВОЛЮЦИЯ ЯЗЫКА: РАЗВИТИЕ В СВЕТЕ ТЕОРИИ ДАРВИНА

1. История разработки проблемы. В отличие от биологии, в лингвистике понятие эволюции имело сложную и противоречивую историю. В XIX в., когда началось научное исследование языка, А. Шлейхер предложил применить методы, используемые в естественных науках и в лингвистических исследованиях [1]. Однако результаты такого подхода вызвали разочарование. Попытки самого Шлейхера отождествить развитие языков с появлением и исчезновением морфологических показателей [2] продемонстрировали отсутствие у него глубокого понимания эволюции — разве мыслимо для естествоиспытателя заявить, что с момента возникновения жизни до, скажем, расцвета рептилий эволюция видов происходила путем развития полезных признаков, но что с этого момента биологическая эволюция превратилась в процесс накопления вредных изменений? Более того, попытки некоторых современников Шлейхера дать описание «сценария» возникновения языка вызвали неодобрение серьезных ученых. Парижское лингвистическое общество приняло в 1866 г. решение запретить на своих собраниях рассмотрение работ о происхождении языка, и с того времени в течение более полувека лингвистика оставалась в основном эмпирической наукой.

1.1. Двадцатый век: многообещающее начало. В начале нынешнего столетия было сделано несколько интересных наблюдений, касающихся эволюции языка, но, к сожалению, эти идеи не нашли своего продолжения. А. Мейе указал, что языки в основном развиваются в одном общем направлении [3]. Вскоре после этого и, вероятно, независимо от А. Мейе лингвист и антрополог Э. Сэпир говорил о том, что языки подвержены непроизвольному движению (drift) и что «движение языка имеет направление» [4]. Есперсен пошел дальше. Будучи истинным эволюционистом, он недвусмысленно показал, что языки становятся все более «эффективными» [5—7]. Попытки доказывать какое бы то ни было превосходство современных языков юго-запада Европы, Греции и Индии над латынью, древнегреческим и санскритом соответственно были весьма рискованными: с одной стороны, это положение противоречило господствующим культурным стереотипам, а с другой, тезис о возрастании эффективности языка оказался труднодоказуемым. В наше время работы А. Мейе интересуют преимущественно индоевропейцев, сэпировское понятие «движения языка» (drift) получает слишком вольную интерпретацию, а Есперсена вспоминают преимущественно в связи с другой его работой — «Грамматикой современного английского языка». Все попытки обратить внимание на его проницательность в понимании эволюции языка терпят неудачу.

1.2. Сосюр и отказ от эволюционной точки зрения. В то время, когда идеи Есперсена и его единомышленников остались незамеченными, лингвистика достигла поворотного пункта своей истории. Если до этого языки рассматривались как сумма признаков, изменения каждого из которых следовало проследить вплоть до праязыка, то Сосюр обратил внимание на важность признания системной природы языков [8, с. 124]. Позднее, когда Хомский ввел в обиход свою генеративистскую концеп-

цию грамматики [9], статическое понятие «системы» уступило место понятию «набора правил». Однако в течение всего XX столетия в той или иной форме подчеркивается единство внутренней организации языков. С точки зрения этой концепции, в ходе развития языка происходит не просто изменение отдельных признаков, а замена одной системы, или набора правил, другой [10, с. 316; 11, с. 2; 12, с. 270].

Сам по себе системный (holistic) подход явился важным вкладом в лингвистику, но он привел к искаженному взгляду на язык. В отличие от биологов, которые признают в живых и вымерших организмах последовательные стадии эволюции видов, Соссюр и его последователи, от Якобсона до Хомского, так часто подчеркивали внутреннюю организованность синхронных состояний языков, что не сумели различить в типологическом пространстве лингвистических систем различные ступени процесса развития. Вместо того чтобы увидеть в этих системах особые продукты процесса эволюции, они рассматривали языковые системы как проявления некоторой стоящей за ними сущности (независимо от того, уникальна она или нет, является врожденной или приобретаемой), которую могут видоизменить жизненные случайности [8, с. 105, 111—112].

Для объяснения причин изменений языковых систем привлекалось множество факторов. В разное время доказывалось, что изменения вызываются противоречием между интеллектуальной, т. е. содержательной, и экспрессивной функциями языка [10, с. 333—336], противоречивыми потребностями языковой коммуникации, требующей наибольшей ясности выражения при минимуме усилий [13], одновременным влиянием нескольких социальных мотивов — быть понятым и в то же время проявить свою индивидуальность [14], противоречием между логикой юности и изобретательностью взрослых [15], а также непостоянством человеческой натуры [12]. В последнее время мы, как кажется, попали под власть экзотических чар креолизации (см. дискуссию в [16]), которые, вне сомнения, в свое время тоже рассеются. Хотя популярность такого рода удобных и легких решений в действительности недолговечна, примеры, иллюстрирующие действие любого из приведенных факторов, наверняка можно найти (см. также [17]); тем не менее такие объяснения носят характер *ad hoc*, и их защитникам не может быть поставлено в заслугу выдвижение общей теории языковой эволюции.

Сейчас, когда двадцатое столетие приближается к концу, состояние разработки вопроса, по-видимому, таково: в центре лингвистических исследований находятся формальные репрезентации языковых систем и столь же формальные описания переходов от одних систем к другим; при этом, однако, качественные характеристики исчезающих и вновь возникающих единиц не сравниваются, наблюдения над эволюцией лингвистических признаков не ведутся и следовательно, само понятие эволюции языка отсутствует.

1.3. Важность эволюционного подхода к лингвистике. Отсутствие концепций, признающих эволюционные процессы в языках, — не просто лакуна в одной из изолированных областей исследования. Оно оказывает воздействие на все области лингвистических исследований, т. к. нельзя понять истинной природы языка, пока не намечены траектории его развития и механизмы, их определяющие. В самом деле, не достигнув должного понимания процессов развития, лингвистика проигрывает столько же, сколько потерял бы биолог, не знающий, что биологические виды возникли в результате эволюции.

2. Обращение к данным биологии. Из вышесказанного вытекает, что лингвистике необходима эволюционная концепция; эволюционные процессы легко распознать, обратившись, в частности, к эволюционной биологии. Общеизвестно, что эволюция человека происходит не столько в ре-

результате приобретения абсолютно новых признаков, сколько в результате процесса неотении, при котором развитие соматических признаков, появившихся на ранних стадиях онтогенеза предков, растягивается на более длительный период [18]. По мере замедления хода генетических часов у взрослых организмов сохранялось все больше ювенильных признаков, проявлявшихся во все более развитых и/или лучше адаптированных формах; при этом признаки, которые ранее замечали их во взрослом организме предка, из онтогенеза потомков исключались. Данные об онтогенезе современных человекообразных обезьян приводят к выводу о том, что человек сохранил, например, выгодное соотношение между мозгом и всем телом, а также пластичность мозга, которые его предкам были свойственны только во внутриутробном и ювенильном периоде, и утратил выступающие челюсти и покатый лоб, появившиеся у них на более поздней стадии онтогенеза. Таковы лишь некоторые примеры неотении.

Неотению не следует смешивать с педогенезом. Последний представляет собой ускорение полового созревания, которое исключает развитие соматических признаков и обычно ведет к дегенерации. Поскольку естественный отбор отнюдь не способствует развитию этого процесса, педогенез не сыграл значительной роли в эволюции [19]. Неотения, напротив, представляет собой чрезвычайно важный, всеобщий и благотворный процесс, т. к. замедление развития соматических признаков может вызвать изменения, дающие преимущество при естественном отборе.

Неотения, конечно, является биологическим процессом, который происходит с анатомическими признаками и соответствующими физиологическими функциями, в то время как языки не являются живыми организмами, а лингвистические признаки — биологическими органами. Ниже будет обсуждаться вопрос о том, как с помощью представления об эволюционном процессе, основанном на генетических факторах, можно объяснить развитие лингвистических признаков; здесь же будут представлены данные, демонстрирующие, (1) что в языках имеют место эволюционные изменения, (2) что одна из причин этих изменений — процесс замены признаков, приобретаемых на более поздней стадии онтогенеза, признаками, приобретаемыми ранее, и (3) что переход к ранее приобретаемым признакам создает для языка и его носителей целый ряд селективных преимуществ.

3. Эволюционные изменения в индоевропейских языках. Хотя ссылки *ad hoc* на отдельные эволюционные изменения в лингвистике делаются часто [20], систематизация развития лингвистических признаков еще ждет своего часа. Данные, которые будут приведены в настоящей работе, взяты из индоевропейских языков. Именно на материале этой семьи, в отличие от других, наиболее интенсивно изучались прежние состояния и эволюция, растянувшаяся на шесть или семь тысячелетий. Более того, многие изменения, имевшие место в индоевропейских языках, можно также наблюдать в истории семито-хамитских, финно-угорских и алтайских языков; при этом некоторые из изменений, реконструируемых для гипотетической истории африканских языков и языков американских индейцев, хотя и не сходны с ними внешне, вероятно, являются частью того же процесса. Ситуацию в лингвистике можно сравнить с положением дел, сложившимся в биологии. У птиц и млекопитающих развились неодинаковые признаки, но эволюционные процессы, предполагаемые для одного из этих классов, могут быть отнесены также и к другому.

3.1. Развитие фонологических признаков. В индоевропейских языках имели место следующие эволюционные изменения. Фонетическая система праязыка включала очень мало гласных. Поскольку *i* и *u* встречались лишь в определенных условиях — практически случайно, а *a* — лишь в определенных типах слов, *e* был единственным гласным; но этот ограни-

ченный инвентарь дополнялся серией *h*-подобных звуков, так называемых ларингалов. Постепенно ларингалы исчезли, в результате чего появились гласные *i, e, a, o, u*, разделявшиеся на две группы — долгие и краткие. При последующих изменениях количественное различие долгих и кратких сегментов исчезло или начало отходить на задний план, уступив место дополнительным качественным различиям [ср., например, лат. *lĕgit* «читает» и *lĕgit* «он прочитал» с их французскими рефlekсами (*il*) *lit* и (*il*) *lut* соответственно].

В консонантной системе произошел переход от набора, состоявшего почти исключительно из сложных смычных согласных [21, 22], к наборам простых согласных, состоявшим поровну или почти поровну из смычных и фрикативных. Общее направление легко определить при сравнении праиндоевропейской и современной французской систем смычных согласных.

Праиндоевропейский				Современный французский		
p^2	t^2	k^2	k^{w2}	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>k</i>
p^h	t^h	k^h	k^{wh}	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>
b^h	d^h	g^h	g^{wh}	<i>f</i>	<i>s</i>	<i>š</i>
	<i>s</i>			<i>v</i>	<i>z</i>	<i>ž</i>

Если смычные согласные праязыка сравнить с их соответствиями в других современных индоевропейских языках, контраст может оказаться не столь резким, но общее направление развития не вызывает сомнений.

3.2. Развитие морфологических признаков. Морфология праязыка претерпела изменения двух типов: изменения, касающиеся способов маркирования грамматических признаков, и изменения самих грамматических признаков. В языке-предке грамматические признаки выражались в основном с помощью суффиксов. Латинская форма *lĕget*, например, передавала, помимо лексического значения «чтения», выражаемого с помощью морфемы *lĕg-*, грамматическое значение будущего времени (оно восходит к более раннему значению волеизъявления — исходному значению субъюнктива), выражаемое с помощью *-e-*, а также грамматическое значение 3 л. ед. ч., выражаемое с помощью *-t-*. Если латинская форма иллюстрирует морфологическую структуру языка-предка, то морфологическую структуру современного языка можно продемонстрировать на примере английского эквивалента — *He will read*, где все грамматические значения выражаются независимыми элементами. Языки, таким образом, развили местоимения, вспомогательные глаголы, а также артикли и предлоги при существительных, заменившие бесконечные парадигмы склонения и спряжения.

Из всех изменений, вызванных эволюцией грамматических признаков, наиболее значительными были изменения, связанные с языковым представлением действия. Если в праязыке подчеркивались модальность и вид действия, то в современных языках на первый план выдвинулись временные различия [23, 24]. Праязык имел, помимо императива, также индикатив, субъюнктив и опатив, выражавшие соответственно реальность действия, волю и желание. В латинском предложении *Pax domini sit semper vobiscum* «Да пребудет мир господень всегда с вами» форма *sit* «да пребудет» имеет древний показатель опатива, который как раз и выражает исходное значение опатива — желание. Позднее, одновременно с возникновением будущего времени, субъюнктив и опатив слились в одно наклонение; это новое гибридное наклонение, часто называемое просто субъюнктивом, в свою очередь отступило на задний план и исчезло.

Другое глагольное противопоставление, подвергшееся изменению, — противопоставление по виду. Уже в праязыке начало маркироваться различие прошедшего и настоящего времен, но эта оппозиция была ограничена

узкой областью, в то время как доминирующим различием было видовое. Глаголы ставились в имперфектив, перфектив или результатив в зависимости от того, рассматривался ли субъект в процессе осуществления действия, с точки зрения завершенности осуществляемого им действия или в состоянии, являющемся результатом действия, соответственно. Это были уже аспектуальные различия, но они постепенно заменились временными в большинстве современных языков.

3.3. Развитие синтаксических признаков. Синтаксис также был ареной больших перемен. Вопрос о том, как когнитивное понятие агенса превратилось в грамматическую роль субъекта, весьма загадочен, но здесь он обсуждаться не будет, так как этот переход не является непосредственно наблюдаемым и реконструкция этого процесса потребовала бы значительного объема данных, полученных в результате экстраполяции (тонкий анализ этого процесса см. в [25, 26]). Вместо этого наше внимание будет сосредоточено на развитии подчинения и реорганизации элементов синтаксической структуры.

Одно из повсеместно распространенных заблуждений, касающихся синтаксических форм древних языков, основывается на предположении о том, что прежде чем в языках развились союзы и относительные местоимения, сделавшие возможным подчинение, высказывания строились из последовательностей коротких предложений, каждое из которых содержало только один глагол, причем этот глагол стоял в финитной форме. В соответствии с этой концепцией, носители ранее существовавших языков могли порождать предложения типа англ. *Paris ran off with Helen; the Greeks attacked Troy* «Парис похитил Елену»; «Греки напали на Трою». Эмпирические данные, однако, ясно говорят о том, что невозможно быть дальше от истины [27]. Несомненно, сложноподчиненные предложения представляют собой относительно новое явление, но подчинение существовало и ранее, хотя и в другой форме. В то время как современные языки обладают структурными средствами подчинения одного предложения другому — в грамматиках говорят о главном и придаточном предложениях, — в праязыке для выражения действия, подчиненного другому действию, использовались причастные и другие подобные конструкции. ср. англ.: *Paris having run off with Helen, the Greeks attacked Troy* «Из-за того, что Парис похитил Елену, греки напали на Трою» (букв.: «Парис похитив Елену, греки напали на Трою»). В современных языках различные отглагольные образования все еще используются в определенных условиях, но в целом можно сказать, что причастные обороты и другие подобные конструкции заменены придаточными предложениями, особенно в тех случаях, когда подчинение представляет собой рекурсивный процесс. Такие предложения, как англ. *The Greeks attacked Troy because Paris had run off with Helen while Menelaus was away* «Греки напали на Трою, потому что Парис похитил Елену, пока Менелая не было дома», являются совершенно обычными, но предложение *Menelaus being away, Paris having run off with Helen, the Greeks attacked Troy* (букв. «Менелай не будучи дома, Парис похитив Елену, греки напали на Трою») звучало бы неуклюже. Таким образом, развитие сложного предложения представляет собой переход от подчиненных с л о с о ч е т а н и й (phrases) к подчиненным п р е д л о ж е н и я м.

Другим аспектом синтаксиса, в котором произошли большие перемены, был порядок слов, который не только стал более жестким в результате утраты подлежащим и прямым дополнением различавших их показателей падежа, но и подвергся перестановке. При анализе грамматических структур с использованием понятий главного и зависимого члена (*heads and modifiers*) (идея впервые выдвинута в [28], ряд изменений предлагается в [29]) сразу становится очевидным тот факт, что праиндоевропейский, как и все другие праязыки [30], был преимущественно языком с постпо-

эцией главного члена; при этом данные диахронии ясно показывают, что переход от структур с постпозицией главного члена к структурам с главным членом в препозиции продолжается еще и сейчас. Перестановку легко наблюдать, сравнив типичное латинское предложение, например, приводимое ниже (Плавт, приблизительно 254—184 г. до н. э.), с его английским эквивалентом:

<i>haec</i>	<i>me</i>		<i>vid-isse</i>		<i>cert-o</i>	<i>scio</i>	(Mil. 299)
«это	меня	видеть	(инф. перф.)	точно-о	зна-ю		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>I know for sure that I have seen these things</i>							
8	7	6	5	2	4	3	1
«Я точно знаю, что я видел это».							

Такие формы и группы, как англ. *certain-ly* и *(I) certainly know*, показывают, что и в английском существуют структуры с постпозицией главного члена, но при этом не может быть никаких сомнений в том, что латинский, выступающий здесь в качестве примера праязыка, в основном характеризовался именно такими структурами, в то время как английский, представляющий здесь современные языки, в основном демонстрирует структуры с препозицией главного члена.

Скорость, с которой происходят радикальные изменения порядка слов, и последовательность, в которой различные грамматические структуры перешли или переходят от модели с постпозицией к модели с препозицией главного члена, конечно, могут быть различными в различных языках, но тенденция к структурам с препозицией главного члена проявляется везде.

3.3. Единство эволюционных изменений и их значение. Изменения, рассмотренные выше, намечают линию развития основных фонологических, морфологических и синтаксических признаков в индоевропейских языках (см. более подробное описание в [31]). Хотя в других языковых семьях могли иметь место другие изменения или другие их фазы, данные индоевропейских языков ясно показывают, что в лингвистике происходят эволюционные изменения.

Несмотря на то, что каждое из упомянутых выше изменений в отдельности не покажется откровением для специалистов по индоевропейским языкам, значение вышесказанного заключается в осознании того обстоятельства, что история индоевропейских языков — это не последовательность изменений *ad hoc*, а история развития лингвистических признаков. То, что эволюционная природа этих изменений до сих пор не была осознана, в определенном смысле вполне понятно: с одной стороны, различные изменения (например, новые вокалические системы, заменившие системы с противопоставлением долгих и кратких гласных; преобладание категории времени над категорией вида; переход к структурам с препозицией главного члена) кажутся не имеющими между собой ничего общего; с другой стороны, преимущества новых признаков не являются очевидными для наблюдателя. Но именно здесь полезным может оказаться понятие неотени.

4. Недоморфоз в языке. При попытке спроецировать описанные выше эволюционные изменения на шкалу онтогенеза становится абсолютно очевидным, что фонологические, морфологические и синтаксические признаки праязыков поздно усваивались детьми, для которых соответствующие языки были родными. Такой вывод можно сделать на основании экстраполяции данных современных языков, в которых существуют признаки, близкие определенным признакам праязыков (хотя и не все признаки представлены в одном и том же языке). При этом ряд происходивших в этих языках перемен заключается в замене поздно усваиваемых единиц альтернативными единицами, усваиваемыми в более раннем возрасте.

4.1. Данные об усвоении языка детьми. Действительно, системы гласных, различающихся качеством, усваиваются раньше, чем системы с противопоставлением кратких и долгих гласных, которые, в свою очередь, могут быть усвоены раньше, чем сочетания гласных с ларингалами; простые смычные и фрикативные согласные усваиваются раньше, чем сложные смычные; правильное употребление предлогов, вспомогательных глаголов и тому подобных грамматических элементов достигается раньше, чем запоминаются сложные парадигмы склонения и спряжения; систематическое использование временных противопоставлений полностью устанавливается к тому моменту, когда возникает противопоставление видов и наклонений; придаточные предложения появляются на удивление рано — тогда как причастные конструкции запаздывают; и, наконец, структуры с препозицией главного члена, особенно достигающие определенной длины, входят в компетенцию ребенка гораздо раньше, чем противоположная модель (см. обсуждение соответствующих психолингвистических данных и библиографию в [31]).

Все сказанное не означает, что исключения невозможны. Конечно, можно было бы найти особый контекст, в котором определенная согласная, принадлежащая к группе, в целом усваиваемой ранее, появлялась бы позже, чем какая-либо согласная из группы, усваиваемой позже; показатели некоторых падежей в каких-либо языках, возможно, входят в употребление раньше, чем в речи появится первый предлог; и английское сочетание *red ball* потребует не больше времени, чем французское *ballon rouge*. Но такие сравнения бесполезны, так как в действительности важно не усвоение отдельных единиц, а овладение целой системой в сравнении с другой. Регулярные аккумулятивы действительно могут появиться очень рано, но при этом существенно то, что дети, овладевающие языком, основанным на употреблении предлогов, справляются со своей задачей в возрасте четырех лет, тогда как дети, вынужденные усваивать систему склонения своего родного языка, и к восьми годам не могут покончить с этим занятием [32]. При сравнении двух реальных альтернатив результаты недвусмысленны и неопровержимы: языки эволюционировали путем постоянной замены определенных своих признаков другими — эквивалентными им, но усваиваемыми в более раннем возрасте. Природа языковой эволюции теперь ясна: это движение по направлению к ранее усваиваемым признакам, охватывающее все уровни языка (фонологический, морфологический и синтаксический) и все языки.

Здесь уместно будет напомнить, что биологическая теория неотении никоим образом не предполагает, что современные мужчины и женщины являются всего лишь недоразвитыми обезьянами только на том основании, что они сохранили во взрослом состоянии некоторые внутриутробные и ювенильные признаки своих предков. Точно так же и лингвистические признаки, усваиваемые в более раннем возрасте, став частью определенного языка, никак не менее «зрелы», чем усваивавшиеся позднее признаки, которые они заменили. Английский язык не в большей степени является детской речью праиндоевропейцев, чем современные люди — инфантильными австралопитеками. Английский и праиндоевропейский — в равной степени «взрослые» языки, но с тем существенным различием, что дети, родным языком которых является английский, усваивают его значительно раньше.

4.2. Селективные преимущества ранее усваиваемых признаков. Ранее овладение определенным языком очень важно. Известно, что языковая пластичность, подобно другим типам пластичности мозга, не представляет собой способности, сохраняющейся неизменной в течение определенного периода времени, а, напротив, все время уменьшается на протяжении всего отрезка онтогенеза. Поэтому чем раньше создается нейронная связь,

соответствующая определенному лингвистическому признаку, тем она прочнее (*mutatis mutandis* см. [33]). Более прочные нейронные связи не только менее подвержены воздействию негативных соматических и психологических условий (например, усталости или отсутствия чувства безопасности) и патологических процессов (дегенеративная или травматическая афазия), но также более экономичны при их регулярном использовании, так как их активация требует меньшей энергии. Таким образом, при учете важности более раннего установления нейронных связей становится ясным, что переход к ранее усваиваемым лингвистическим признакам представляет собой развитие по направлению к более выгодным альтернативам.

Преимущества ранее установленных нейронных связей не только кибернетические. Чем быстрее ребенок овладевает языком, тем быстрее он может усвоить социальные навыки, и (точно так же, как и по отношению к лингвистическим признакам) чем раньше закладывается нейронный базис социального поведения ребенка, тем успешнее он будет выполнять свои социальные функции в течение всей своей жизни. Этот аргумент уже приводился некоторыми учеными, с тем чтобы подчеркнуть преимущества овладения родным языком в детском возрасте по сравнению со зрелым возрастом. Но он применим и к разным периодам детства — чем ниже возраст овладения языком, тем больше преимуществ получает индивид.

Наконец, более быстрое овладение лингвистическими навыками раньше открывает ребенку доступ к тем видам знаний, которые могут быть приобретены только на основе языковой коммуникации. Такой ранний доступ к знаниям в высшей степени полезен, т. к. тем самым ребенок, раньше овладевший языком, в дальнейшем опережает других членов своей возрастной группы и в умственном развитии, обладает более прочными знаниями, поскольку соответствующие им нейронные сети более устойчивы. Кроме того, он обладает большим запасом знаний и ментальных навыков, так как время, энергия и нейронный потенциал, высвобожденные благодаря более раннему усвоению лингвистических признаков, могут быть использованы в других областях обучения.

Более раннее овладение языком связано со свойственным нашему биологическому виду «ранним» рождением. Вместо ожидаемого 21 месяца период беременности «сокращен» у человека до девяти месяцев, по крайней мере отчасти под воздействием факторов естественного отбора, а именно преимуществ более раннего начала жизни. Чем раньше младенец покинет утробу матери, тем раньше может начаться его социальное и умственное развитие. Это преимущество частично нейтрализуется, если усвоение языка откладывается на все более поздний срок. Напротив, более раннее овладение языком усиливает и расширяет преимущества «раннего» рождения.

При проецировании данных истории на шкалу онтогенеза выясняется, что развитие лингвистических признаков идет по направлению к ранее усваиваемым альтернативам. Преимущества этих альтернатив в установлении ранее возникших нейронных связей, в развитии общественного поведения и накопления знаний позволяют предположить, что естественный отбор в самом деле мог направить эволюцию языка в указанном направлении. Подобно аналогичному процессу в биологии, эволюция в языке представляет собой тем самым сдвиг по направлению к более выгодным альтернативам, т. е. дарвиновский процесс.

4.3. Корреляты в биологии. Параллелизм между эволюцией языка и неотенней теперь очевиден. Вопрос в том, имеем ли мы здесь дело всего лишь с параллелизмом или эволюция языка также представляет собой процесс неотении? Здесь биология не может предоставить нам все необходимые данные, по крайней мере при теперешнем развитии науки. Известно,

что генотип несет информацию двух видов — структурную и регуляторную — и что развитие биологических признаков обусловлено регулируемым выражением соответствующей последовательности ДНК. Неотензия тем самым имеет место тогда, когда существует возможность замедлить синтез определенного белка, растягивая таким образом развитие какого-либо органа на более длительный период времени [34].

Как и многие другие гены, последовательность ДНК, кодирующая нашу способность к усвоению и использованию естественных языков, не была обнаружена, но при этом очевидно, что эта способность представляет собой видоспецифический признак и в качестве такового должна быть частью нашего генотипа. Клинические данные патологии речи подтверждают это логическое заключение и позволяют предположить, что гены, отвечающие за язык, расположены на X-хромосоме [35, 36]. Показательная разница между дефектами развития речи однояйцевых близнецов, с одной стороны, и разнояйцевых близнецов — с другой: в первом случае гораздо больше совпадений, чем во втором, когда речь одного из близнецов может вообще не иметь дефектов [37, 38]. Все это вполне подтверждает не только гипотезу о том, что наша способность к речи генетически предопределена, но и ту сопутствующую ей точку зрения, что онтогенез речи, проявляющийся в процессах овладения языком, регулируется генетически.

В дополнение к клиническим наблюдениям имеется серия надежных экспериментальных данных, подтверждающих биологическую регуляцию процесса овладения языком. Интенсивное изучение зрительного центра коры головного мозга привело к заключению, что пластичность, вероятно, является результатом фосфорилирования белков, определяющего форму нейронов [42, с. 39—42]. При увеличении числа фосфатных групп нейроны коры головного мозга приобретают более длинные и активные отростки, которые при наличии внешней стимуляции могут собираться в пучки. Напротив, при понижении уровня фосфорилирования нейроны становятся менее пластичными, а их отростки со временем — менее подвижными, затрудняя создание межнейронных связей. Период пластичности в этот момент уже закончен.

Хотя эти эксперименты и наблюдения проводились только на зрительном центре коры головного мозга, следует отметить, что наличие белков, определяющих организацию нейронов, характерно не только для этого участка. Их можно обнаружить в различных участках мозга [39, с. 40], а это позволяет предположить, что пластичность мозга в целом и языковая пластичность в частности обеспечиваются действием существенно сходных биохимических процессов.

Поскольку усвоение языка достигается в результате языковой стимуляции соответствующих участков мозга в течение периода их пластичности, то в конечном счете сроки и скорость этого процесса зависят от процесса фосфорилирования нейронов в центрах Брока и Вернике и соседних с ними, определяющего форму и поведение отростков, а также от процесса миелинизации связующих волокон, повышающего эффективность прохождения импульса. Эти биохимические процессы могут, конечно, подвергаться влиянию случайных факторов, но в первую очередь они регулируются на уровне ДНК, превращая тем самым усвоение языка в генетически регулируемый процесс.

Если, как показывают эмпирические данные, наши способности усваивать языковые признаки регулируются генетически, то вполне логично будет заключить, что, как и для соматических признаков, изменение периодизации процесса вызывает изменение усваиваемых языковых признаков, а это в свою очередь ведет к эволюции языков. Генетическая регуляция онтогенеза речи и те последствия для процесса овладения языком (и, следовательно, для эволюции языков), к которым может привести ее из-

менение, остаются в настоящее время всего лишь гипотезой. Однако, как заметил Леннеберг, «хотя мы можем лишь строить предположения, наши предположения, касающиеся языка, не более смелы, чем предположения, касающиеся большинства других структурных или функциональных признаков» [40, с. 240].

5. Дарвинистская теория языковой эволюции. Хотя генетические механизмы эволюции языка остаются лишь нашим предположением — но таковым они являются и для эволюции биологических изменений, — теория языкового педоморфоза, по-видимому, все же улавливает сущность эволюции в языке: эволюция языка представляет собой процесс развития, при котором признаки постепенно замещаются своими все более выгодными альтернативами (поскольку такой процесс предполагает сохранение ювенильных признаков и исключает внутриутробные, термин «педоморфоз» является для лингвистики более приемлемым, чем «неотения»).

5.1. Объяснение кажущихся исключений. Выше речь шла об изменениях в языках: их существовании, природе и возможном объяснении последних. При этом мы намеренно сделали акцент на эволюционных изменениях. Это не означает, что все прочие возможные источники языковых изменений исключаются. Более или менее значительным изменениям языковых систем могут способствовать движения популяций; следует учитывать также, что в язык склонны вмешиваться грамматисты; в словах, которые мы производим, отражаются наши увлечения и соображения социокультурного порядка. Все эти факторы играют определенную роль в тот или иной период, но они не противоречат теории языковой эволюции.

В биологии имеет место гибридизация, а в лингвистике — языковые контакты; ни то, ни другое не вызывает сомнений в существовании эволюционных процессов и не представляет угрозы соответствующим эволюционным теориям. Подобно кесареву сечению, позволяющему спасти жизнь матери, или генной инженерии, вмешательства грамматистов могут вызвать изменения, независимые от естественных эволюционных процессов или даже противоположные им. Однако предписания грамматистов не в большей мере подвергают сомнению жизненность теории языковой эволюции, чем действия акушеров и генетиков затрагивают принципы синтетической теории эволюции. Случайные или социокультурные инновации, с другой стороны, могут привносить в язык и выгодные признаки, но их преимущества заключаются просто в новизне или социальной ценности элемента. Эти преимущества недолговечны, как недолговечны и сами обладающие ими элементы. Их изменчивое поведение не противоречит существованию эволюционных изменений и объясняющей их теории языковой эволюции.

Помещение в фокус внимания эволюционных изменений и отстаивание существования эволюционных процессов в языке не означает, конечно, что все изменения, происходившие в языках, были одинаковы или что они совершались с одинаковой скоростью. Филогенез рыб и людей прошел не один и тот же путь, но и рыбы и люди развивались в соответствии с одними и теми же принципами, и эти же самые принципы частично объясняют по крайней мере вымирание ископаемых видов. Различия, существующие в мире живого, имеют аналогию в лингвистике; ни те, ни другие не вступают в противоречие с соответствующей эволюционной теорией; напротив, именно эта теория способна их объяснить.

5.2. Будущие исследования и возможность получения подтверждающих данных. Интерпретация и анализ представленных в настоящей работе данных позволяют предположить, что языки эволюционировали путем развития все более выгодных признаков. Приводились аргументы в пользу предположения о том, что признаки, усваиваемые в более раннем возрасте, дают языку и тем самым его носителям определенные селективные

преимущества. С тех пор как была зафиксирована хронология усвоения лингвистических признаков и независимо от этого продемонстрирована большая эффективность нейронных связей, устанавливаемых на более раннем этапе онтогенеза, приведенные нами аргументы получили существенную поддержку. Мы, однако, не утверждаем, что для оценки сравнительных преимуществ различных языковых признаков не может быть использована никакая другая парадигма. Модели нейронных сетей (см., например [41]), возможно, способны показать, что определенный признак создается и действует на основе более экономичного алгоритма, чем другой (например, использование предлогов vs. склонение). Возможно, с помощью понятия алгоритма удастся найти также объяснение тому факту, что максимальный уровень приемлемости (acceptance) намного выше для структур с препозицией главного члена, чем для противоположных им. Нет сомнения в том, что в нашем распоряжении появятся новые возможности оценки сравнительных преимуществ языковых признаков. Однако роль овладения языком останется при этом центральной и, учитывая предполагаемую корреляцию между шкалой алгоритмической сложности признаков и последовательностью их усвоения, можно ожидать, что новые данные подтвердят объяснение языковой эволюции на основе понятия педоморфоза.

Конечно, нельзя быть уверенным в данных, которые принесут будущие исследования, но так же нельзя и сомневаться в эмпирических данных, имеющихся в нашем распоряжении уже сейчас: (1) лингвистические признаки образуют эволюционные последовательности, создающиеся путем постоянного замещения существующих единиц их ранее усвоенными альтернативами; (2) раннее усвоение признаков и достигаемое благодаря этому раннее овладение языком открывает определенные преимущества при формировании нейронных путей в рамках их социального и ментального развития. Эти последовательности и эти преимущества вынуждают нас попытаться дать дарвинистское объяснение эволюции языков, и теория лингвистического педоморфоза как раз и представляет собой такую попытку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Schleicher A.* Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft. 2-te Aufl. Weimar, 1873. S. 6.
2. *Schleicher A.* Les langues de l'Europe moderne. P., 1852. P. 14, 30.
3. *Meillet A.* Convergence des développements linguistiques // Linguistique historique et linguistique générale. 2-me éd. P., 1965. P. 65.
4. *Sapir E.* Language: An introduction to the study of speech. N. Y., 1949. P. 155.
5. *Jespersen O.* Language: Its nature, development and origin. N. Y., 1964. P. 364.
6. *Jespersen O.* Studier over Engelske Kasus, med en Indledning: Fremskridt i Sprog: Doct. diss. København, 1891.
7. *Jespersen O.* Efficiency in language. Copenhagen, 1941.
8. *Saussure F.* Cours de linguistique générale. 3-me éd. P., 1931.
9. *Chomsky N.* Syntactic structures. The Hague, 1957.
10. *Jakobson R.* Principes de phonologie historique // Troubetzkoy N. S. Principes de phonologie. P., 1931.
11. *Martinet A.* A functional view of language. Oxford, 1962.
12. *Postal P.* Aspects of phonological theory. N. Y., 1968.
13. *Martinet A.* Economie de changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique. Bern, 1955.
14. *Labov W.* Sociolinguistic patterns. Philadelphia, 1972.
15. *Halle M.* Phonology in generative grammar // Word. 1962. 18.
16. *Polomé E.* Creolization process and diachronic linguistics // Theoretical orientations in Creole studies. N. Y., 1980.
17. *Kiparsky P.* Phonological change // Linguistic theory: Foundations / Ed by Newmeyer F. J. Cambridge, 1988.
18. *Gould S.* Ontogeny and philogeny. Cambridge, 1977.
19. *Beer G.* Embryos and ancestors. 3-rd ed. Oxford, 1950. P. 63—64, 90—91
20. *Kuryłowicz J.* The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964 P. 130.

21. Gamkrelidze T., Ivanov V. Sprachtypologie und die Rekonstruktion der gemeinindogermanischen Verschlüße // *Phonetica*. 1973. 27.
22. Gamkrelidze T. The Indo-European glottalic theory. A new paradigm in Indo-European comparative linguistics // *JIES*. 1987. 15.
23. Meillet A. Esquisse d'une histoire de la langue latine. 6-me ed. P., 1952. P. XII.
24. Bichakjian B. *J'at tombé pour je suis tombé: L'aboutissement d'une longue évolution* // *Aspects de linguistique française. Hommage à I. M. Mok / Éd. par Landheer R.* Amsterdam, 1988.
25. Кацков Г. А. Типология языков активного строя. М., 1977.
26. Klimov G. On the position of the ergative type in typological classification // *Ergativity. Towards a theory of grammatical relations*. L., 1979.
27. Meillet A. Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. P., 1937. P. 373—377.
28. Jackendoff R. *X-Syntax: A study of phrase structure*. Cambridge, 1977
29. Lefebvre C., Massam D. Haitian Creole syntax: A case for *DET* as head // *Journal of Pidgin and Creole languages*. 1988. 3.
30. Givón T. *On understanding grammar*. N. Y., 1979.
31. Bichakjian B. *Evolution in language*. Ann Arbor, 1988.
32. Slobin D. The acquisition of Russian as a native language // *The genesis of language: A psycholinguistic approach*. Cambridge, 1966.
33. Levay S., Wiesel T. N., Hubel D. H. The development of ocular dominance columns in normal and visually deprived monkeys // *The journal of comparative neurology*. 1980. 191. P. 2.
34. King M.-C., Wilson A. C. Evolution at two levels in humans and chimpanzees // *Science*. 1975. 188.
35. Lehrke R. X-linked mental retardation and verbal disability. N. Y., 1974.
36. Renier W. X-linked mental retardation: A clinical study of X-linked syndromes with mental retardation: *Doct. Diss. Univ. of Nijmegen, Netherlands*, 1983. P. 47.
37. Luchstinger R., Arnold G. Voice-speech language: Clinical communology. Its physiology and pathology. Belmont, 1965. P. 373.
38. Benton A. Developmental dyslexia: Neurological aspects // *Advances in neurology*. 1975. 7.
39. Aoki Ch., Siekevitz P. Plasticity in brain development // *Scientific American*. 1988. 259. 6.
40. Lenneberg E. *Biological foundation of language*. N. Y., 1967.
41. Jones W., Hoskins J. Back-propagation: A generalized delta learning rule // *Byte*. 1987. 12.

Перевела с английского Гущина Н. Р.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

В кругу вопросов, обсуждаемых последние три года на страницах «Вопросов языкознания», немалое место занимает вопрос о соотношении и взаимоотношениях лингвистических и биологических исследований, в особенности лингвистического и генетического кодов (см.: *Гамкрелидзе Т. В. Р. Якобсон и проблемы изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами* // ВЯ. 1988. № 3; *Гельфанд М. С. Коды генетического языка и естественный язык* // ВЯ. 1990. № 6). Перевод настоящей статьи был выполнен еще в 1986 г. Непосредственным импульсом для обращения к этой теме стала разработка К. А. Кедровым теории метакода (подробнее см.: *Кедров К. Поэтический космос. М., 1989*). Открытие метакода — единого генетического кода живой и неживой материи — позволяет подойти к лингвистическому и генетическому кодам как к репрезентациям метакода. На наш взгляд, такой подход заслуживает широкого обсуждения.

Общенаучное значение этой проблемы, таким образом, очевидно; менее ясен ее конкретный филологический смысл. Немалую помощь может оказать здесь обращение к истории науки. В течение ряда лет параллелизм двух кодов был предметом дискуссии двух крупных ученых — филолога Р. Якобсона и генетика, лауреата Нобелевской премии Ф. Жакоба. Точка зрения Р. Якобсона изложена им в работе, уже опубликованной на русском языке (*Jakobson R. Linguistics // Main trends of research in the social and human sciences. I. Paris; The Hague, 1970. = Якобсон Р. Лингвистика в ее отношении к другим наукам // Якобсон Р. Избр. раб. М., 1985. С. 387—404*). Однако до сих пор мы не располагаем переводом соответствующих работ его оппонента. Настоящая публикация призвана восполнить этот пробел. Перевод статьи Ф. Жакоба «The linguistic model in biology» выполнен по изданию: *R. Jakobson. Echoes of his scholarship. Lisse, 1977* (ранее эта статья была опубликована по-французски в журнале «Critique». 1974. Mars).

Дзюбенко М. А.

ЖАКОБ Ф.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В БИОЛОГИИ

Генетики были поражены, обнаружив около 20 лет назад, что наследственность представляет собой сообщение, записанное в хромосомах, но с использованием не идеограмм, а химического алфавита. С этого времени заимствованные из лингвистики понятия широко используются в молекулярной генетике. Не так давно и лингвисты, в свою очередь, выразили удивление примечательными аналогиями между этими двумя системами, а priori представляющимися весьма различными. «Можно сказать, что среди всех систем передачи информации только генетический код и языковой код базируются на использовании дискретных компонентов, которые сами по себе не имеют смысла, но служат для построения минимальных единиц, имеющих смысл, т. е. сущностей, наделенных собственным смыслом в данном коде» [1]. Это утверждение исходит от одного из родоначальников современной лингвистики Романа Якобсона. Оно заслуживает тем большего внимания, что Якобсон очень любил подчеркивать принадлежность лингвистики не к естественным, а к общественным наукам.

Лингвистическая терминология вошла в биологию в 1943 г. благодаря работам физика. В своей знаменитой книге «Что такое жизнь?» Э. Шрёдингер обсуждал, какими физическими и термодинамическими свойствами

ми должны обладать молекулы, из которых формируются в хромосомах физические носители генетической информации. Он считал, что хромосомная нить подобна «аперриодическому кристаллу», создаваемому малым числом исходных элементов путем повторения и перестановок. Таким образом, он пришел к выводу, что «хромосома содержит в виде своего рода шифровального кода весь „план“ будущего развития индивидуума и его функционирования в зрелом состоянии. Каждый полный набор хромосом содержит весь шифр» [2]. Для иллюстрации этого утверждения Шрёдингер показал, что система, функционирующая по принципу азбуки Морзе, вполне достаточна для объяснения безмерного многообразия живого мира.

Представления биологов о наследственности резко изменились благодаря теории информации, предложившей новый подход к этой проблеме. По мере углубления анализа становилась все более очевидной аналогия с лингвистической моделью. Через несколько лет наследственность стали определять как информацию, осуществляемую посредством сообщений (messages) и кодов: наиболее адекватным для передачи наследственных признаков следует признать химическое сообщение, т. е. сообщение, записанное не сложными молекулярными структурами, как считали долгое время, но комбинациями всего лишь четырех химических радикалов. Четыре элемента повторяются на всем протяжении хромосомной нити множество раз; они бесконечно сочетаются и переставляются, точно так же как буквы алфавита на протяжении всего текста. Как фраза составляет сегмент текста, так и ген является сегментом нити нуклеиновой кислоты. В обоих случаях отдельные символы не имеют смысла; смысл создается только комбинацией символов. Аналогично в обоих случаях данная последовательность, т. е. соответственно фраза или ген, начинается и заканчивается специфическими сигналами, или «знаками пунктуации». Перевод или перекодировка последовательности ДНК в белковый ряд сопоставимы с сообщением, закодированным по системе Морзе, но получающим смысл только при переводе, например, на английский язык. Это совершается посредством кода, обеспечивающего равнозначность между двумя «алфавитами», ДНК и белковым.

В настоящее время генетический код изучен во всей своей полноте. Каждая аминокислота соответствует «триплету», т. е. уникальному сочетанию трех из четырех имеющихся нуклеотидов. Поскольку существует 64 возможные комбинации из трех нуклеотидов, генетический «словарь» содержит 64 «слова». Из них три ответственны за «пунктуацию», т. е. указывают внутри нити нуклеиновой кислоты начало и конец «фраз», соотносящихся с белковыми цепочками. Из остальных триплетов каждый «обозначает» одну из аминокислот. Поскольку существует только 20 таких элементов, каждый из них соответствует нескольким триплетам — нескольким «синонимам» в словаре, — таким образом придавая генетическому письму известную гибкость. В конечном счете оказывается, что все организмы, от бактерии до человека, независимо от содержания генетического сообщения, способны правильно интерпретировать это письмо. Генетический код представляется всеобщим, ключ к нему известен всему живому миру.

Как подчеркивалось Якобсоном [1, с. 438—439], список структурных аналогий между двумя системами информации, изучаемыми лингвистами и генетиками, может быть продолжен: в обоих случаях налицо строгая количественность во временной последовательности явлений кодирования и расшифровки; возможность сведения связей между элементами, фонемами или химическими радикалами к системе бинарных оппозиций; иерархичность уровней системы, основанной на последовательной интеграции единиц более низкого класса.

Но что по существу означает эта примечательная аналогия между двумя системами? Отражает ли описание наследственности в терминах программы, заданий или кода всего-навсего мышление периода господства теории информации или оно действительно охватывает более глубокую реальность? Ограничивается ли генетика простым заимствованием лингвистической модели или связь двух наук прочнее? Таков вопрос, который Р. Якобсон резюмировал следующим образом: «Естественно задаться вопросом, является ли изоморфизм двух различных кодов, генетического и языкового, результатом конвергентного развития, вызванного сходными потребностями, или же, быть может, основы языковых структур, наложенные на молекулярную коммуникацию, были построены прямо по ее структурным принципам?» [1, с. 440]. Р. Якобсон и я несколько раз свободно обсуждали эту проблему, не придя к единому мнению. В нашем споре [3] Якобсон всегда отдавал предпочтение второй гипотезе: строгая связь между двумя системами обусловлена отношениями родства; я, со своей стороны, придерживаюсь первой: аналогичные функции предписывают аналогичные ограничения.

В самом деле, биологу трудно понять, как структура человеческого языка могла смоделироваться на основе структуры наследственности. Невозможно представить себе какой-либо механизм, который позволил бы в процессе эволюции воспроизвести в рамках другого кода ту же организацию, на которой зиждется механизм самого этого кода. Перенос информации в процессе генетической дешифровки — это всегда односторонний процесс от ДНК к белку. В силу самой природы генетического кода и его отношений с другими внутриклеточными компонентами ни один вид молекул не в состоянии «знать», какая система определяет его строение. Более того, в клетке нет ни одного органа для «понимания» кода в его целостности: органы, переводящие генетический текст, опознают каждый нуклеотидный триплет в отдельности; воспроизводящие же компоненты устанавливают простое дву-однозначное отношение между парами элементов нуклеиновой кислоты. Из сказанного ясно, что система создана для «охраны» генетического текста от всей совокупности действий среды, и не существует никакого прямого доступа к структуре генетического кода. Адаптационное изменение текста всегда проходит длительный окольный путь естественного отбора со всеми его опасностями и неудачами.

Поэтому аналогия между двумя системами должна, скорее всего, основываться на аналогии функций, а не аналогии структур. Обе системы играют в сущности сходные во многих отношениях роли. Функция обеих заключается в накоплении, сохранении и передаче информации. Тем не менее и эта параллель имеет свои границы, поскольку даже с точки зрения коммуникативной функции обе системы демонстрируют очевидные различия. Лингвистика изучает сообщения, передаваемые от отправителя к получателю; в биологии же нет ничего похожего — здесь нет ни отправителя, ни получателя. Никто никогда не записывал знаменитое наследственное сообщение, передаваемое от поколения к поколению; оно сложилось само — совершенно самостоятельно, медленно и мучительно, формируясь в результате превратностей воспроизводства, лежащих в основе эволюции. Точно так же никто не получает этого сообщения; формирование ребенка начинается из клеток его родителей, и закодированные в хромосоме инструкции определяют строение отдельных частей будущего организма.

Логично задаться вопросом о закономерностях, управляющих каждой из этих коммуникативных систем, и о том, не являются ли наблюдаемые аналогии результатом сходства ограничений, налагаемых на обе системы. В первом приближении эти аналогии могут быть классифицирова-

ны по двум основным группам: (1) комбинации элементарных единиц, фоном или химических радикалов, которые, будучи лишены самостоятельного смысла, приобретают его, сочетаясь определенным образом; (2) строгая линейность сообщения.

Группировка составных единиц не ограничивается языком и наследственностью. Тот же принцип оказывается «задействованным» в природе всякий раз, когда возникает необходимость порождения значительного многообразия структур с использованием ограниченного количества «строительных блоков». Он используется, например, в последовательностях атомов, создаваемых сочетанием нескольких элементарных частиц, которые, в свою очередь, возможно, возникают в результате группировки еще более элементарных частиц. Он также используется при возникновении почти неограниченного числа молекул, построенных из атомов, или же в создании белковых структур, образованных из 20 аминокислот. Этот метод представляется единственно возможным с логической точки зрения. Как еще можно достигнуть столь простыми средствами такого многообразия структур? Это в равной степени существенно и для лингвистического, и для генетического кодов. Без комбинации конечного числа элементов невозможно было бы создать практически бесконечное многообразие семантических структур. Однако функционирование такой системы предполагает, что элементарные единицы, фонемы или химические радикалы, сами по себе бессмысленны.

Создание сложного посредством сочетания простого, уравнивая иерархия в конструкции, образованной последовательной интеграцией единиц более низких классов, не являются к тому же достижениями лишь лингвистической и генетической систем. Те же принципы определяют строение всех естественных существей. Эти последние, однако, представляют собой сложные трехмерные структуры. С другой стороны, для наследственности и языка специфична линейность порождаемых структур. Следовательно, вопрос в том, чтобы понять, лежит ли в основе линейности этих двух систем какая-либо внутренняя логика или она основана на аналогичных ограничениях.

В процессе эволюции устная речь появилась на том эволюционном пути, который вел к возникновению человека. Но она складывалась на основе уже имевшихся голосового и слухового аппаратов, и в этом отношении собака и человек различались минимально. Сформировавшись у млекопитающих, гортань и ухо едва ли изменились в процессе человеческой эволюции. Но что действительно изменилось, так это мозг, с которым эти системы связаны и которым они управляются. В процессе перехода от приматов к человеку акустические сигналы трансформировались в чрезвычайно сложную систему символов, использующую тем не менее тот же самый аппарат. Устная речь смогла появиться только потому, что имевшийся у млекопитающих аппарат был пригоден для этого. Однако очевидно, что природа этого аппарата должна была наложить ограничения на саму структуру языка, и главное из этих ограничений — временная линейность, необходимая как для отправления, так и для получения сообщения. Временная последовательность представляет собой единственный способ бесконечно сочетать короткие звуки, производимые и воспринимаемые большинством млекопитающих, и таким образом превратить сигналы в язык. Следовательно, линейность языка предписана физическим строением голосового и слухового аппаратов.

В случае с наследственностью ситуация иная. Генетический материал играет две роли: с одной стороны, он должен воспроизводиться, что делает возможной передачу следующему поколению, и, с другой стороны, он должен быть экспрессирован, что позволяет определять строение и функции организма. Экспрессия генетического материала состоит исключитель-

но из операции «трансляции», которая благодаря соответствию между белковыми элементами и нуклеотидными триплетами допускает синтез пептидных цепочек. Во многих отношениях эти операции аналогичны языковым, поскольку каждая аминокислота в определенной временной последовательности прибавляется к предшествующей. Несомненно, что линейность генетического сообщения упрощает этот процесс. Однако менее ясно, является ли она его необходимой предпосылкой, поскольку можно вообразить механизм, в котором не соблюдалась бы временная последовательность или оказывалось бы предпочтение трехмерным комплексам, а не линейным структурам.

По всей вероятности, наиболее строгие ограничения предписываются структуре наследственности необходимостью точного воспроизведения определенных молекул. В основном линейность генетического сообщения предопределяется требованиями воспроизводства, поскольку, как уже показал Бюффон [4] два века назад, невозможно воспроизвести трехмерную структуру. Существует единственный путь самовоспроизводства: он состоит в том, что положение каждой отдельной части в копии направляется ее гомологом в оригинале. Объект можно воспроизвести постольку, поскольку каждое его свойство и каждое внутреннее соотношение свойств (motif) локализованы. Это невозможно по отношению к трехмерной структуре, где доступна лишь поверхность, но никак не внутренняя часть. С другой стороны, совершенное воспроизведение поверхности возможно только при отсутствии скрытых деталей; это именно то, что делает скульптор, отливая копию статуи. В случае с генетическим материалом ничто не мешает воспроизведению двумерной матрицы; но на практике такая операция гораздо сложнее воспроизводства простой цепи. Если в живом мире пространственно сложные структуры в состоянии самовоспроизводиться, то это происходит благодаря простоте линейной последовательности, лежащей в их основе. Следовательно, линейность двух типов сообщений — вербального и генетического — не базируется ни на схожих причинах, ни на сходной логике моделирования.

Таким образом, биологу представляется вполне вероятным, что наследственность и язык обладают примечательными структурными аналогиями только потому, что в них наблюдаются сходные потребности, возникшие в результате близости функций. Найденные в обоих случаях решения проблемы являются простейшими и, возможно, даже единственными, хотя в каждом случае строятся на разных основаниях. Поэтому ясно, что понимание одной из систем может помочь в анализе другой. Однако этот процесс носит односторонний характер, поскольку до сих пор генетика, кажется, не внесла ощутимого вклада в прогресс лингвистики. Лингвистика же, напротив, предложила генетике совершенную модель.

Может быть, из-за недостатка в математической поддержке биология чаще всего работает с использованием моделей. В самом деле, в биологии существует масса обобщений, но всего несколько настоящих теорий. И даже наиболее важная из них — теория эволюции — находится в странном положении: будучи исторически обоснованной, она до сих пор не поддается прямой экспериментальной проверке. Другие биологические теории — например, нервной проводимости или наследственности — чаще всего крайне просты и допускают весьма незначительную долю абстракции. Но когда в поле зрения оказывается какой-либо абстрактный элемент типа гена, биологи не успокаиваются до тех пор, пока не заменят абстрактную единицу материальными компонентами, частицами или молекулами, словно теория, чтобы играть в биологии какую-то роль, должна прежде всего оперировать какой-либо конкретной моделью. В «диалоге» между теорией и экспериментом, необходимым при всяком естественнонаучном подходе, особенно в биологии, модель играет роль теории,

направляющей эксперимент. Отсюда обычная тенденция давать все объяснения посредством модели, а аналогии считать тождествами.

Ценность модели измеряется ее практической эффективностью; и в этом смысле лингвистическая модель сыграла большую роль в недавнем прогрессе генетики. Например, когда при анализе мутаций генетическое сообщение сопоставлялось с текстом, записанным с помощью алфавита, логичным казалось уподобление мутаций ошибкам, допущенным при переписке или печатании текста. Подобно тексту, генетическая сущность сообщения может быть модифицирована заменой одного символа на другой, вычеркиванием или добавлением одного или нескольких символов, переносом символа из одной фразы в другую, переворачиванием группы символов — короче, любым способом, видоизменяющим установленный порядок. Наличие пунктуации в генетическом тексте было установлено тем же путем. Если цепочка нуклеиновой кислоты физически непрерывна, а функционально — дискретна, начало и конец фраз, т. е. генов, должны обозначаться сигналами. Как только это основанное на аналогии требование было сформулировано, подтвердилось существование в ДНК «знаков пунктуации». Большая часть используемых в биологии моделей, механическая модель в частности, вообще обнаружили свою плодотворность скорее в изучении функций, чем в изучении структур. Если лингвистическая модель доказала свою исключительную ценность при молекулярном анализе наследственности, то это, возможно, потому, что она в равной степени применима как к структуре, так и к функциям генетической материи. Нечасто модель, навязанная концепциями своего времени, находила столь точное применение.

Возможно, бесполезно будет напомнить здесь сходство генетического кода со старыми символическими системами, описанными почти три тысячи лет назад в китайской книге «И Цзин» («Книге Перемен»). Данная аналогия была подмечена музыкантом Джоном Кейджом, который использовал эту книгу при сочинении стохастической музыки. Система, описанная в «И Цзин», основана на ряде отношений между двумя противоположными началами: ян, мужским началом, изображаемым сплошной горизонтальной чертой —, и инь, женским началом, изображаемым прерывной горизонтальной чертой — — — —. Эти два начала — ян и инь — сочетаются в пары, давая четыре типа диграфов: старый ян (☰), старую инь (☷), молодой ян (☱) и молодую инь (☶). Эти четыре структуры группируются по три, образуя $4^3 = 64$ гексаграммы, и каждая гексаграмма означает один фундаментальный аспект бытия. На протяжении долгой истории «И Цзин» гексаграммы интерпретировались применительно к разным структурам. Одна из таких классификаций, известная как «природная», была установлена в период Сунь. Эта система ставит своей целью объяснить многообразие живого мира. Превращение жизни из одной формы в другую совершается благодаря преобразованию ян в инь или инь в ян. Отношения между живыми существами, таким образом, выведены из этой символической системы. Возвращавшиеся из Китая иезуитские миссионеры показали «И Цзин» Лейбницу. Тот был удивлен, обнаружив, что этот природный порядок, определенный как система бинарных рядов, очень похож на создававшийся им. Возможно, генетики XX в. были поражены еще больше, открыв высокую степень аналогии между природным порядком «И Цзин» и генетическим кодом. Если определенным образом распределить китайские диаграммы так, что каждой из них будет соответствовать одна из четырех пар химических радикалов, являющихся компонентами ДНК, любая из этих гексаграмм будет эквивалентна одному из генетических триплетов. Структуры «естественного порядка», описанные в «Книге Перемен», таким образом, в точности соответствуют структурам генетического кода. Возможно, имело бы смысл изучить «И Цзин» для познания отношений между наследственностью и языком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Якобсон Р.* Лингвистика в ее отношении к другим наукам // *Якобсон Р.* Избр. раб М., 1985. С. 393.
2. *Schrödinger E.* What is life. N. Y., 1956. P. 18. (= *Шредингер Э.* Что такое жизнь с точки зрения физика? М., 1972. С. 28).
3. *Jacob F., Jakobson R., Lévi-Strauss C., L'Héritier P.* Vivre et parler // *Lettres françaises.* 1968. Février. P. 1221—1222.
4. *Jacob F.* The logic of life. N. Y., 1973. P. 79—81, 285—286.
5. *Stent G. S.* The coming of the golden age. N. Y., 1969. P. 64—65.

Перевел с английского *Дяубенко М. А.*

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прежде чем говорить об аналогии между естественными (человеческими) языками и генетическим языком, необходимо сделать некоторые разделения и уточнения, иначе вопросы, которые хотелось бы рассмотреть с использованием этой аналогии, будут безнадежно запутаны.

Говоря о человеческом языке, можно выделить текст и речь, т. е. слово написанное и слово произнесенное. В обоих случаях информация, грубо говоря, та же, но материальный носитель ее разный. Мы предлагаем некое аналогичное разделение и в случае генетического языка: это будет соответственно информация, записанная на ДНК, и та же самая информация, но уже в виде последовательностей аминокислот в белке. В общем виде назовем эти две испостаси языка «язык-память» и «язык-функция». Далее мы покажем, почему, на наш взгляд, проведение такой аналогии кажется вполне плодотворным.

Отмечаем сразу следующее свойство. Язык-память (текст, resp. ДНК) — более пассивен, его надо читать; он более стабилен, и его главная функция — быть хранилищем информации. Вследствие этого он более оторван от реальности. Язык-функция (речь, resp. белок) — более активен; он сам навязывается реципиенту в случае речи, сам воздействует на природу в случае фермента; он более динамичен — в том смысле, что слово произнесенное быстро затухает, и времена жизни белков не сравнимы с временем существования ДНК. Язык-функция не может оторваться от реальности никогда.

На этой первоначально очерченной основе можно рассмотреть некоторые проблемы, поднятые в дискуссии Жакоба — Якобсона, и указать на путаницу, которой можно избежать уже сейчас.

Первая проблема — это фундаментальная проблема отношения знака и реальности. В этой проблеме мы выделим два вопроса. Первый — о произвольности знака. Исходя из сказанного выше, видно, что и в нем можно выделить две части. Первая касается чисто внутриязыковой проблемы соответствия знаков разных испостасей друг другу, т. е. проблемы кодового соответствия. Что определяет соответствие звука и буквы в случае человеческого языка? Что определяет соответствие последовательности нуклеотидов последовательности аминокислот (кодовую таблицу) в случае генетического? Современные представления состоят в том, что в обоих этих случаях соответствие произвольно в том смысле, что не имеет никакой физической, материальной основы, хотя, возможно, и было как-то обусловлено исторически. Вторая часть — внешнеязыковая. Это проблема того, как связаны речевые знаки того или иного языка с реальностью. Можно сказать, что если первая проблема касается синтаксиса (отношений знаков друг с другом), то вторая касается семантики (связи знака и некоей внеязыковой реальности). Имеется ли в последнем случае какое-то «физическое», «материальное» основание для такой связи? Для языка-функции эта связь в обоих случаях есть. Для аминокислот по отношению к белку это очевидно: сами их физико-химические свойства предопределяют, как они могут функционировать, — это и есть их смысл. Для звуков речи это их ассоциативные и ономатопоэтические свойства, особенно ярко проявляющиеся в экспрессивной речи и в поэзии. Что касается языка-памяти, то такая связь, по крайней мере, намного слабее (в случае генетического языка ее можно видеть только тогда, когда он сам как-то участвует в функционировании тРНК, рРНК).

Второй, не менее интересный вопрос, касающийся взаимоотношения знака и реальности, — о смысле и значении знака. Фактически речь идет о внесении предмета, изучаемого семантикой. Дело в том, что при самом возникновении языка-памяти имеет место феномен намеренной десемантизации языкового знака. В процессе эволюции существует тенденция к замене некоторого исходного смысла знака на другой, причем новый смысл касается уже не взаимоотношения знака с реальностью, но внутриязыковых отношений. Рассмотрим ситуацию более широко.

Какова главная роль языка? С нашей точки зрения, ее можно понять в контексте некоторого глобально-эволюционного подхода, рассматривающего, с одной стороны, возникновение жизни и связанного с ней генетического кода и, с другой стороны, воз-

киковенные мышления и связанного с ним кода естественного языка как этапы некоторого единого процесса эволюции и становления все более усложняющихся форм и структур. Язык в этом глобальном эволюционном процессе играет существеннейшую роль, состоящую в том, чтобы стабилизировать эти новые «формы» и создать пространство для их устойчивого развития и взаимодействия друг с другом.

При таком подходе коммуникативная функция человеческого языка — не самая существенная, а как бы производная от указанной выше. Поэтому, кстати, указание Жакоба на то, что в случае генетического языка он не смог обнаружить коммуникативную функцию, не слишком важно. Аналогия есть, но она более глубока.

Одной из важнейших черт обоих языков является их цифровой характер. Он подразумевает наличие специальных механизмов распознавания знака-символа и отделения его от шума. Это обеспечивает устойчивость системы. Дискретность знаков, т. е. некоторая прерывность на границах между ними в слове, позволяет комбинировать их друг относительно друга, создает огромное потенциальное пространство для развития и появления возможных слов.

Но здесь возникает некоторое противоречие, требующее разрешения. Когда символы языка связаны с реальностью, чисто физические и общесистемные причины ограничивают свободу комбинирования, начиная с труднопроизносимых и фонологически запрещенных сочетаний в речи и нестабильных сочетаний аминокислот в белке. Поэтому и требуется то, что можно назвать десемантизацией знака: лишение его непосредственного смысла, связи с реальностью, иначе эта последняя будет противоречить некоторым потребностям развития.

Однако, с другой стороны, эту связь надо как-то сохранить. Задача, на наш взгляд, решается с помощью появления некоторого кодового соответствия. Таким образом, возникают два уровня языка, которые могут уже перераспределить между собой разные функции. Язык-речь берет на себя в основном функцию активного воздействия и никогда не может оторваться от своего искомого физического смысла. Язык-память принимает функцию хранения, и текстовый знак начинает распознаваться безотносительно к его смыслу. В случае генетического языка это унифицированные механизмы репликации, экспрессии. В случае человеческого — это письменные знаки, прежде имевшие сакральный смысл, но позднее трансформированные, чтобы зашифровать его.

Можно предположить, что до этапа разделения функций предшественники материальных носителей языка-текста развивались независимо от носителей языка-речи, поэтому у текстовых знаков был свой физический смысл, определенным образом связанный с реальностью. Свойства этих знаков играли решающую роль в их существовании, сохранении и воспроизведении. В случае генетического языка общепризнано, что предшественником его была самореплицирующаяся РНК (лишь позднее замененная на ДНК как более стабильную и «выключенную из жизни» структуру). Смыслом знаков этой системы было не что иное, как способность комплементарно узнавать другие знаки и таким образом реплицироваться. У РНК до сих пор сохраняются некоторые функции в клетке (тРНК и рРНК), хотя и связанные главным образом с реализацией кодового соответствия (т. е. с внутриязыковыми задачами). Что касается письменности, то знаки первоначально имели свой священный смысл, именно благодаря чему они и существовали.

Затем в результате некоторой эволюции происходит замещение и полное вытеснение этой связи с реальностью, этого непосредственного очевидного смысла. Вместо него появляется новое конвенциональное соответствие, благодаря которому знаки в дальнейшем и воспроизводятся. Например, нуклеотид начинает воспроизводиться благодаря тому, что он в составе кодона соответствует какой-то аминокислоте. Теперь уже совершенно несущественно, какова его конкретная структура, — достаточно посмотреть на кодовую таблицу, где он обозначен некоторым знаком. Произошло полное замещение связи непосредственной на связь опосредованную, конвенциональную и внутриязыковую.

Таким образом, общая тенденция — в переносе центра тяжести с внешних отношений на внутренние, которая получила наиболее полное развитие в формальных и компьютерных языках. Кстати, именно развитие некоторого аппарата, позволяющего оперировать со знаками безотносительно к их смыслу, создало предпосылки для возникновения языкового паразитизма в виде биологических и компьютерных вирусов. Эти тексты используют именно развитый десемантизированный аппарат.

Указанное разделение позволяет рассмотреть с новой стороны и поставленный ранее вопрос о смысле знака. Что мы подразумеваем, когда говорим, что знак что-то обозначает, когда задаем вопрос о физических предпосылках его связи с реальностью? Под этим обычно подразумевают наличие некоторого референта во внешнем мире, описание которого и является основной функцией языка.

Здесь возникает некоторое существенное несоответствие между генетическим и человеческим языками. Получается, что человеческий язык описывает внешний мир, тогда как генетический язык описывает живой объект.

Для решения вопроса вернемся к разделению, сделанному в самом начале. Нам представляется, что само понятие о языке как описании реальности со всеми вытекающими из него вопросами о соответствии / несоответствии описываемой реальности является довольно поздним приобретением мысли. Представление о некотором отобра-

жеши реальности в языке прекрасно работает для внутриязыкового соотношения речи и текста, где есть специальные механизмы, обеспечивающие это соответствие. Отсюда — распространенное мнение о том, что в геноме содержится описание организма. С нашей точки зрения, это мнение неверно. В гене содержится описание белка — но это чисто внутриязыковая проблема. Когда же речь идет о соответствии внешнеязыковом, представление о том, что белок что-то описывает во внешнем мире, дает мало пользы. У него есть своя функция, и он ее осуществляет.

Можно предположить, что подобные же утверждения справедливы для естественного языка. Первоначально он играл не описательную, а инструктивно-императивную роль, связанную с ритуально-магической стороной человеческой жизни. Описательность же приходит с десемантизацией.

То же самое разделение, проведенное по отношению к проблеме линейности языка, снимает вопросы, поднятые Жакобом. Надо разграничить линейность текста и ДНК, с одной стороны, и линейность звукового ряда и белковой цепочки, с другой. Эта тема представляет собой предмет отдельной работы, но следует отметить, что сравнивать ДНК и речь с точки зрения линейности, как это делает Жакоб, некорректно.

Огрызко В. В.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. Ярцева В. Н. М.: Советская энциклопедия, 1990. 685 с.

Рецензируемый «Лингвистический энциклопедический словарь» (далее — ЛЭС) объемом в 163 авторских листа является бесспорно крупным событием как в отечественном, так и в мировом языкознании. Нельзя сказать, что до появления этого словаря в отечественном языкознании вообще отсутствовали лингвистические словари разного профиля; сошлемся хотя бы на словарь грамматических терминов Н. Н. Дурново [1], на переводной словарь лингвистической терминологии Ж. Марузо [2], на словарь лингвистических терминов О. С. Ахмаевой [3], на переводной словарь американской лингвистической терминологии Э. Хэмпса [4], на словарь поэтических терминов А. П. Квятковского [5]. Однако они при всех беспорных частных достоинствах не идут ни в какое сравнение с рецензируемой энциклопедией.

Лингвистический словарь по широте охвата материала задуман его авторами как энциклопедический словарь, что и нашло отражение в его архитектонике. Насколько мне известно, в данном словаре впервые предпринимается попытка органического сочетания описания языков мира и корпуса теоретических постулатов общего языкознания с широкими экскурсами в область истории лингвистики. Таким образом, данный словарь представляет собой как бы два среза — вертикальный и горизонтальный. Горизонтальный, или базисный, срез — это описание языков мира и языковых семей. Над этим базисным стратумом возвышается здание теоретического языкознания. Вертикальный срез представлен многочисленными статьями, посвященными историографии языкознания и характеристике различных школ и направлений лингвистики. Охват как горизонтального, так и вертикального срезов чрезвычайно широк: от первых памятников вавилонско-шумерской письменности III—II тыс. до н. э. вплоть до характеристики различных направлений языкознания второй половины XX в. В пространственном отношении словарь охватывает языковую материал от Японии и Китая до Северной Америки. Подобная архитектура

обладает бесспорным преимуществом, ибо читатель в пределах одной книги имеет возможность свободно и легко перейти от конкретного языка к интересующим его теоретическим проблемам, и, с другой стороны, он может проверить определенные теоретические постулаты на конкретном материале того или иного языка.

Бесспорным достоинством данного словаря является его техническое оформление. Разветвленная система перекрестных ссылок, смена различных типографических систем, позволяющих более вычлукло и наглядно разграничивать корпус статьи и библиографический аппарат, использование различных шрифтов, наконец, продуманная система сокращений — все это весьма облегчает работу над словарем и позволяет легко ориентироваться в безбрежном мире языковых фактов, авторов, библиографических ссылок и проч.

Уточним эпитет «энциклопедический», поскольку данный словарь является не просто лингвистическим. В чем же заключается различие между собственно лингвистическим и энциклопедическим словарями? Думается, что любой энциклопедический словарь, как одготомный, так и многотомный, должен отвечать следующим пяти принципам: 1) высокий профессионализм; 2) объективность изложения материала; 3) относительная полнота освещения той или иной проблемы; 4) лаконизм изложения; 5) безукоризненная точность, выверенность всего излагаемого материала, а также библиографического аппарата — то, что в филологии принято называть «акрибией».

Эти пять пунктов, характеризующие любой энциклопедический словарь, создают тот профиль, ту существенную характеристику, благодаря которой он приобретает исключительную стабильность и надежность и которые делают словарь абсолютным необходимым справочным подспорьем для широкого круга читателей во всех областях знаний. Задержимся на более детальной характеристике отдельных вышеупомянутых

принципов энциклопедического словаря. Высокий профессионализм не требует, по-видимому, специального толкования. Под объективностью изложения следует понимать такую манеру подачи и освещения материала и теоретических постулатов, при которой на первый план выдвигается существо, сущность самой проблемы, историческое развитие ее разработки, реальные результаты исследований. Все индивидуальное, субъективно окрашенное вместе с односторонней позицией и вкусами автора статьи или отходит на задний план, или вообще не упоминается. Можно было бы назвать подобный подход «усредненным». Каждый из нас, представителей той или иной науки, высоко ценит индивидуальные, субъективно окрашенные теоретические построения; однако нужно всегда помнить, что место для таких построений — авторские монографии, статьи, доклады и проч. В энциклопедиях господствует иной принцип: объективность, или «усредненность», анализа, о чем говорилось выше.

Любой энциклопедический словарь, даже многотомный, не может дать всей полноты изложения материала — эта полнота всегда относительна. Под этим следует понимать такую форму представления материала, когда излагаются ведущие, профилирующие грани данной проблемы и когда опускается все второстепенное, быть может, имеющее большое значение в специальной литературе. Энциклопедический словарь непременно характеризуется лаконизмом изложения, сжатостью, компрессией мысли. Естественно, при этом условии не допускается повторение, дублирование, привлечение обширного иллюстративного материала. Примерно такую же характеристику должна получить и библиографическая часть словаря. Если в специальной монографии или диссертации автор пытается дать исчерпывающую библиографию по определенному вопросу, то в энциклопедическом словаре это не только невозможно, но, что, может быть, еще важнее, оказывается не необходимым. Здесь должны найти отражение два момента: а) наиболее существенные для данного вопроса работы, независимо от времени опубликования и б) публикации последних лет.

Наконец, несколько замечаний по поводу филологической выверенности, или акрибии. Именно для энциклопедического словаря чрезвычайно важным оказывается безукоризненная точность всех сообщаемых данных, достоверность и надежность хронологических дат, адекватность каждого языкового примера, перевода на русский язык всех конструкций и проч. Естественно, для лингвистического словаря необходима такая же точность при передаче графического материала. Читатель, обращаясь к энциклопедическому словарю, должен получать

надежные сведения по всем интересующим его вопросам.

Все вышеупомянутые принципы любого энциклопедического словаря обеспечивают ему не только неповторимый облик, но и надежность и стабильность во времени. Многие энциклопедические словари существуют и функционируют на протяжении десятилетий, поскольку нужда в них не убывает, а, напротив, все более увеличивается. В этом отношении достаточно указать на энциклопедию «Британника», вышедшую столетие назад и регулярно переиздающуюся (в настоящее время осуществляется ее перевод на русский язык).

Теперь обратимся к рецензируемому ЛЭС и попробуем дать ответ на вопрос о том, в какой мере он отвечает тем пяти принципам, о которых речь шла выше.

Высокий профессионализм. Оговорим сразу, что большая часть статей выполнена высококвалифицированными «узкими» (в хорошем смысле слова) специалистами. Их отличает глубокий анализ проблематики того или иного круга явлений. При всем моем желании, однако, я не имею возможности даже перечислить авторов всех удачных статей. И все же я хотел бы обратить внимание читателей на отдельные несомненные удачи. Не могу скрыть своей глубокой радости и восхищения отдельными работами, впечатлениями от которых мне бы хотелось поделиться.

Статья «Грамматика» (Н. Ю. Шведова) поражает читателя своей архитектурной: дается описание содержания грамматики как предмета лингвистического исследования и как раздела языкознания, составных элементов грамматики, типов грамматического значения, грамматической функции. Перечисляются и анализируются различные типы грамматик — от школьной и описательной до генеративной, содержательной и логической. Великолепно вскрывается процедура грамматического описания от формы к значению и обратно (так называемая функциональная грамматика). Здесь содержатся богатые сведения о становлении грамматики как лингвистической науки, начиная с античной традиции. Не скрою, что каждый из нас является приверженцем той или иной концепции, того или иного направления, и следует только восхищаться умением автора подняться над собственной позицией и оценить все течения с одинаковой тщательностью и любовью, отметить все преимущества и недостатки каждого из них.

Статья «Слово» (В. Г. Гак). Непреодолимая трудность заключается в том, что однозначная и исчерпывающая дефиниция слова многим представляется роковой. Становится совершенно понятным, что многие крупные языковеды от казались от этого. Слово настолько многогранно и многогранно, оно настолько зависит от прагматики, что даже такие

великие ученые, как А. А. Потебня, считали возможным определение слова лишь в зависимости от конкретной ситуации («всякое новое употребление слова есть новое слово»), а так как их бесконечное количество, то, следовательно, общей дефиниции быть не может. Не ясны до сих пор границы слова. Остается открытым вопрос о цельнооформленности и разнооформленности слова (ср. высказывания А. М. Пешковского о форме слова, которые по сути дела лишь повторил А. И. Смирницкий). Педанты могут, однако, при желании насчитать до сотни дефиниций слова, и можно только восхищаться смелостью автора взяться за освещение этого крайне запутанного и загадочного феномена. Видя сильные и слабые стороны определения слова и у А. М. Пешковского, и, скажем, в автоматической лингвистике, он сумел войти в самую глубь и суть всей проблематики и ввести в нее за собой внимательного читателя.

Статьи «Имя», «Понятие», «Семантика» (Ю. С. Степанов) представляют собой одно целостное, необычайно элегантное изложение. Здесь традиционные две опасности: философское направление размышлений приводит к логистике, чисто языковое направление ведет к неизбежностью к психологии. Автору удалось избежать крайностей и логистики, и психологизма — в этом вся элегантность его подхода. Используя термины средневековой схоластики — «интенционал» и «экстенционал», — он сумел сохранить специфику и слова, и понятия, всячески подчеркивая при этом их взаимосвязь. Это образец диалектического подхода, ибо в «треугольнике» «слово — понятие — вещь» легко заблудиться, как это не раз имело место в истории языкознания. «Маневры» автора между логикой, психологией и лингвистикой — образец педагогического мастерства. Нелишним было бы учесть в этой связи плодотворные исследования Л. Вайсгербера, в которых с несравненной глубиной демонстрируется творческая, созидательная роль слова: Л. Вайсгербер полагал, что слово не механически отражает действительность, а создает понятие мира, через него мы осмыслим мир (die Bewältigung der Welt). Экстенционалы и интенционалы — это вторичное, формализованное описание соотношения «слово — понятие — вещь», оно не учитывает творческих потенций слова, на что указывал еще А. А. Потебня.

Статьи «Аффикс», «Деривация», «Словообразование» (Е. С. Кубрякова, Ю. Г. Панкрац) вскрывают сложную и противоречивую природу словообразования, находящегося на грани грамматики и лексики. В то же время вскрытие грамматических и лексических сторон в дериватах оказывается явно недостаточным, ибо в данном случае речь идет не о перекрытии или наложении грамма-

тического на лексическое, а о том, что в результате этого сплетения грамматического и лексического по сути дела образуется новая единица с новыми синтагматическими, парадигматическими и лексико-семантическими потенциями. Этот вывод является, бесспорно, новаторским и не вызывает никаких возражений.

Особо хотелось бы отметить статьи «Метафора», «Метонимия», «Логическое направление», «Синтаксис», «Речь» (Н. Д. Арутюнова). Все статьи этого автора даны в безукоризненной филологической форме, но особое удовольствие читателю доставит статья «Речь». Архитектоника статьи уникальна, поражает и радует мастерство автора, его умение вскрыть всю антиномичность языка и речи по всем существенным характеристикам и в заключение найти разрешение этой антиномичности: стягивание всех антиномий в единый узел и затем разрешение этого узла проблем. Динамизм мысли автора, динамизм изложения этой мысли поразительны. С полным правом эту статью можно рассматривать не только как образец высокого лингвистического построения, но и как словесное произведение искусства. Такие статьи украшают словарь.

Будучи совершенно сознательным противником ностратической теории, я все же не могу не отметить то сильное впечатление, которое производит статья «Ностратические языки» (В. А. Дыбо, В. А. Терентьев). Неожиданным для компаративиста, но в то же время вполне убедительным является вывод о том, что решающими параметрами отнесения к ностратическим языкам являются лексические изоглоссы.

К сожалению, другое впечатление создается при чтении таких статей, как «Внутренняя форма языка», «Законы развития языка», «Табу» и проч.

Объективность изложения материала. И с этой точки зрения необходимо сделать ряд критических замечаний. В статье «Глоссематика» (А. С. Мельничук) обращает на себя внимание указание автора статьи на то, что в основе теории глоссематики лежат философские субъективно-идеалистические концепции. Это дает автору основание характеризовать глоссематическую теорию как «методологически порочную». Мне представляется, что глоссематическая теория является одним из вершинных достижений теоретического языкознания XX в. Л. Ельмслев принял попытку дать фронтальное описание языка от единиц низших уровней — так называемых келем — до единиц высшего метасемантического уровня (стилистике) на основе единого, последовательно проведенного дедуктивного принципа. Нельзя сказать, что в истории языкознания вообще не использовался дедуктивный принцип. Достаточно указать на элементы дедуктивного постро-

ния в натуралистической концепции А. Шлейхера или отдельные дедуктивные элементы в гениальном «Мемуаре...» Ф. де Соссюра, где на основе чисто дедуктивных посылок определено наличие сонантических коэффициентов в индоевропейском праязыке, дана блестящая характеристика древнеиндийских глаголов V, VII, IX классов. Но все это представляет отдельные диспаратные звенья общей дедукции, и только Л. Ельмслев смог в своих «Прологоменах...» дать целостное, фронтальное дедуктивное построение языка. Я не являюсь адептом глоссематической теории Л. Ельмслева, но я не могу не восхищаться изумительной красотой данного теоретического построения. Если же встать на точку зрения автора статьи, то окажется, что превалирующее большинство лингвистических концепций своей теоретической предпосылкой имеет те или иные субъективно-идеалистические философские теории, и тем самым отечественный языковед, отстаивающий подобную точку зрения, рискует вообще потерять все мировое языкознание.

В том же направлении идут замечания по поводу статьи «Неогумбольдтианство» (Л. С. Ермолаева). И здесь также указывается на то, что в основе лингвистики Л. Вайсгербера лежат субъективно-идеалистические взгляды И. Канта и неокантства. Автор статьи подчеркивает «ущербность» теоретических построений главы европейского неогумбольдтианства Л. Вайсгербера, заключающиеся в том, что представители этого направления отрывают язык от речи, язык от мышления, язык от общества и проч. Особенно отмечается характерная для неогумбольдтианцев гипертрофия роли мышления и логических операций в языковой деятельности. Это, по мнению автора, приводит к «порочным» выводам. Следует признать подобную характеристику несправедливой и бесосновательной, не отвечающей ни сути самой концепции Л. Вайсгербера, ни тем поразительным, плодотворным последствием, которые имела и продолжает иметь концепция Л. Вайсгербера. Не входя в детали этой лингвистической концепции, укажу лишь на то, что именно Л. Вайсгербер дал изумительный по красоте и глубине мысли анализ взаимодействия сторон знаменитого лингвистического треугольника «слово — понятие — вещь». Учение Л. Вайсгербера о языковом осмыслении мира (*das Weltbild der Sprache*) стимулировало и будет впредь стимулировать дальнейшие поиски ученых в этом направлении. Свидетельством этого являются весьма плодотворные разработки комплекса проблем, известного в современной лингвистике под названием «когнитивная лингвистика». Необходимо со всей определенностью заявить, что из отечественного языкознания должен вообще исчезнуть термин «порочный» как элемент анахро-

низма. Хочется в который раз перефразировать Цицерона: «До коих пор мы будем злоупотреблять порочным термином „порочный“?»

И уж совершенным анахронизмом, никак не отвечающим современному лингвистическому мышлению, являются такие статьи, как «Ленин о языке», «Маркс, Энгельс о языке» (В. И. Кодухов) или «Философские проблемы языкознания» (П. В. Чесноков) и проч., пытающиеся интерпретировать все предыдущие лингвистические школы и направления, как отечественные, так и зарубежные, с точки зрения только одной, далеко не безупречной, философской концепции. Представляется, что в переизданном варианте ЛЭС эти статьи должны быть кардинальным образом переработаны, выглядеть гораздо скромнее по размерам, если редакционная коллегия не сочтет возможным исключить их из словаря вообще.

Много индивидуального и субъективного содержится в статье «Сравнительно-историческое языкознание» (В. Н. Топоров), где приводятся довольно пространные субъективные размышления автора о логической структуре сравнительно-исторического языкознания, которые были бы более уместными в рамках отдельной монографии или доклада, но не справочного пособия, каковым является рецензируемый лингвистический энциклопедический словарь.

Относительная полнота освещения материала. В данном словаре имеются три указателя: указатель языков, предметный указатель и именной указатель. В общей сложности они занимают одну пятую всего объема словаря. При всей тщательности разработки всех трех указателей следует все же обратить внимание на некоторые недостатки. В именовом указателе приводится обширный список большого количества отечественных и зарубежных языковедов. По непонятным причинам, однако, в нем не оказалось таких имен, как А. И. Белецкий, Н. И. Филичева, К. А. Левковская, Т. А. Амброва, Г. С. Щур, М. М. Маковский, А. Б. Долгопольский, С. К. Шаумян, Б. А. Абрамов, и мн. др. Мне остается непонятным сам принцип отбора: в библиографии работы этих авторов цитируются, в то время как сами авторы в именовом указателе отсутствуют. Если редакционная коллегия исходит из того принципа, что в именовом указателе упоминаются только те языковеды, ссылки на которых даются в корпусе статьи, тогда неизбежно возникает вопрос: на каком основании данные авторы не упоминаются в статье, если на них есть ссылки в библиографии к статье?

Большим достоинством рецензируемого словаря является последовательно проводимый принцип точного указания на то, когда и кем был введен соответствующий лингвистический термин, составля-

ющий предмет данной статьи («аблаут» — Я. Гримм, «актант» — Л. Теньер, «прагматика» — Ч. Моррис, «ностратические языки» — Х. Педерсен, «афразийские языки» — И. М. Дьяконов, «интерфикс» — А. М. Сухотин, М. В. Панов, «этимология» — Стойки и проч.). Можно добавить, что после весьма детальных разработок К. Барвика и его школы считается доказанным, что термин «этимология» введен Хризином. Попутно укажу на то, что в статье «Аффикс» указано происхождение термина «интерфикс» и не оговаривается сам термин «аффикс»: он был введен И. Рейхлином в его «Грамматике древнесврейского языка» в 1506 г. [6].

Аналогичное замечание касается и библиографии. Библиографический аппарат достаточно обширен: как правило, в хронологической последовательности указываются основные, наиболее существенные публикации по проблеме. При этом библиография доводится до новейших публикаций. Не обошлось, однако, и здесь без огрехов. Статья «Законы развития языка» (Б. А. Серебренников) не указывает фундаментальный труд по данной проблеме [7]; здесь нет также ссылки на обширную — 1600 с. — монографию В. Вундта [8], посвященную законам и этапам развития языка. Статья «Сандхи» (без автора?) не имеет библиографии вообще (ср. большую монографию [9]). Статья «Внутренняя форма слова» (без автора?) содержит лишь ссылки на элементарные учебники по введению в языковедение Р. А. Будагова и Ю. С. Маслова, но нет ссылок на монографию Г. Шпета [10], на интересную работу [11].

(В отношении статьи «Риторика» (В. Н. Топоров) следует указать, что классическим трудом по ораторскому искусству и риторике является выдержавший добрый десяток изданий двухтомник [12]. О нем нет даже упоминания; абзац оказался и другой двухтомник [13]. Примеры эти многочисленны, к большому сожалению.

Говоря об относительной полноте изложения, приходится с большой печалью в сердце констатировать, что охватившее в последнее время все теоретическое языковедение известное падение интереса к исторической проблематике нашло свое отражение и в рецензируемом ЛЭС. Характерно в этом отношении высказывание Н. Д. Арутюновой в статье «Логическое направление»: характерно «предпочтение синхронного анализа диахроническому и, соответственно, описательных грамматик историческим и сравнительно-историческим» (с. 273, кн. 3). Не будем останавливаться на причинах этого печального положения — они достаточно прозрачны. Историческое языковедение, однако, достигшее величайших результатов, проложившее путь всему современному синхронному язы-

коведению и сформировавшее языковедение как точную науку, оказалось представленным в данном ЛЭС несколько пренебрежительно. В статье «Дармстедтерский закон» (В. П. Калыгин), к примеру, упоминается термин «синкопа». В словаре, однако, читатель не найдет соответствующей статьи. Точно так же он не найдет здесь многих фундаментальных понятий и терминов сравнительно-исторического языковедения и диахронии, таких, как «процесс», «экстраполяция», «маргинальность», «этактизм — итактизм», «зетакизм», «ротактизм», «формант», «дифтонгизация», «монофтонгизация», «корреспонденция», законы Хирта, Бехагеля, Хольцмана, Турнейзена, правила Фортунатова, Ноткера; в словаре нет терминов, используемых при критике и эвекции текста древних рукописей, в частности глоссариев (лемма, глосса, стемма, мнимое слово); ничего не сказано о семантической теории катастроф [14]. Этот список можно продолжить.

Читатель вправе спросить: почему он не может получить информацию об этих явлениях в лингвистическом энциклопедическом словаре? Есть все основания полагать, что при подготовке словаря к переизданию редакционная коллегия сочтет возможным расширить и дополнить словарь, тем более, что мои замечания касаются не только диахронической лингвистики, но и многих старинных понятий синхронии: нет в словаре статей о народной (вульгарной) латыни, изоморфизме, акрофоническом принципе, акростихе, аллегро- и лентоформах, звуковым анализе Зиверса (Schallanalyse), анаграмме, теории сонантов и проч. Особенно показательна в этом отношении статья «Фигуры речи» (В. Н. Топоров). Читателя, обращающегося к словарю, не интересует авторская интерпретация фигур речи; он, вероятно, хочет знать, что в языковедении понимается под такими фигурами речи, как анастрофа, анафора, элифора, антанаклазма, антономазия, антитеза, антифраз, антиклимакс, антиметабола, апокойну, апострофа, анаколуп, гипербола, климакс, гендиадис, гистеропротетон, литота, катахреза, зевгма, полиптетон, гипербатон, параллелизм, хиазмус, эналлага, эпаналексис (анадишлос), эпанод, аносиопеза, амфиболія, симплока, оксюморон, каламбур, персонификация и проч. Но в статье, посвященной как раз фигурам речи, даже не упоминаются вышеперечисленные фигуры. Перекрестная ссылка на статью «Тропы» того же автора мало что прояснит читателю: здесь есть «языковые и статические модулы», «транспозиция» и «асимметрия знака», «референция» и «парадигматика», «синхрония» и «диахрония», но ничего конкретного о фигурах речи, ибо автор вполне определенно считает, что «...теория Т. (тропов.— М. Э.) превратилась к сер. 20 в. ... в наиболее застойную и графа-

ретную часть поэтики и стилистики» (с. 520, кн. 2). Может быть, и действительно дела с фигурами речи обходятся таким образом, но это снова субъективность, снова «порочность», которым не место в ЛЭС.

Впервые, насколько мне известно, в рамках лингвистического словаря содержится обширная информация о лингвистических институтах, учреждениях, ассоциациях, конгрессах и симпозиумах, о лингвистических журналах. Это как раз та информация, в которой нуждается каждый языковед любого профиля. Читатель с благодарностью вспомнит как об авторах соответствующих статей, чей труд вряд ли можно переоценить, так и о редакционной коллегии, которая, включая эти статьи в словарный словарь, заботилась о полноте предлагаемой информации.

Лаконизм изложения. Образцами в этом отношении можно считать статьи «Фонология» (В. А. Виноградов) и «Детская речь» (А. И. Шахнарович), из которых читатель получит исчерпывающую информацию по теме и в которых нет ничего лишнего, второстепенного. Умение среди многого увидеть основное — это качество отличает профессионалов высокого уровня. В этой же связи следует остановиться на статье «Афразийские языки» (В. Я. Пархомовский). Известно, что материалы этих языков, достаточно хорошо изученные в последнее время, прямо подводят к выводу в ностратуку. Однако автор, помня о принципах лаконичности энциклопедического словаря, посчитал преждевременными подобные заключения или даже предположения на эту тему, требующие отдельного, тщательного исследования. Научный такт автора трудно не заметить.

В качестве противоположного примера можно отметить статью «Детерминатив» (М. С. Полинская), где лаконизм изложения материала о столь полифункциональном термине приводит к прямой дезинформации читателя. Особенно это касается крайне неудовлетворительной библиографии, где отсутствует одна из важнейших работ по детерминативам [15].

Одной из структурных особенностей энциклопедического словаря с точки зрения лаконичности является соизмеримость значимости темы с размерами представляющей ее статьи. Это «равновесие между планом содержания и планом выражения», — говоря языком Л. Е. Ельслова, — не всегда выдерживается: ср. малую информативность статей «Семасология», «Младограмматизм», «Готский язык», «Латышский язык» и ненужную в энциклопедических словарях фактологическую перегруженность статей «Национальный язык» или «Палеонтология лингвистическая». Это же касается и отдельных статей, посвященных языкам мира.

Сделаю несколько замечаний по поводу характеристики языков мира. Нельзя объять необъятное, и авторы, как мне представляется, пошли по правильному пути, делая основной упор на характеристику типологических особенностей того или иного языка. Это позволило сосредоточить внимание на профилирующих характеристиках и способствовало глобальной обзорности лингвистической карты мира. Даже неспециалист может заметить значительный прогресс отечественной африканистики, сравнив статьи ЛЭС с описанием тех же африканских языков в классическом труде [16].

Остается дискуссионным вопрос о том, в какой мере вообще правомерно в рамках одного лингвистического словаря сочетание характеристики языков мира и структуры всего корпуса общего теоретического языкознания. Опыта подобного сочетания в мировой лексикографии нет, и давать оценку подобного опыта считаю пока преждевременным. Подчеркну, однако, еще раз, что одно преимущество бесспорно: читатель может верифицировать общетеоретические положения на материале конкретных языков в пределах одной книги. Это удобно также для перекрестных ссылок при типологических исследованиях.

От внимательного читателя не ускользнет еще одно обстоятельство: более выигрышно выглядят статьи тех авторов, которые профессионально владеют европейскими языками и используют не только переводные, но и оригинальные источники. Особенно это чувствуется в библиографическом аппарате статей.

В словаре отмечается некоторая «неэкономность» при классификации языков: к примеру, в статьях «Германские языки», «Индоевропейские языки» и «Языки мира» дается перечень германских языков. Однако в упомянутых статьях отдельные германские языки, как фарерский, люксембургский, фламандский, то упоминаются, то опускаются. Аналогичная ситуация повторяется с романскими языками в статьях «Романские языки» и «Индоевропейские языки», где перечислены соответственно 12 и 15 языков. Понятны трудности авторов при разграничении языков и диалектов, но это обстоятельство необходимо было оговорить или согласовать.

Наконец, замеченные мною некоторые неточности или явные упущения:

- с. 5 — «словарь ставит своей целью...» — стиль.
- с. 183 — «закон Грассмана, объясняющий аномалию в соотношении губных согласных...» — закон Грассмана охватывает все три ряда: дентальные, лабиальные и гуттуральные согласные.
- с. 183 — при перечислении законов забыт закон Хирта.
- с. 182 — «Ф. Бош (1833 — 52)» —

- ср. с. 487 «Ф. Бош (1833 — 49)», у того же автора.
- с. 489 — «под влиянием успехов ср.-н. я. оформляется ... сравнительное право...» — это неверно, ибо принципы сравнительного изучения права были разработаны до появления сравнительного языкознания, свидетельством чему является посвящение I тома «Немецкой грамматики» Я. Гримма основателю сравнительного права А. Савиньи.
- с. 490 — библиография дублирует с. 186.
- с. 330 — в библиографии недопустимо отсутствие работ Л. Вайсгербера.
- с. 521 — цитата из А. Белого без выходящих данных, у А. Белого 41 книга; здесь: «Символизм. Магия слов» (М., 1911, с. 446).
- с. 152 — «Балли разрабатывал функциональный подход к языку, т. е. обратился к проблемам лингвистики речи» — почему «т. е.»?
- с. 632 — добавить в указателе к лемме «Изоморфизм», с. 441, где дана дефиниция этого термина, чего нет на указанных с. 130, 347.
- с. 619 — «морфология не исследует означаемой стороны знаков» — это положение автора неверно [17].
- с. 158 — статья «Займствование» слаба, библиография беспомощна. Нет ссылок на работы П. Кречмера, В. Бетца, Л. Деруа.
- с. 318 — в Словаре ошибочно дается сокращение: вместо *лит.* (литературное) указывается *литов.* (литовское).
- с. 238 — «Контекст — фрагмент текста, включающий избранную для анализа единицу» и далее: «Контекст есть фрагмент текста минус определяемая единица». Здесь же «В стихотворении Пушкина „Я помню чудное мгновенье...“ слово „гений“ реализует два значения». Думаю, что не два, а три — переключка с В. А. Жуковским (ср. его «Элегия»), ср. другой пример: «Осел был самых честных правил» (басня «Осел и мужик») у И. А. Крылова и «Мой дядя самых честных правил» у А. С. Пушкина.
- с. 588 — «В. П. Мурот» — «В. П. Мурат».
- с. 452 — «давление системы» упоминается только в связи с аналогией, почему?
- с. 27 — статья «Аллитерация» (без автора?) без библиографии, существует огромная литература на немецком и английском языках.
- с. 639 — «Охват»: дана ссылка на с. 175 — охват в риторике, но существует термин «охват» в логике, см. с. 542 — ссылки нет.
- с. 258 — есть «лексикализация», почему нет «грамматикализации»?
- с. 448 — добавить в библиографию: *Delbrück B. Synkretismus. Ein Beitrag zur germanischen Kasuslehre. Strassburg, 1907.*
- с. 501 — статья «Табу» слаба, обязательно добавить: *Havers W. Neuere Literatur zum Sprachtabu. Wien, 1947.*
- с. 253 — плохая библиография, нет работ Ф. Зоммера, Дж. Девото, Л. Пальмера.
- с. 593 — статья «Эпентеза» однобока, нет индоевропейского, иранского материала.
- с. 469 — статья «Словосложение», нет фундаментальных работ Г. Хирта, Я. Ваккернагеля.
- с. 580 — греч. *hepar/hepatos* — это не переразложение, а гетероклитическое склонение.
- с. 514 — статья «Типология»: добавить работу: *Lewy E. Der Bau der europäischen Sprachen. Tübingen, 1964.*
- с. 410. — статья «Реконструкция»: обязательно добавить: *Martinet A. Evolution des langues et reconstruction. Vendôme, 1975.*
- с. 177 — Панини (5 в.) — ср. с. 190 (5—4 в.)
- с. 190 — «капитальная грамматика Я. Ваккернагеля, первый том которой вышел в 1896 г. (завершена А. Дебруннером и Л. Рену в 1957 г.)» — эта работа не завершена, последние два тома о глаголе и наречии не вышли до сих пор.
- с. 623 — нет указания на правило Крушевского — Куриловича.
- с. 609 — «др.-персидский, известный по небольшому числу слов» — неверно: ср. обширные тексты: *Kent R. Old Persian. Grammar, texts, lexicon. New Haven, 1953.*
- с. 102 — «старшие руны 8—9 вв.» — неверно: 2—9 вв.
- с. 188 — «рунические надписи с 3 в.» надо: со 2 в.
- с. 185 — «Ведущие фигуры этого периода...» — добавить А. Дебруннера.
- с. 413 — «Речевой этикет» — в библиографию добавить *Svennung J. Anredeformen. Vergleichende Forschungen. Uppsala, 1958.*
- с. 59 — неправильный перевод *kalla-d-ur* «зовущий» — правильно: «называемый, называемый, зовущийся».
- с. 60 — *et hus*, надо: *ett hus*.
- с. 402 — неправильная этимология: в слове *Istanbul* нет протезы, это греческое *ἑὶς τὴν πόλιν*.
- с. 416 — неправильное название работы Квинтилиана, должно быть: «*Institutiones oratoriae*».
- с. 489 — «Волновая теория И. Шмидта (1871)» — надо: 1872.
- с. 184 — «для др.-индоевропейского — Я. Ваккернагель» — надо: для др.-индийского.
- с. 508 — *bharami*, надо: *bharāmi*.
- с. 416 — греч. *rhētorikē*, надо *téchne rhētorikē*.
- с. 102 — «индические значения в германских языках выражаются оппозицией временных форм претерит /

перфект» — неверное положение. с. 643 — лемма «Синкопа» — добавить с. 127.

Я надеюсь, что на такое неординарное в истории лингвистики событие, как появление ЛЭС, откликнутся многие как отечественные, так и зарубежные коллеги. Будут, разумеется, замечания и у тюркологов и у африканистов, и у иных специалистов. Что же касается наших замечаний, то они не носят принципиального характера и не влияют на общую положительную оценку словаря. Бесспорным остается то, что выход в свет ЛЭС — это крупное событие в отечественном и мировом языкознании. Его достоинства очевидны: богатство информации, широкий охват всех сторон языка, исчерпывающие сведения по истории языкознания, достаточная и разнообразная библиография, ясность и доступность изложения. Я прочел около 60% словаря и, закрыв последнюю страницу, я не без гордости и радости [подумал о зрелости отечественной лингвистической мысли.

ЛЭС не должен стать библиографической редкостью: он должен стать настольной книгой любого филолога — от студента до академика. Надеюсь, что уже в недалеком будущем он будет переиздан в уточненном, переработанном варианте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дурново Н. Н. Грамматический словарь. М., 1924.

2. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М., 1960.
3. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
4. Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964.
5. Квятковский А. П. Словарь поэтических терминов. М., 1940.
6. Reuchlin J. Grammatica hebraica. Strassburg, 1506.
7. Jespersen O. Progress in language. L., 1881.
8. Wundt W. Die Sprache. Leipzig, 1900.
9. Allen W. S. Sandhi. The Hague, 1962.
10. Шнем Г. Проблемы внутренней формы слова. М., 1926.
11. Варина В. Г. Внутренняя форма как компонент содержательной структуры языковых единиц // Вопросы грамматического строя. Вып. 81. М., 1974.
12. Norden E. Die antike Kunstsprache. 1—2. Darmstadt, 1958.
13. Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhetorik. I—II. München, 1960.
14. Wildgen W. Catastrophe theoretic semantics. An elaboration of René Thom's theory. Amsterdam; Philadelphia, 1982.
15. Persson P. Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. I—II. Uppsala, 1912.
16. Meillet A., Cohen M. Les langues du monde. P., 1952.
17. Мугачев В. А. Реконструкция морфологических процессов // ВЯ. 1991. № 5.

Макаев Э. А.

Steinitz W. Ostjakologische Arbeiten. Bd I: Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. Texte / Für die Neuherausgabe wissenschaftlich bearb. von Sauer G. Bd II: Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. Kommentare / Für die Herausgabe wissenschaftlich bearb. von Sauer G. u. Schulze B. Bd III: Texte aus dem Nachlass / Für die Herausgabe wissenschaftlich bearb. von einem Autorenkoll. unter der Leitung von Sauer G. Bd IV: Beiträge zur Sprachwissenschaft und Ethnographie / Für die Herausgabe wissenschaftlich bearb. von Lang E., Sauer G. u. Steinitz R. Вр.: Akadémiai Kiadó, 1975 (Bd I, XXVI + 468 S.); 1976 (Bd II, IX + 320 S.); 1980 (Bd IV, XVI + 498 S.); 1989 (Bd III, XIV + 641 S.).

Томом третьим — не только наиболее объемистым, но и по содержанию своему требовавшим наибольших усилий при подготовке, — завершено четырехтомное издание «Ханговедческих трудов» Вольфганга Штейница (1905—1967), лингвиста и этнолога, крупнейшего немецкого финно-угроведа, действительного члена и вице-президента (1954—1963) Германской Академии наук в Берлине. Переиздана или опубликована впервые исключительно ценная часть его научного наследия, что является большой заслугой редакторского коллектива, состоявшего главным образом из учеников В. Штейница (в обеих Германиях недавнего прошлого) и возглавлявшегося Г. Зауэ-

ром¹. Нельзя не отметить и редкое ныне качество полиграфического исполнения в этом совместном издании будапештского Akadémiai Kiadó, берлинского Akademie-Verlag и Mouton de Gruyter.

В своей биографии В. Штейниц словно повторил путь Одиссея между Сциллой и Харибдой: в 1928—1933 гг. он ассистент Венгерского института при Берлинском университете, далее политэмиграция в СССР и работа в 1934—1937 гг. в Ин-

¹ Он же провел основную работу по изданию «Диалектологического и этимологического словаря хантыйского языка» [1], начатого В. Штейницем.

ституте народов Севера (Ленинград), затем кратковременное пребывание в Эстонии и в 1938—1945 гг. доцентура в Стокгольмском университете. Но, как бы то ни было, именно ленинградский отрезок этого пути на много лет связал В. Штейница с хантоведческой проблематикой, изучение которой началось работой со студентами-хантами и было продолжено многочисленными трудами по описательной и исторической фонетике, грамматике, этимологии, диалектологии, поэтике.

Хотя основным предметом данной рецензии является изданный последним том, будет, вероятно, целесообразно с меньшей или большей подробностью охарактеризовать и три других тома, тем более что они в свое время не рецензировались «Вопросами языкознания».

1. Первый том (1975) в основной своей части фотомеханически воспроизводит монографию «Хантыйский фольклор и рассказы на двух диалектах. Тексты» [2], изданную в Тарту накануне советской оккупации Эстонии и изначально ставшую библиографической редкостью. Здесь помещены фонетико-морфологические очерки севернохантыйских диалектов р. Сыня (с. 3—50) и дер. Шеркалы (с. 171—230) и коллекция текстов — рассказов, сказок и песен, записанных В. Штейницем от студентов П. Е. Пырышева, Г. С. Артанзеева, К. И. Маремьянина и Д. П. Тебитева². Особенно богато и представительно собрание шеркальских песен (26 преимущественно крупных произведений общим объемом свыше 3 тыс. стихотворных строк), открывающееся двумя песнями медвежьего праздника.

Как и в третьем томе, здесь использован исключительно удобный для читателя способ публикации с размещением оригинального хантыйского текста в верхней половине каждой страницы и немецкого перевода в нижней половине; в постраничных сносках указываются варианты хантыйского текста и, при необходимости, буквалыные переводы. Добавленные по смыслу в перевод слова заключаются в квадратные скобки.

II. Второй том (1976) составляют комментарии к текстам первого тома. Собственно говоря, он состоит из двух частей, первая из которых (общие вопросы метрики, поэтики и языка хантыйского фольклора, транскрипционные пояснения, комментарии к текстам с Сыня) — перепечатка стокгольмского издания 1941 г. [4], а вторая (комментарии к шеркальским текстам, нотировки мелодий, данные об информантах, иллюстрации) оублюкована впервые, хотя была подготовлена В. Штейницем еще в том же 1941 г.

Вступительные главы существенно пре-

восходят значение собственно комментария. В разделе «Строение стиха» (с. 1—29) В. Штейниц впервые определял базисную метрическую схему традиционной хантыйской поэзии — четырехстопный трохейский (изредка, особенно в глагольных стопах, дактилосский) стих; его результаты были впоследствии развиты Р. Аустерлицем [5] и Е. Шмидт [6]. Принципиальное тождество обско-угорской метрической схемы $2 + 2 + 2 + 2$ и классической прибалтийско-финской метрики, хорошо известной по «Калевале» (при наличии, однако, заметных расхождений в правилах построения стопы), может служить основанием для постулирования прафинно-угорской древности четырехстопного трохея. Примечательно, что он прекрасно известен и (генетически родственному?) северносамодийскому стихосложению, но здесь строго закреплён за сакральным жанром — заклинаниями шамана и пением явившихся по его вызову духов, тогда как в жанрах профанических, от поэтического зноса до любовной лирики, пьяной песни и эпиграммы, доминирует шестисложный стих из трех трохейских или двух дактилических стоп [7].

Еще два раздела посвящены характернейшим именно для обско-угорской поэзии (хотя известным, разумеется, не только ей) приемам — параллелизму (*tántəŋ äsə mat jüremna, χutəŋ äsə mat jüremna* «в глубоком русле богатой пищи Оби, в глубоком русле богатой рыбой Оби») и этимологической фигуре (как правило, с очевидной семантической избыточностью: *šwəŋ joχəŋ šw* «устье имеющей устье реки», *il oləm kəm χüjəm il oləm* «легший спать мужчина лег спать»). Эти разделы создают своеобразный мостик между хантыйской проблематикой и параллелизмом в финско-карельских рунах, которому была посвящена диссертация В. Штейница [8]; нельзя не упомянуть и об активной дальнейшей разработке соответствующих вопросов его учениками и продолжателями (см. [9] с большими статьями Э. Ланга, Л. Хартунг, Б. Шульце, Х. Метсланг и уникальной библиографией по параллелизму, а также монографию [10]).

Предмет особого раздела — суффиксальный элемент $-(e)n$, характерный исключительно для поэтической речи и фактически выступающий в роли дополнительного слога, ср. *ñäŋət wšjeŋ χorŋə χšl* «повелитель в образе болотного звера» при обычном *ñäŋət wšj χorŋə χšl*. Представляется далеко не бесспорной предлагаемая В. Штейницем трактовка этого элемента как посессивного суффикса 2 л. ед. ч., которому он материально тождествен: при этом автору пришлось считать многочисленные формы с $-ən$ в хантыйских текстах И. Папая ошибками записи, а формально и функционально идентичный элемент $-(e)n$ в мансийском фольклоре рассматривать как посессив-

² Четыре сказки включены (только в русском переводе) в недавно вышедший сборник обско-угорского фольклора [3, №№ 27, 28, 31, 35].

ный суффикс 2 л. дв./мн. ч. (с. 50—57). Если учесть, что данный элемент используется, согласно В. Штейницу, исключительно для оформления первого компонента атрибутивных конструкций с существительным, реже прилагательным, числительным или местоимением в роли атрибута (но никогда, например, не оформляет субъект, что было бы более чем естественно для посессивного суффикса), то напрашивается сравнение его с общеуральским показателем генитива (и инструменталса [11], а также относительно-притяжательного прилагательного, ср. марийск. *Г пун «деревянный»* [12, с. 229]) *-н, который, как принято считать, в угорских языках вообще не сохранился. Гласный *e* в составе рассматриваемого элемента (вместо ожидаемого и реально представленного у Й. Папаи *э*) можно связать с общей тенденцией к уплотнению (или сохранению?) гласных полного образования в поэтическом языке в противопоставление редуцированным гласным в обыденной речи. Эту тенденцию отмечает В. Штейниц в первом томе (с. 228—230), ср. *-аэ* вм. *-ээ*, *-ар/-ер* вм. *-эр* и *-ре* вм. *-рэ* в суффиксах отменных прилагательных обладания. Если наше предположение о сохранении древнего генитива в хантыйской (и мансийской) поэтической речи справедливо, то оно служит лишь очередной демонстрацией чрезвычайной архаичности именно данной речевой формы (ср. [7]).

Развернутые комментарии к текстам содержат, наряду с лингвистической, много фольклористической и этнологической информации, опирающейся как на пояснения информантов, так и на собственный полевой опыт В. Штейница. При обращении к лексическим пояснениям, а равно и непосредственно к переводам в первом томе, следует иметь в виду, что при обработке своих записей автор еще не мог воспользоваться всем тем корпусом лексикографических и прочих хантыйских источников, который впоследствии вошел в DEWOS [1], и в случаях возможных расхождений данным последнего принадлежит, вероятно, решающее слово.

III. Третий том (1989) составили «Тексты из наследия», записанные В. Штейницем от своих ленинградских информантов (или ими самими и переданные ему), а также во время экспедиции к хантам в 1935 г. Поскольку он никогда более не возвращался к большинству из этих текстов, не обработал их, а в ряде случаев даже не снабдил переводом, издателям тома пришлось выполнить огромную исследовательскую и собственно авторскую работу. Перед ними стояла задача: подвести или, во всяком случае, максимально приблизить черновые записи (с неунифицированной транскрипцией, часто белгие, с недописанными словами и т. д. и т. п.) к тому уровню публикации и комментирования, который был

задан первыми двумя томами. Диалектная пестрота и весьма ограниченные возможности консультаций с информантами-хантами (для которых к тому же большая часть фольклорного материала полвека спустя была незнакомой и нередко недостаточно понятной) усугубляли эти трудности. И тем не менее, не рискуя ошибиться, можно поздравить авторско-издательский коллектив тома с близким к образцовому выполнением этой задачи, воспринимавшейся как долг перед памятью покойного коллеги и учителя.

Э. Вертеп, И. Гуя, Г. Зауэр, Х. Катц, Р. Радомски, Л. Харгунг, Л. Хонти и Б. Шульце распределили между собой в разных пропорциях материал из девяти хантыйских диалектов (Шеркалы, Шурьшкары, Кеуши, Атлым, Низям, Казым, Сыня, Обдорск, Васюган), в общей сложности включающий 35 текстов (в том числе одно большое повествование из 18 относительно независимых фрагментов) и 516 загадок (одна из самых крупных флино-угорских коллекций паремий, целиком подготовленная к печати Л. Хонти). Естественно, что принципы подачи текстов остались те же, что у самого В. Штейница (окончательную унификацию обеспечил редактор тома Г. Зауэр), но комментарии даются отдельно после каждого текста, будучи обычно соизмеримы с ним или даже превосходя его по объему.

Не было сочтено возможным предпосылать каждой группе текстов описание соответствующего диалекта, как это было сделано В. Штейницем для диалектов Сыня и Шеркалов. Тем не менее в нескольких случаях авторы-издатели отчасти восполняют эти пробелы: Э. Вертеп достаточно подробно характеризует диалектологически релевантные особенности фонетики, особенно вокализма, и морфологии кеушского (с. 250—270) и низямского (с. 317—343) диалектов, одновременно оговаривая свои расхождения с остальными членами авторского коллектива в отношении возможностей и норм фонологизации фонетических записей (эти расхождения фиксируются и в предисловии к тому; см. также ниже). Х. Катц дает короткую и содержательную характеристику говора дер. Соуслан, интересного своим переходным положением в пределах хантыйского диалектного континуума (с. 468—470), а Р. Радомски рассматривает один из вариантов обдорского диалекта (с. 541—545). Кроме того, в большинстве комментариев по возможности подробно освещаются обстоятельства фиксации текста и его соотношение с другими произведениями хантыйского фольклора, а если речь идет о заимствованном сюжете — то и русского фольклора.

Уже отмечавшиеся сложности в обработке исходного материала побуждают комментаторов к осторожности, к использованию условных переводов и ни-

терпретаций темных мест. Действительно, далеко не все проделанное в этом направлении бесспорно; укажу на некоторые очевидные или вероятные неточности:

ТК 3.6 (= текст 3 абзац 6 и комментарий к соответствующему месту; далее обозначения аналогичны): *šara-ptica* в этом тексте русского происхождения — «жар-птица», а не «чары-птица» («Greifen-Vogel»).

К 1.6: элемент *-na* в *potpul'na* «подпол» не нуждается в объяснении на хантыйской почве, так как источником заимствования служит диал. *подполья*.

К 1.41: в предложении с буквальным значением «четыре руки, четыре ноги разбойника были разорваны в четыре стороны» противоположенное количество конечностей объясняется, видимо, не участием в экзекуции четырех персонажей, а особенностями семантики собирательных конструкций: ср. манс. *law mis'iy luvu' d'bi* «У него есть корова и лошадь», букв. «У него две коровы, две лошади есть» [13].

ТК 10.25: сомнения по поводу формы *mosta* «мост» излишни; это действительно номинатив, а не латив, а добавление *-a* нормально при заимствовании русских слов с негипонимными для хантыйского языка ауслалутными кластерами, ср. *gostorga* «госторг» (с. 150), *kist'a* «кисть» [1, Lfg. 6, 695].

ТК 12.1.1: по поводу *antəŋ* в *šeyk antəŋ* «sehr böse» отмечается: «sonst ist dieses Wort nicht belegt». Должно быть, разумеется, *šeyk kantəŋ* (с естественной ослышкой или опиской), где второе слово соответствует Irt. *kantəŋ*, Ni. S *kāntəŋ* «сердитый» [1, Lfg. 6, 649].

ТК 14.15: вместо *šopij* «действительно» («sonst nicht belegt») должно стоять *šopij*, как в относящемся к тому же диалекту Т 15.3.

ТК 15.6: вопреки мнению комментатора, *raskol'ko* (из русск. *поскольку*) прекрасно укладывается в контекст; соответствующий фрагмент переводится так: «... Появились сто плотников и сказали: „Кому эта лампа принадлежит, тот наш вождь-хозяин, наш герой-хозяин“. Тогда Ваня сказал [повернувшись] к лампе: „Ну, поскольку лампа моя, то отнесите меня обратно домой!“».

ТК 17.4: вероятно, непонятное *kawpūt' / kawpūt'* — из русск. *как быть* (в значении вводного слова). Также в роли вводного слова выступает в данном тексте *no latno* (русск. *ну ладно*), ср. ТК 17.3.

ТК 26а: оставленное неясным слово *keap*, многократно повторенное в тексте, скорее всего представляет собой нормальную для казымского диалекта локативную форму к *kea* «слово, язык». Конструкция *ī (kāt, xraet и т. д.) iļšš keap mīj?* буквально переводится: «Один (два, три и т. д.) месяц что словом / на языке?, т. е. «Что означает?». Дальнейшей рифмованной деформацией *keap* в этой несколько экзотической (сообразно

содержанию текста) конструкции является *keleš* в ТК 26.

Довольно странное впечатление производит облик русских заимствований *wilka* «вылка» (ТК 1.13), *wina* «вино» (ТК 1.6) в шеркальском диалекте. Судя по всему, за такой записью должно стоять реальное произношение типа *wilka*, *wina* или, может быть, *wilka*, *wūna* (ср. для второго из этих слов Kaz. *uñna* в записи К. Ф. Карьялайнена [14]), подвергнутое фонологизации в соответствии с утверждением В. Штейница о том, что в казымском (и близком ему шеркальском) диалекте в положении после *w* гласные *й* и *!* нейтрализованы в одной архифоне, которую он по непонятной для меня причине отождествляет только с */ū/* [15, с. 17—18]. Вне зависимости от справедливости этого утверждения практическая реализация такого подхода к фонологизации вызывает сомнения; в применении к русскому языку он мог бы породить фонологические транскрипции типа *кр'ычм*, *ы'д'ы* для *кричит*, *иди* (с учетом отсутствия контраста *ы: и* после мягких согласных и в начале слова). Здесь налицо «фонологический экстремизм» 30—40-х годов, изжитый в современной лингвистике, но законсервировавшийся в школе В. Штейница, и позицию Э. Вертеп — противника жестких схем фонологизации и унификации — можно во многом понять³.

Сказанное выше в основном относится к комментариям; но, конечно же, внимания и исследователей хантыйского языка, и фольклористов заслуживают в первую очередь сами опубликованные в третьем томе тексты. В них можно найти много свидетельств того, насколько живой и продуктивной была еще полвека назад хантыйская фольклорная традиция, сейчас уже почти полностью заглохшая. Очень выразительны приемы стилистической адаптации заимствованных сюжетов: русская сказочная формула *Долго ли, коротко ли жили* превращается в чисто хантыйскую *χūwəŋ turmət χūwa uttət, wanəŋ turmət wana uttət* «Долгую вогуду долго жили, короткую вогуду коротко жили»⁴; убитого быка хоронят *juχ saja pit saja* «в сень дерева, в сень травы»; явление разбойника сопровождается описанием: *lentəŋ mīŋ χūwəŋ't'ətə, χūwəŋ mīŋ χūwəŋ't'ətə* «Зыбкая земля шатается, шаткая земля шатается». Любопытен и импровизированный текст № 8, где в ска-

³ Так, в частности, Э. Вертеп не принимает фонологического решения В. Штейница, в соответствии с которым южнохантыйские диалекты оказываются, вопреки очевидности, лишены гармонии гласных.

⁴ Перевод *turəŋ* «Бог, небо, погода» как «время», извлеченный из этого и подобных ему контекстов (ТК 1.1, а также [1, Lfg. 12, 1472]) не представляется оправданным.

зочной форме описывается приезд в экспедицию В. Штейница и его спутника Н. П. Никольского, а сам ученый обретает имя, приличествующее, согласно традиции, фольклорному персонажу: *ib̄xt̄ap-tuŋx-ǰ̄w̄ettaj̄en-paj̄ten-ǰ̄s̄-ǰ̄tat-urt̄nem̄et̄s* «крылатый дух, стреляющий гладким суставом руки (?) герой-немец»; как замечает Л. Хартунг, в этой импровизации представлено «удачное смешение мифологических представлений и современных явлений» (с. 205).

В коллекции загадок, в целом довольно стереотипных и не имеющих — по крайней мере, на общесибирском фоне — сколь-нибудь яркой этнической специфики, обращают на себя внимание мини-загадки — лаконичные! аллегории типа *k̄ōri p̄ōk̄* «Нос стерляди» (= узкий маленький челнок), *s̄āp̄r̄k̄! w̄oŋw̄ē!* «Лягушка квакает» (= собака лает) или даже *ptu!* «Тьфу!» (= оселок). Обнаруживается неожиданный стык, на котором сходится загадка и прозвище. Думается, что не совсем удачным оказался принцип организации корпуса загадок (по собирателям, передавшим свои записи В. Штейницу), вследствие чего повторяющиеся загадки разбросаны по самым разным участкам корпуса. Например, И. П. Немцов, информант Н. Ф. Прытковой, явно идентичен Ване Немцову, информанту В. Зальцберг, чем обусловлено полное попарное совпадение №№ 167 и 327, 205 и 358, 243 и 385, 251 и 393 — 394, 304 и 426.

Впрочем, этот нарочитый (по всей видимости) отказ от структурно-тематической организации лишь подчеркивает, что рецензируемое издание преследует в первую очередь цель лингвистически верифицированной публикации. Эта цель достигнута, и с большим успехом; тем самым открыто обширное поле для дальнейшего исследования ценного материала.

IV. Четвертый том (1980) включил в себя фотомеханические перепечатки 32 работ В. Штейница, появившихся в разные годы на страницах журналов и сборников. Их объединение в одном томе служит важным дополнением к монографическому наследию ученого [1, 2, 4, 8, 15—18]. Сборник содержит почти все статьи В. Штейница как по хантыйскому языку, так и по другим финно-угорским языкам и общему финно-угроведению (а также по фольклору и этнографии финно-угров); исключения составляют некоторые сокращенные варианты и те статьи, которые, впоследствии целиком вошли в состав монографий. Следует, конечно, учесть, что сборник (как и рецензируемое издание в целом) отражает только одну из сторон научной деятельности В. Штейница, известного также работами по германистике (современный немецкий язык, лексикография, песенный фольклор) и русистике (исследования и учебные пособия по современному русскому

языку, славяно-германские культурные связи и др.).

С периодом, когда В. Штейниц, работая в Ленинграде, возглавлял деятельность по созданию алфавита и письменности на хантыйском языке, связаны грамматический очерк «Хантыйский (остяцкий) язык», где описание ориентировано на казымский диалект, избранный опорным для нового литературного языка; «Справочник по орфографии хантыского языка», подготовленный в 1937 г. в связи с декретированным переходом от латиницы к графике на основе русского алфавита; небольшая заметка о гармонии гласных в восточнохантыйских диалектах. В статье «Объектное спряжение в хантыйском языке» (1938) продемонстрировано совпадение окончаний объектного спряжения у переходных глаголов и possessивных окончаний имени (исключение составляет только 3 л. ед. ч.); за значительным диалектным разнообразием фонетического облика, отчасти и морфологической структуры объектных окончаний автор выявляет единство их внутренней формы, ориентированной на трактовку субъекта как «обладателя» осуществляемого им действия. Идеи, лежащие в основе этой статьи, объединяли В. Штейница с рядом его коллег по Институту народов Севера и в дальнейшем нашли отражение в работах И. И. Мещанинова.

В исследовании «Система финно-угорских терминов родства» хантыйские языковые данные служат основой для выделения основных этнографических особенностей счета родства у финно-угров: возрастная классификация («старший брат» ≠ «младший брат» и т. д.), использование одних и тех же терминов применительно к совершенно различным («индоевропейской» точки зрения) категориям родственников («старшая сестра отца или матери» = «бабушка» и т. д.). В. Штейниц считает, что в основе этого лежит использование более абстрактных, нежели в индоевропейской терминологии родства, классификационных признаков: так, хант. *ōri*, переводимое как «старшая сестра», «тетка — младшая сестра отца», «двоюродная сестра — дочь старшего брата отца» и т. д., означает, собственно говоря, «женщина рода отца, старшая на одну единицу счета поколений, чем его».

В плане общей лексикологии интересны две небольшие работы 60-х годов, также основанные на хантыйском материале и посвященные явлению «омонимобии» (перспектива совпадения звукового облика слов в результате регулярных фонетических изменений как стимул к спорадическим, нерегулярным фонетическим изменениям) и средствам формирования лексики в «медвежьем» языке охотников (табузируемые элементы общезыковой лексики заменяются метафорами, производными прилагательными и словосочетаниями описательного характера, фоне

гически деформированными словами, заимствованиями).

Заметное место в томе заняли статьи и заметки по хантыйской этимологии, отражающие подготовку к изданию и начало работы над [1]; среди них особенно выделяются исследования по проблематике внешних связей и анализу заимствований (ненецких, селькупских, коми-зырянских, татарских). В статье «Хантыйские заимствования в русском языке» (1960) приведены хантыйские этимологии 68 русских слов (многие были установлены впервые). Большинство этих заимствований ограничено в своем распространении русскими диалектами Приобья и Прииртышья, но некоторые известны и гораздо шире как обозначения определенных культурных реалий, названия пород рыб и т. п. (мюк «покрышка чума», юкола «вяленая рыба», гусь «верхняя меховая одежда», муксун, пыжъян, сырбк, шбкур — виды сиговых рыб). Перечень хантыйских заимствований дополняется в статье «Финно-угорско-тюркско-русские этимологии».

В сравнительном финно-угроведении В. Штейниц широко известен как создатель реконструкции финно-угорского вокализма, предполагающей праязыковое противопоставление полных и редуцированных гласных и наличие многообразных фонетически обусловленных чередований⁵. Эта концепция придает ключевое значение вокализму восточнохантыйского ваховско-васюганского диалекта, фактически процедируя, с минимальными изменениями, присущую этому диалекту систему гласных и их чередований вначале на прахантыйский [15], а затем на обско-угорский, угорский и финно-угорский уровень [18]. В вошедшем в сборник докладе на Международном конгрессе финно-угроведов (Будапешт, 1960) — «К истории финно-угорских гласных» — В. Штейниц пытался защитить свою реконструкцию от критики со стороны Э. Итконена и других специалистов, постулирующих первичность системы вокализма и вокалических огласовок прибалтийско-финского типа. Как хорошо известно, попытки эти не имели успеха. В отличие от восточнохантыйского, финский язык в роли «ключевого» позволяет получить довольно удовлетворительную аппроксимацию праязыковой реальности, хотя и не решает всех реконструктивных проблем [19, 20], так что в современной уральстике продолжают использоваться традиционные реконструкции (которые В. Штейниц пытался «остякизировать»), а новейшие разработ-

ки по историческому вокализму [21] отталкиваются от концепции Э. Итконена

Злоключения концепции В. Штейница на этом не кончились. Его трактовка истории обско-угорского вокализма (отраженная в нескольких статьях рецензируемого тома: «К истории обско-угорских гласных» — о* o, «Главы из истории обско-угорского вокализма» — о *u, *i, *i, «К истории обско-угорского вокализма» — о *a, *ä) и отчасти истории мансийского вокализма [17] подверглась ревизии в монографии Л. Хонти [22]. Затем было показано, что и прахантыйское вокалическое состояние лучше всего отражает не ваховско-васюганский, а сургутский диалект [23; 24, с. 71—73], причем такая интерпретация превращает несколько хаотический у В. Штейница набор праязыковых чередований в строго упорядоченную систему замены гласных нижнего подъема на коррелятивные гласные верхнего подъема под умлаутным влиянием исходного вокализма второго слога [24, с. 65 (примеч. 4), 72].

Не нашли поддержки и подтверждения также перепечатанные в четвертом томе работы «История финно-угорского консонантизма» (1952) и «Консонатное количество в финно-угорском» (1968), где В. Штейниц выступил как оппонент прафинно-угорской (и прауральской) реконструкции, предполагающей оппозицию простых смычных *p, *t, *k и геминат *pp, *tt, *kk.

В исследовании «К периодизации древних балтийских заимствований в прибалтийско-финском» (1965) В. Штейниц предлагает подразделять их на более ранние (в которых балт. звонкие b, d, g и глухие p, t, k одинаково отражены в виде p, t, k, а балт. a дает o) и более поздние (где звонким соответствуют одиночные глухие, а глухим — геминаты pp, tt, kk; балт. a представлен в виде a). В докладе «Финно-угорско-индоевропейские контакты и их воздействие на фонологическую систему» (1967) данное хронологическое различие в способах рефлексации звонких и глухих смычных (находящее точную аналогию в материале русских заимствований хантыйского языка) связывается с этапами усвоения иноязычной фонетики в ходе контактов: на начальном этапе звуки чужого языка передаются наиболее близкими им звуками своего языка безотносительно к их фонологической роли в языке-источнике, на более позднем же этапе вырабатываются средства системной реинтерпретации фонологических оппозиций.

Завершает четвертый том и все издание «Хантоведческих трудов» библиографическая часть, подготовленная Э. Лангом, Г. Зауэром и Ренатой Штейниц. Здесь помещены экспедиционный дневник, фотографии и другие материалы, относящиеся к поездке В. Штейница к хантам в 1935 г. Затем следует полный библиографический список трудов уче-

⁵ Нет нужды доказывать, что гипотеза об исходности свободных, произвольных чередований (ср. аблаут в индоевропейстике) дает столь же универсальный, сколь и бессодержательный принцип объяснения любой реально засвидетельствованной формы.

ного (включая опубликованные посмертно, вплоть до 1980 г.) и рецензий на них, указатель рабочих материалов, картотек и рукописей в его наследия, список исследований, проведенных под научным руководством В. Штейница.

Фундаментальный четырехтомник стал не просто памятником учителю от благодарных учеников, а творческим продолжением и органической частью того дела, которому В. Штейниц посвятил значительную часть своей жизни. И, кажется, можно оценить точность выбора Р. Якобсона, который заключил свое вступление к первому тому «Хантоведческих трудов» пастернаковской строфой:

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Steinitz W.* Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Lfg. 1—14. B., 1966—1991.
2. *Steinitz W.* Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekte. 1. Tl: Grammatische Einleitung und Texte mit Übersetzungen. Tartu, 1939.
3. Мифы, предания, сказки хантов и манси / Сост., пред. и прим. Лукиной Н. В. М., 1990.
4. *Steinitz W.* Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen. 2. Tl. [1. Hälfte.] Stockholm, 1941.
5. *Austerlitz R.* Ob-Ugric metrics. Helsinki, 1958.
6. *Шмидт Е.* Соотношение музыки, стихосложения и стили в народной поэзии северных ханты // CIFU [= Congressus Internationalis Fenno — Ugristarum] 6. Studia Hungarica. Bp., 1985.
7. *Хелимский Е.* Глубинно-фонологический аносиллабизм ненецкого стиха // JSFOu. 1989. 82.
8. *Steinitz W.* Der Parallelismus in der finnisch-karelischen Volksdichtung, untersucht an den Liedern des karelischen Sängers Arhippa Perttunen. Helsinki, 1934.
9. Parallelismus und Etymologie: Stu-

dien zu Ehren Wolfgang Steinitz anlässlich seines 80. Geburtstag am 28. Februar 1985 / Hrsg. Lang E., Sauer G. Tl I, II. B., 1987 (Linguistische Studien. Reihe A. Arbeitsberichte; 161/I—II).

10. *Schulze B.* Der Wortparallelismus als ein Stilmittel der (nord-)ostjakischen Volksdichtung. Szeged, 1988.
11. *Jarhunen J.* On the structure of Proto-Uralic // FUF. 1982. Bd XLIV Hf. 1—3. S. 30.
12. *Хайды И.* Уральские языки и народы М., 1985.
13. *Ромбандеева Е. И.* Мансийский (вогульский) язык. М., 1973. С. 42.
14. *Karjalainen K. F.* Ostjakisches Wörterbuch. Bd I. Helsinki, 1948. S. 227a.
15. *Steinitz W.* Geschichte des ostjakischen Vokalismus. B., 1950.
16. *Steinitz W.* Ostjakische Grammatik und Chrestomathie mit Wörterverzeichnis. 2. Aufl. Lpz., 1950.
17. *Steinitz W.* Geschichte des wogulischen Vokalismus. B., 1955.
18. *Steinitz W.* Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm, 1944 (2. Aufl.: B., 1964).
19. *Helmski E.* Problems of phonological reconstruction in modern Uralic linguistics // Советское финно-угроведение. XX. 1984, № 4.
20. *Хелимский Е. А.* Проблемы фонологической реконструкции в современном уральском языкознании // Язык: история и реконструкция. М., 1985.
21. *Sammallahti P.* Historical phonology of the Uralic languages // The Uralic languages: Description, history and foreign influences / Ed. by Sinor D. Leiden e. a., 1988.
22. *Honti L.* Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe. Bp., 1982.
23. *Tólos E.* $\frac{\text{Vogul} + \text{osztjak}}{2}$ // Nyelvtudományi Közlemények. 1984. 86. köt.
24. *Helmski E.* // Советское финно-угроведение. XXI. Таллинн, 1985. № 1. Рец. на кн.: Honti L. Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe, Bp., 1982.

Хелимский Е. А.

Плотников Б. А. О форме и содержании в языке. Минск: Вышэйшая школа, 1989. 254 с.

Поскольку единицы всех уровней языка, включая — в соответствии с сегодняшними представлениями фоносемантики — и фонетический, обладают не только планом выражения, но и планом содержания, проблема соотношения формы и содержания в языке приобретает чрезвычайно широкий и многоаспектный ха-

рактер. Следует сразу же заметить, что автор рецензируемой книги не включил в нее исследование такой сложной и уже неоднократно обсуждавшейся проблемы, как соотношение языка и мышления, и сосредоточил свое внимание на трех основных комплексах вопросов, выделенных в заглавие соответствующих трех глав мо-

нографии: 1) «Основные виды формы в языке и связанное с ней содержание»; 2) «Форма и содержание языковых единиц»; 3) «Взаимосвязь формы и содержания в языке».

Давая свое толкование двум основным исходным понятиям — форме и содержанию, особый упор автор сделал на классификации видов формы в языке (с. 13—15). Различается прежде всего внешняя и внутренняя форма; первая подразделяется, в свою очередь, на звуковую и письменную, а вторая — на лексическую и грамматическую. Приводя известное высказывание К. Маркса о том, что название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой, Б. А. Плотников подчеркивает, что название не следует отождествлять с формой, поскольку оно «составляет лишь ее часть». Предмет же входит, как справедливо полагает автор, не целиком в содержание языковой единицы (с. 15). Из этого следует, что утверждение об отсутствии взаимосвязи между формой и содержанием языковой единицы неправомерно. К сожалению, интересная мысль автора о том, что нижний пласт формы сливается с верхним пластом содержания и через этот пласт форма доходит своей структурой до нижних слоев содержания (с. 16), не подкреплена ни данными экспериментов, ни какими-либо иными достаточно убедительными доказательствами.

В первой главе наряду с типологией форм предпринята попытка представить типологию языковых значений. В результате многоступенчатого дихотомического членения исходного понятия автор предлагает различать следующие типы значений: прямые, переносные (лексические); морфологические, синтаксические (грамматические); словарные, контекстуальные (ближайшие); терминологические, прагматические (дальнейшие). С одной стороны, в этой схеме нашли отражение известные положения о ближайшем и дальнейшем, потенциальном и актуальном значениях слова и т. п. С другой стороны, приведенный перечень свидетельствует о стремлении автора книги по-новому представить типологию языковых значений.¹

Раумеется, исследователь имеет право на свое видение предмета, но все же, как нам кажется, предложенная схема не бесспорна и нуждается в уточнении. В ней не только не «исчерпаны все части содержания», как признает сам автор (например, в схеме не учтены, с нашей точки зрения, различия между денотативным и сигнификативным значениями), но и не доведена до конца структурация некоторых выделенных сегментов. Так, лексические значения делятся на прямые и переносные, а членение грамматических значений заканчивается выделением морфологического и синтаксического. Между тем морфологические значения также могут быть прямыми и переносными (на-

стоящее время глагола в значении будущего или прошедшего).

Далее в первой главе рассматриваются типы связей между, с одной стороны, звуковой, письменной, грамматической формами языка и, с другой, — языковым содержанием. Значительное место отведено описанию соотношения формы письменного текста и его содержания, а также анализу пресуппозиций как «скрытому содержанию» языковой формы. При рассмотрении письменной формы следовало, как нам кажется, учесть интересные данные С. Эртеля [1] о символических свойствах начертаний некоторых букв.

Заключительный раздел первой главы содержит собранные и обобщенные автором сведения о количественных характеристиках языковой формы. Количественные аспекты формы и содержания постоянно занимают автора монографии. Так, во второй главе содержится обширный раздел, специально посвященный количественным параметрам формы и значения слова. В этой же главе затрагиваются важнейшие проблемы лексикологии, морфологии и синтаксиса, связанные с соотношением формы и содержания соответствующих единиц языка. Вслед за некоторыми лингвистами Б. А. Плотников выделяет семь таких единиц. Кроме традиционных (фонема, морфема, слово, предложение), в указанный инвентарь включены слог и дифференциальный признак фонемы. Правомерность выделения слога и дифференциального признака как единиц уровней языка требует, очевидно, специального обсуждения. Здесь же ограничимся лишь замечанием, что названный перечень единиц позволил автору книги включить в круг рассматриваемых вопросов такие, как строй предложения, сочетаемость единиц языка, семантическая связь слов в тексте, внутренняя форма слова, мотивированность, полисемия и омонимия, метафоричность, соотношение слога и морфемы, семантические дифференциальные признаки и т. п.

В третьей главе основное внимание уделяется семантической системе языка и эволюции формы содержания. Автор книги неоднократно подчеркивает, что «инициатором всех языковых изменений выступает языковое содержание» (с. 187). «Изменения языковой формы, — пишет Б. А. Плотников, — происходят под воздействием семантических преобразований, которые трансформируются при переходе к внешним языковым формам таким сложным образом, что создается устойчивое традиционное представление об изменениях внешних форм по своим собственным правилам и законам, не связанным с языковым содержанием (с. 190)». Думается, что для таких смелых и далеко идущих утверждений нет достаточных оснований. Во всяком случае автор книги не привел ни одного факта, под-

тверждающего изменение внешних языковых форм (напомним, что к таковым Б. А. Плотников относит звуковые и письменные) под влиянием семантических преобразований. В лингвистике известны немногочисленные примеры предположительного влияния содержания на нерегулярное изменение фонетической формы слова под воздействием звукового символизма (фонетическое развитие англ. *micel* > *michel* > *mich*, где символическое значение *i* («маленький») противоречит значению слова «много, большой»). Однако такого рода гипотезы, даже если они имеют под собой основание, не разрушают традиционных представлений о развитии фонетической стороны языка по своим собственным законам. Не подвергая также сомнению главенствующую роль содержания в изменении и эволюции языка, в частности, его лексического состава, хотелось бы все же предостеречь от излишне односторонних оценок роли формы в такого рода процессах. В лингвистике накоплено немало фактов, убедительно свидетельствующих об обратном воздействии формы на «перераспределение» семантических функций слов и связанное с этим их семантическое развитие (ср. например, так называемое «столкновение омонимов»).

Касааясь типологии соотношения формы

и содержания в лексике, автор рецензируемой книги иллюстрирует теоретические положения примерами из славянских языков. Собранный фактический материал представляет самостоятельный интерес и обогащает наши представления о взаимодействии формы и содержания. В заключительных разделах третьей главы рассматривается соотношение формы и содержания метаязыковых средств лингвистики и формы коммуникации.

Таким образом, Б. А. Плотникову удалось представить оригинальную и довольно целостную концепцию взаимодействия формы и содержания на всех уровнях языка. В книге собран большой теоретический и иллюстративный материал, высказано немало нетривиальных суждений по широкому кругу вопросов, представляющих интерес для лингвистов различных специальностей.

Разумеется, читатель найдет в книге и спорные положения, побуждающие к дискуссии и размышлениям. С тем большим интересом, думается, он прочтет эту книгу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Ertel S. Psychophonetik. Untersuchungen über Lautsymbolik und Motivation. Göttingen, 1969.

Левочкин В. В

МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

СПИСОК ПУБЛИКУЕТСЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ПОСТУПИВШИХ КНИГ
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ». ПРИСЛАННЫЕ КНИГИ НЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ. КНИГА ОСТАЕТСЯ У РЕЦЕНЗЕНТА.

Исторія українського мовознавства
Исторія вивчення української мови. Ки-
їв, 1991. 232 с.

Козинцева Н. А. Временная локализо-
ванность действия и ее связи с аспекту-
альными, модальными и таксисными зна-
чениями. Л., 1991. 143 с.

Логический анализ языка. Противоре-
чливость и аномальность текста / Отв. ред
Арутюнова Н. Д. М., 1990. 277 с.

Тождество и подобие. Сравнение и
идентификация. М., 1990. 226 с.

Чедиа В. В. Введение в славянскую фи-
лологию. Тбилиси, 1990. 604 с.

Ambrosiani P. On Church Slavonic ac-
centuation. The accentuation of a Russian
Church Slavonic gospel manuscript from
the fifteenth century. Stockholm, 1991
215 p.

Topics in colloquial Russian / Ed. by
Mills M. H. New York; San Francisco;
Bern; Frankfurt-am-Main; Paris; London.
1990. 201 p.

Verbal aspect in discourse. Contribu-
tions to the semantics of time and temporal
perspective in Slavic and non-Slavic lan-
guages / Ed. by Thelin N. B. Amsterdam.
Philadelphia. 1990. 461 p.

Технический редактор *Белыева Н. Н.*

Сдано в набор 27.12.91	Подписано к печати 03.03.92	Формат бумаги 70 × 100 ^{1/16}		
Офсетная печать	Усл. печ. л. 13,0	Усл. кр.-отт. 47,3 тыс.	Уч.-изд. л. 15,8	Бум. л. 56
	Тираж 3555 экз.	Заказ 2320	Цена 2 р. 30 к.	

Адрес редакции: 121059 Москва, Г-19, ул. Волховка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 203-00-78

И-я типографии издательства «Наука», 121099 Москва, Г-99, Шубинский пер., 6